



6

неприкосновенный
запас

ДЕБАТЫ О ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ

152²⁰²³

* будущее наступили

ея

неприкосновенный запас 6 [152] 2023

ДЕБАТЫ О ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ | выходит шесть раз в год | издаётся с сентября 1998 года

РЕВОЛЮЦИИ, ИСТОРИЧНОСТЬ И НАСТУПИВШИЕ БУДУЩИЕ МОДЕРНОСТИ	003	2023 год: наступившие будущие? Дискуссия «НЗ»
	030	Олег Ларионов. Пространство революционного опыта и современный горизонт ожиданий: 1848–1849
	046	Мария Касай. Есть ли место для будущего в современном режиме историчности?
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИРИКА	059	Расскажем меньшинству о большинстве <i>Страницы</i> Алексея Левинсона
АРХИВ «НЗ»	063	Херш Номберг. Мое путешествие по России
(НЕ)ВОЗМОЖНОСТЬ УТОПИЙ В МОДЕРНОСТЯХ	081	Лолита Агамалова. От Канта к франкфуртцам и <i>vice versa</i> : как возможна (чистая) утопия после ГУЛАГа?
	105	Самсон Либерман. Космотехника и космоопера «Mass Effect»: будущее, смерть и выход из капитализма
	123	Игорь Смирнов. Николай Заболоцкий и Дзига Вертов: архетип быта и экологическая революция в изображении поэта
CASE STUDY	150	Елизавета Пронякина. «Арктические сны» России: Арктика и Север в академическом и общественно-политическом дискурсе
КУЛЬТУРА ПОЛИТИКИ	165	Вадим Михайлин, Галина Беляева. «Держи вора»: о путешествии одного киносюжета с Запада на Восток и о неоромантическом переосмыслении детства в послевоенной Европе
АРХИВ «НЗ»	195	Дёрдь Петри. «Поучительная и ужасная поездка». Интервью венгерского поэта Дёрдя Петри журналистке Марии Пап
ПРЕВРАТНОСТИ МЕТОДА	221	«Да здравствует свобода, черт подери!» <i>Страницы</i> Татьяны Ворожейкиной
НОВЫЕ КНИГИ	233	Федор Николаи. После неолиберализма: две стратегии мобилизации общественного мнения
	242	Анна Горская. Куда приводят проективные мечты?
	254	Рецензии
SUMMARY	277	

Главный редактор
Ирина ПРОХОРОВА

Шеф-редактор
Кирилл КОБРИН

Редакторы
АНДРЕЙ ЗАХАРОВ
АНТОН ЗОЛОТОВ

Дизайн
ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ
АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Корректор
МАРИНА АЛХАЗОВА

Маркетинг, PR и реклама
АНАСТАСИЯ ВЕКШИНА
Тел. +7 (495) 229 91 03
e-mail:
a.vevshina@nlobooks.ru

Почтовый адрес редакции
123104, Москва,
Тверской бульвар, д. 13, стр. 1.
тел./факс: +7 (495) 229 91 03
в Санкт-Петербурге:
тел./факс: +7 (812) 579 50 04

e-mail:
nz@nlobooks.ru
электронная версия
журнала:
www.nlobooks.ru/nz

member of
the eurozine network
www.eurozine.com

Подписка по России:
Агентство «Роспечать»:
подписной индекс 45683

Зарубежная подписка:
Kubon & Sagner,
Hesstr. 39/41,
80798, München, Germany
Tel.: +49-89-54-218-130
Fax: +49-89-54-218-218
e-mail:
postmaster@kubon-sagner.de
www.kubon-sagner.de

ISSN 1815-7912
ISBN 5-86793-053-x
«Неприкосновенный запас»
Лицензия на издательскую
деятельность:
серия ЛР № 061083
от 6 мая 1997 г.

Свидетельство о регистрации
средства массовой
информации:

Серия ПИ № 77-7546 от
5 марта 2001 г.

Периодичность: 6 раз в год.
[18+]

© 000 Редакция журнала
«Новое литературное
обозрение»

Москва, 2023

2023 год: наступившие будущие? Дискуссия «НЗ»

Игорь Кобылин: Уважаемые коллеги, прежде всего позвольте вас поблагодарить за то, что согласились участвовать в этой беседе. Ее можно рассматривать как своего рода продолжение дискуссии, организованной «НЗ» в конце января 2022 года примерно с тем же составом участников¹. Тогда мы говорили о прошлом и обсуждали – в связи с полемикой Хейдена Уайта и Карло Гинзбурга – способы и пределы его, этого прошлого, практической или даже практико-политической инструментализации. Сегодня мы предлагаем поговорить о будущем. Конечно, внешний контекст разговора радикально изменился, и сейчас – на фоне трагической эскалации сразу нескольких международных конфликтов – разговор о будущем кажется особенно трудным. Но, может быть, как раз поэтому он и необходим именно сегодня.

Я хотел бы начать с наблюдения, не претендующего на сколько-нибудь серьезное теоретическое обобщение. Еще совсем недавно – и теперь эти времена вспоминаются с оттенком незапланированной ностальгии – всем казалось, что история забуксовала, будущее исчезло с горизонта и нас не ждет ничего, кроме технического апгрейда вечно настоящего. И дей-



¹ См.: *Практическое прошлое, историческая истина и суд истории. Беседа Игоря Кобылина с Андреем Олейниковым, Михаилом Велижевым и Ильей Будрайтским* // Неприкосновенный запас. 2022. № 2(142). С. 138–153 (www.nlobooks.ru/upload/iblock/a0e/138-153%20roundtable142.pdf).

**РЕВОЛЮЦИИ,
ИСТОРИЧНОСТЬ
И НАСТУПИВШИЕ
БУДУЩИЕ
МОДЕРНОСТИ**

ствительно, капитализм, превратившись, как сегодня принято считать, в онтологический/космологический режим, как будто вобрал в себя историю, сделал ее внутренним источником собственного динамизма и тем самым отменил радикальную новизну будущего: история, будущее больше не угрожает капитализму извне, поскольку никакого «извне» теперь не существует. Тема конца истории вновь – как и в начале 1990-х – стала популярна в современной теории. Только теперь это уже не наивные спекуляции Френсиса Фукуямы, а куда более философски изощренные построения, например, Паоло Вирно или Дипеша Чакрабарти².

**Капитализм, превратившись в онтологический/
космологический режим, как будто вобрал в себя
историю, сделал ее внутренним источником
собственного динамизма и тем самым отменил
радикальную новизну будущего.**

*Игорь Игоревич Кобылин
(р. 1973) – философ,
историк культуры,
доцент Приволжского
исследовательского
медицинского универси-
тета, старший научный
сотрудник Научно-иссле-
довательской лаборато-
рии историко-культур-
ных исследований Школы
актуальных гуманитар-
ных исследований Инсти-
тута общественных
наук РАНХиГС.*

Но вот сегодня мы становимся свидетелями того, как история вновь сдвигается с места, приходит в движение – то, что еще вчера казалось невыносимым, осуществляется с чудовищной скоростью. Едва не заснув в скучноватой, но кажущейся теперь такой уютной «постистории» мы очнулись в неожиданно наступившем будущем – которым мы, конечно, любили себя попугать (или, наоборот, взбодрить), но не верили всерьез, что оно действительно наступит. Этим неверием, наверное, и объясняется предельно шоковая реакция на происходящее. Но, когда первый шок прошел, ощущение безысходности только усилилось, поскольку стало ясно, что это реализовавшееся будущее на самом деле будущее прошлого. Стремительное обрушение привычной жизни (если не в физическом, то в психологическом смысле) оттеснило на периферию сознания тот факт, что в определенном плане действительно ничего не изменилось: мы по-прежнему спорим (если это все еще можно назвать спорами) о нациях и национализме, об имперских экспансиях и колониальном угнетении, о том, что возгонка шовинистических аффектов заслоняет классовый антагонизм и социальной вопрос в целом (критика слева); или, наоборот, о том, что разжигание классовой ненависти разрушает национальное единство (критика справа). Если представить себе какого-нибудь «попандца» из 1848 года – неважно, революционного националиста

2 См.: VIRNO P. *Déjà Vu and the End of History*. London; New York: Verso, 2015; ЧАКРАБАРТИ D. *The Climate of History: Four Theses // Critical Inquiry*. 2009. Winter. P. 197–222; КОБЫЛИН И. «Подъем переворотом»: история в чрезвычайном положении // Неприкосновенный запас. 2022. № 4(144). С. 7–27.

или охранителя – то есть все основания предполагать, что он довольно быстро разберется в существе наших идеологических баталий. Все темы покажутся ему довольно знакомыми. Но тогда возникает проблема: действительно ли то, что сегодня наступило, является будущим в полном смысле или мы имеем дело с продолжающимися спазмами настоящего – такого «длинного настоящего», «современности» в значении *modernity*, объединяющей нас и деятелей «весны народов» 1848–1849 годов?

В связи с этим мой первый вопрос ко всем вам: как сегодня говорить о будущем? Как определить эту категорию исторического времени, чтобы разговор получился осмысленным? Кирилл, если позволите, начнем с вас.

Кирилл Кобрин: Спасибо! Когда ставится вопрос: наступило ли будущее или можем ли мы помыслить будущее, то всегда требуется уточнение – какое? Если будущее наступило – то что это за будущее? Их же много, этих будущих. Образов будущего много. И на каждое наступившее будущее есть сотни ненаступивших, отпавших в ходе исторического процесса. Я не теоретик, а «просто историк», который, впрочем, порой размышляет на теоретические темы. Так вот, я начал бы наш разговор с вопроса о хронологических рамках. С какого момента в европейской традиции – прошу прощения за «европейскую традицию» у деколонизирующих историков, социологов и других представителей соответствующих областей знания – появляется будущее? Кажется общеизвестным, что будущее, вероятно, появляется в XVIII веке. Это век Просвещения с соответствующим эпистемологическим набором, парадигмой, идеологическим обиходом и прочим – но уже тогда очень издалека погромыхивает еще не названная, себя не осознавшая идея прогресса. Идея того, что завтра может быть лучше, чем сегодня. И в то же время – по-другому. Не так, как было раньше. Потому что если «лучше» – это как «раньше», то тогда надо говорить о Возрождении, что совсем не то.

Интересно, что веку Просвещения предшествовала – я огрубляю, конечно, выстраивая жесткую линейную последовательность, – эпоха барокко, которая как раз совершенно не предполагала будущего в своем репертуаре. Она исключила даже саму возможность будущего: может быть, это последняя эпоха в европейской традиции, когда все было отдано под торжество, триумф настоящего. Причем настоящего причудливого – это же барокко с его идеей плодотворной деформации, смещенного центра и так далее. И тут появляется нечто совсем другое, которое реализуется в двух революциях – сначала на периферии европейского мира в Северной Америке, потом во Франции в самом конце XVIII века. Обе революции вырабатывают



Кирилл Рафаилович
Кобрин (р. 1964) –
историк, литератор,
шеф-редактор журнала
«Неприкосновенный
запас».

реальные образы будущего, оглядывающиеся, конечно, назад на античные образцы. Эти события постулируют: мы – новое, мы приносим с собой будущее. На это тут же реагирует появляющийся тогда антиреволюционный консерватизм – в текстах Бёрка и других, – заявляя, что будущего быть не может, а может быть только поддержание традиции. И дальше начинается схватка за рациональность: кто более рационален – революция, устремленная в будущее, или консерватизм, настаивающий на настоящем, которое легитимизировано прошлым.

И если мы говорим о наступившем будущем, то это будущее имеет корни именно в этой повестке, а не в каких-то других, которые тогда присутствовали в западной традиции. После Великой Французской революции был период, когда это будущее созревало, переживало трансформацию, пока не оформилось в ходе европейской революции 1848–1849 годов и не показало себя в манифестах, политических программах, лозунгах. Думаю, деятели тех событий, увидев и услышав многие сегодняшние слова, немало узнали бы из собственного обихода – но обнаружили бы они это *в другой части* политического спектра: в крайне правой, антиреволюционной, новоконсервативной. Те политики и идеологи, которые сегодня кажутся фашистами или всего лишь махровыми реакционерами, по своим основным, так сказать, идеям и интенциям как раз и были бы национальными революционерами 1848–1849 годов. Я не обижусь, думаю, венгров, сказав, что сегодня Шандор Петефи был бы праворадикальнее, националистичнее Виктора Орбана. Герои «весны народов» узнали бы себя в нынешнем раскладе, но не узнали бы своего места в современном мире. Таким образом то будущее уже реализовано.

И тут следует сказать пару слов о том, почему мне вообще в голову пришла мысль, что о будущем надо говорить в связи с революцией 1848–1849 годов. Конечно, я об этом думал и даже что-то писал³, но не был уверен в своих догадках. Несколько месяцев назад вышел огромный том «Революционная весна» Кристофера Кларка⁴ (это австралийский историк, кембриджский профессор европейской истории Нового времени, который одиннадцать лет назад прославился замечательной – *не подозрительно популярной* – книгой «The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914»⁵) о революции 1848–1849 годов. Кларк (который, кажется, читает чуть ли не на всех европейских языках) собрал огромное количество материала, и, знаете, становится понятно, что революция, да, действительно, была

3 Кобрин К. *The Now Now. 2018, 1968, 1848* // Неприкосновенный запас. 2018. № 6(122). С. 116–132 (www.nlobooks.ru/magazines/nekrikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20552/).

4 CLARK C. *Revolutionary Spring: Fighting for a New World, 1848–1849*. London: Penguin Books, 2023.

5 ИДЕМ. *The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914*. London: Penguin Books, 2012.

не только в Париже, Вене, Праге и Берлине – но и в Валахии, Галиции и других «менее центровых» частях континента и там она имела точно такое же идеологическое, культурное обеспечение, как и в «центрах». Это было первое общеевропейское революционное событие, которое мы знаем, и оно было борьбой сразу за несколько будущих из набора только начавшей тогда формироваться модерности. И это было первое событие, разделившее Европу и европейские державы того времени по национальному признаку. Именно здесь, в середине XIX века, я вижу одну из нескольких ключевых точек новой и новейшей истории.

И.К.: Спасибо, Кирилл. То, что существует (пусть и виртуально) множество будущих – это как раз идея, которая для деятелей революции 1848 года вряд ли была бы с ходу понятной. Мне кажется, идея эта относительно недавняя. Если верить Райнхарту Козеллеку, то как раз в конце XVIII – начале XIX века возникает представление о *единой истории*, когда множество отдельных историй синхронизируются в большую Историю человечества с *единым образом будущего*. Такая общая для всех народов беговая дорожка: кто-то вырвался вперед, кто-то застыл на старте – но сама дорожка одна-единственная.

Обсуждая категорию будущего, стоит вспомнить еще об одном аспекте. Наверное, было бы интересно поразмышлять о роли апокалиптических и эсхатологических представлений в конструировании исторического времени в целом и понятия будущего в частности. Сегодня вновь в моде дебаты о политической теологии, и вот буквально на днях по-русски вышла работа Якоба Таубеса «Западная эсхатология» (1947), где он буквально пишет о связи апокалиптической мысли и диалектики истории так – цитирую: «Чтобы вычислить и представить конец истории, необходимо сделать ее абрис. [...] Всемирная история становится возможной на основе апокалиптики»⁶.

Илья, я знаю, что вы занимались исследованием разного рода апокалиптических сюжетов в связи с концептуализацией исторического, и, соответственно, вам вопрос: как все эти теологические спекуляции повлияли на философско-теоретическое конструирование категории будущего, какую роль здесь сыграла эсхатология и играет ли до сих пор?

Илья Будрайтскис: Я хотел бы начать с того, что вопрос будущего связан с представлениями о его отношениях с настоящим и прошлым. Когда Кирилл сказал, что Эдмунд Бёрк выступал против проектов будущего, стоит уточнить, что для него речь



Илья Борисович
Будрайтскис (р. 1981) –
политический теоретик,
приглашенный исследо-
ватель Калифорнийско-
го университета Беркли.

⁶ ТАУБЕС Я. *Западная эсхатология*. СПб.: Владимир Даль, 2023. С. 68.



шла о совершенно определенном проекте будущего, который предполагал отмену прошлого. В представлении Бёрка, опасность Просвещения и Французской революции заключается именно в том, что они разрывали связь между будущим, прошлым и настоящим. Будущее там рождается из проекций абстрактного разума, у этого будущего нет своего прошлого, и потому такой проект является чрезвычайно опасным. Бёрк, а позже и другие европейские консерваторы критиковали такое представление о будущем, противопоставленном прошлому, видя в нем признаки «политической религии», которая делегирует установление божественной справедливости людям.

В этом направлении позднее была проведена параллель (например у Нормана Кона) между революционерами Нового времени и радикальными милленаристскими движениями Средневековья, которые объединяла все та же модель будущего, низвергающего и уничтожающего прошлое. Желаемое Царство Божие означает не только финальное восстановление справедливости, но и конец времени, разрыв темпоральных связей и отношений исторической преемственности. То есть речь идет о будущем как проекте, принципиально альтернативном существующему миру. «Ты выбираешь настоящее или будущее?» – так в целом стоит вопрос перед радикалами и Средних веков, и Нового времени.

Нация реальна не благодаря своему величию в прошлом, но как возможность, образ будущего, который направляет наши действия в настоящем. Поэтому сегодняшние националисты вряд ли подружились бы с националистами 1848 года.

Представление о будущем как о пространстве, полностью изобретенном заново, характерно и для прогрессистского национализма первой половины XIX века. Если мы обратимся к одному из его главных программных текстов, «Речам к немецкой нации» Фихте, то увидим, что отношения этого национализма с будущим сильно отличаются от современного консервативного национализма. Для Фихте национализм – это то, что полностью потенциально и принадлежит будущему. Немецкая нация создается в языке и философии для того, чтобы в будущем прийти к политическому единству. Нация реальна не благодаря своему величию в прошлом, но как возможность, образ будущего, который направляет наши действия в настоящем. Поэтому, конечно, сегодняшние националисты вряд ли подружились бы с националистами 1848 года. Мы действитель-

но сегодня существуем в ситуации, когда представление о будущем, отменяющем прошлое, потеряло почву, что представляет собой проблему не только для националистов, но и для интернационалистов.

И последнее – связи с революцией 1848-го. Интересно, что этот год в Европе стал точкой отсчета не только для оптимистических революционных представлений о будущем, но и – из-за поражения многих революционных движений – также впервые обозначил дискурс пессимизма. Вспомним Герцена, Шопенгауэра и в целом пересмотр оптимистического взгляда на философию истории. Пессимизм, который появляется после 1848-го, приобрел политическую перспективу именно потому, что он был историзирован. Модель будущего, противопоставленного прошлому, была подвергнута серьезной критике не только справа, но и слева. Я имею в виду в первую очередь Маркса, который в «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» рассматривал поражение революции во Франции как победу реальности над иллюзиями. Маркс говорит, что ресурс исторического оптимизма заключается не в том, чтобы отбросить прошлое и поставить на его место будущее, а в том, чтобы переосмыслить само прошлое. Необходимо обнаружить связь между прошлым и настоящим, которая и дает возможность помыслить неизбежность революционного переворота в будущем. Иными словами, он пишет о таком историко-материалистическом пессимизме в отношении будущего, который одновременно предполагает и неизбежность оптимистического сценария.

И.К.: Спасибо, Илья. Андрей, теперь вопрос к вам. Кажется, что будущее, не успев родиться, «схлопывается» в – эксплицитно или имплицитно телеологических – диалектических системах даже у Маркса, во всяком случае, у определенного Маркса. Того Маркса, учение которого Корнелиус Кастириадис назвал «объективистским рационализмом».

Понятно, что подлинное наследие Маркса этим «объективистским рационализмом» не исчерпывается. Но количество не прекращающихся до сих пор попыток – в диапазоне от Альтюссера до Жижека – поставить под вопрос «железные законы истории» говорит о том, что эти законы не так-то легко обойти. Да, относительно недавние концепции алеаторного материализма и контингентности, события и мультитемпоральности научили нас быть более чуткими к тем мотивам «неподрасчетного» и нелинейного, которые, безусловно, есть в марксистской теории истории. Но сила – теоретическая и политическая – марксизма всегда была в универсалистской перспективе.

Сегодня, когда мир становится «многополярным», делится на противостоящие друг другу военно-политическо-торговые





Андрей Андреевич
Олейников (р. 1968) –
философ, специалист
по теории истории,
приглашенный исследо-
ватель Билефельдского
университета (Герма-
ния), доцент Москов-
ской высшей школы
социальных и экономи-
ческих наук (Шанинка).

союзы и блоки, критика этой универсалистской перспективы несет определенные политические риски. Гимн множественности – времен, акторов, культур или образов будущего – это и гимн, пусть невольный, деглобализации, изоляции, самозамканию. Где же сегодня нам искать будущее?

Андрей Олейников: Спасибо большое, Игорь, за приглашение к разговору. Но прежде, чем в него вступить, я хотел бы уточнить одну вещь. Если я правильно понял, речь у нас в том числе должна идти о каком-то воплощенном или состоявшемся будущем. Могли бы вы, Игорь, Кирилл, лишний раз уточнить для меня, что под этим имеется в виду?

К.К.: Я не зря вспомнил 1848 год, все вокруг него и даже предшествующий период (который было бы интересно обсудить с исторической точки зрения, поскольку процесс начался с 1820-х, – это время первой революционной волны в Южной Европе – в Испании, Греции, в итальянских землях, в Португалии). Посмотрим на знамена этих революций – это национальный вопрос, социальный вопрос (поначалу он не был на первом месте, но так или иначе возник, и позже от него уже невозможно отмахнуться), – окончательно, в сегодняшнем значении, они формулируются именно тогда. Великая Французская революция не постулировала национальный вопрос как таковой, хотя он и присутствовал. Во Французской революции была мощная социальная составляющая, был Бабеёф, были эбертисты, но тем не менее она себя не постулировала как социальная революция, она имела дело с вечными категориями: свобода, разум и так далее. Ответом на эту революцию и последующий наполеоновский период была Реставрация, легитимизм, Священный Союз.

Между 1815-м и 1830-м, а потом между 1830-м и 1848-м социальный и национальный вопросы отодвигались на второй план, а часто и запрещались – вместо этого говорили о вечных принципах, о легитимности, нравственности божественного устройства. Но вот начинается 1848 год – и к нему уже все подготовлено: вопросы, национальный и социальный, формулируются как будущее, которое мы сейчас завоевываем, стремимся туда. Кларк, кстати, подмечает то, о чем мало кто говорит: например, раннее женское движение до 1848 года, которое, оказывается, было довольно сильным во Франции. Кроме специалистов, об этом никто не знает. И еще несколько таких же частных сюжетов – *тогда частных*.

И сейчас мы находимся в ситуации, когда эти будущие реализованы. Социальный вопрос так или иначе реализован. Да, он в повестке дня, но мы сейчас не о том, хорошо он реализо-

ван или плохо, – он реализован как таковой. Национальный вопрос так или иначе реализован. Вот о чем речь.

2023 ГОД: НАСТУПИВШИЕ
БУДУЩИЕ? ДИСКУССИЯ «НЗ»

А.О.: Спасибо. Мне вспоминается книга Карла Маннгейма «Идеология и утопия», вышедшая в 1929 году. У нее множество достоинств, но для меня важно, что это одна из первых работ по теории исторического времени. Маннгейм показывает, что разные социальные слои и группы по-разному представляют себе ход истории и по-разному понимают ценность прошлого, настоящего и будущего. Сегодня нам интроспектирует будущее, и Маннгейм там говорит, что эта категория появляется в XVIII веке, – о чем Кирилл сказал в начале нашей беседы. Будущее придумали люди, исповедующие преимущественно либеральную идеологию. Однако существенное уточнение в понимание будущего вносят социалистические учения, которые появляются в первой половине XIX века. С их помощью будущее мыслится достижимым, и вся энергия революционных движений направлена на то, чтобы сделать его таковым. До этого же будущее выступало как нормативный идеал, отложенный в бесконечность. Принимая это во внимание, я не стал бы поддерживать тезис о том, что прошлое и будущее просто, по определению, исключают друг друга.

Согласно Райнхарту Козеллеку, перевод книги которого «Прошедшее будущее», готовится сейчас в издательстве «НЛО» и, я надеюсь, скоро выйдет благодаря усилиям в том числе Михаила Велижева, прошлое и будущее не существуют друг без друга, они всегда коррелированы в силу того зазора между так называемым «пространством опыта» и «горизонтом ожиданий», который характеризует историческое самоощущение человека Модерна. Это исходная асимметрия, которая дает возможность историческому времени развернуться. «Прошедшее будущее» – это, по сути, синоним термина «историческое время». Речь идет об историческом времени Модерна, потому что другого исторического времени Козеллек попросту не признавал. Главная для него идея темпорализации истории относится исключительно к Новому времени и ни к какому другому. Это то, что я хотел бы уточнить в начале своего ответа.

Возвращаясь к вопросу, который поставил Игорь, можно найти аргументы в пользу того, что будущее допустимо мыслить отдельно от прошлого. Сегодня будущее – едва ли не самая важная тема в современной теории истории. Достаточно открыть практически любой из вышедших за последние пару лет номеров журнала «History and Theory», чтобы в этом убедиться. Но вопрос там ставится иначе, чем вы сейчас предлагаете. Исходной предпосылкой там выступает понятие «презентизм». Теоретики, которые рассуждают сегодня о будущем,



исходят из того, что мы живем под гнетом настоящего, которое не позволяет нам понять самих себя с помощью прошлого, не дает возможности занять к этому настоящему сколько-нибудь надежную дистанцию. Прошлое в таком режиме выступает, по сути, как приквел настоящего, который принципиально от него ничем не отличается. То же касается и будущего: оно закрыто, потому что мы утратили утопический горизонт, который был актуален для людей 1848 года, для людей высокого Модерна. Мы утратили его, потому что основные идеологии сколлапсировали еще в 1980-е. И возникает вопрос: как нам нужно сегодня представлять себе будущее? Как помыслить будущее вне линейной парадигмы? Где его искать?

Сегодня будущее ищется в темпоральных разломах, проходящих по нашей современности, потому что эта современность не равна себе, она состоит из множества темпоральных режимов, которые нередко находятся между собой в конфликтных отношениях. Об этом мне уже приходилось писать раньше⁷, поэтому сейчас я не буду много говорить об этом.

И.К.: Спасибо, Андрей. Я согласен: действительно, «подрасчетное», планируемое, прогнозируемое в некоей линейной перспективе будущее перестает быть собственно будущим. В этом контексте особенно интересно узнать мнение о будущем – как об исторической категории, разумеется, – практикующего историка, который, работая с источниками, документами прошлого, имеет дело с таким странным будущим-в-прошлом. Михаил, вам слово.

Михаил Велижев: Спасибо огромное, дорогие коллеги, за приглашение к важному разговору. Я позволю себе сначала сказать два слова о том, что говорилось прежде. Мы существуем в ситуации двойной функциональной оптики. С одной стороны, мы говорим о будущем как участники исторического процесса, свидетели происходящего. С другой, рассуждаем о грядущем как историки или теоретики истории. Признаюсь, сейчас мне трудно согласовать между собой эти две перспективы. В общечеловеческом смысле размышления о будущем приносят мне исключительно страдания: мой прогноз чрезвычайно мрачен. Я думаю, что никакого «будущего» больше быть не может. При этом я постоянно думаю о будущем как специалист, который профессионально занимается историей. И здесь у меня есть несколько соображений иного рода.

Прежде всего, я думаю, что если бы люди 1848 года оказались в нашем настоящем, то они с ужасом бы смотрели на все,



*Михаил Брониславович
Велижев (р. 1980) –
специалист по русской
и европейской интел-
лектуальной истории,
научный сотрудник
университета Гренобль-
Альпы (Франция).*

7 Олейников А. *Будущее в настоящем* // Неприкосновенный запас. 2022. № 2(142). С. 57–68.

что нас окружает. С ужасом даже не от того, что происходит, а именно от непонимания: они обнаружили бы, что мы часто используем идентичные понятия, но смысл их радикально изменился. Трансформации очевидны, они произошли под влиянием событий и явлений XX века: мировых войн, ядерных угроз, авторитарных и тоталитарных обществ. Этот исторический опыт радикально меняет наше представление о будущем. Кстати, так же дело обстоит и с медиа-составляющей: появление новых средств коммуникации сказывается на том, как мы мыслим будущее, прошедшее и настоящее.

2023 ГОД: НАСТУПИВШИЕ
БУДУЩИЕ? ДИСКУССИЯ «НЗ»

Исторический опыт радикально меняет наше представление о будущем. Так же дело обстоит с медиа-составляющей: появление новых средств коммуникации сказывается на том, как мы мыслим будущее, прошедшее и настоящее.

Кирилл уже упоминал 1848–1849 годы и 1820-е как переломный период. Я предложил бы спуститься еще ниже по хронологической шкале. Мне кажется, что радикальные изменения в проекциях будущего начинаются с двух революций, по Хобсбауму: политической, Великой Французской революции, и промышленной революции в Англии, а затем в других странах Европы. Более того, когда мы говорим об эпохе Просвещения и возникавших тогда концепциях будущего, чаще всего мы имеем в виду концепции, сформулированные представителями интеллектуальной элиты. Между тем не нужно забывать, что менее образованные слои населения продолжали мыслить будущее совершенно в иных терминах. Мне очень близко то, что говорил Андрей: в один и тот же исторический период сосуществуют несколько настоящих времен, то есть разные группы населения живут в разных темпоральностях, и очень интересно, как эти темпоральности взаимодействуют. Экономические и политические изменения, запущенные революциями конца XVIII века, приводят к радикальному пересмотру прежних интеллектуальных механизмов и к борьбе за «будущее», которая в разных формах продолжается до сих пор.

Как историку – это, в частности, видно по моей книге о чаадаевском деле⁸ – мне интересно, как устроены человеческие намерения, как люди делают прогноз на будущее, строят свое поведение исходя из этих прогнозов и сталкиваются с непредсказуемыми последствиями собственных поступков. Истори-

8 Велижев М. *Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России*. М.: Новое литературное обозрение, 2022.



ческие акторы, то есть люди, которых мы изучаем, не знали, что с ними произойдет в будущем. Между тем, мы в той или иной степени понимаем, что случилось далее. Вопрос в том, как совместить две хронологические перспективы: историк никогда не может отказаться от знания «будущего в прошедшем», это просто невозможно. Ключ к решению задачи состоит, на мой взгляд, в том, чтобы представить набор возможных действий, которые мог бы совершить тот или иной индивид в определенный период времени, реконструировать спектр его потенциального выбора – разумеется, с известной и отрефлексированной мерой гипотетичности. Очень часто я сталкивался с ситуацией, в которой ничего не мог доказать, но мог выдвинуть гипотезу и ее обосновать. В этом смысле работа историка – это размышление о гипотетических горизонтах будущего, о том, как горизонт актора, его язык, сходится с горизонтом и языком аналитика.

А.О.: Игорь, я хотел бы отреагировать на то, что вы говорили о будущем. Если мы допускаем, что время исторично, и говорим из перспективы даже некоторого состоявшегося будущего (применительно к революционным процессам середины XIX века), то мы вправе сказать, что нет никакого будущего самого по себе. А есть только будущее, которое той или иной эпохой запрашивается. Сегодня, учитывая уже реализованные утопии, есть запрос на какое-то другое, немодерное, будущее. Будущее может быть разным – я хочу, чтобы это было зафиксировано в нашем разговоре.

Есть французский теоретик истории и историк Средневековья Жером Баше. Я всегда его вспоминаю, когда речь идет об историческом будущем, потому что этой темой он занимается давно и пишет потрясающе интересные тексты. Но, поскольку он публикуется в основном во Франции, их мало кто читает. Могу, пользуясь случаем, порекомендовать одну из немногих его статей, вышедших по-английски. Там как раз идет речь о современных, так называемых «эмерджентных», формах будущего⁹.

И.К.: Спасибо, Андрей, это важное замечание. Я в свою очередь хотел бы вернуться к словам Михаила об ужасе непонимания, который испытали бы «пришельцы» из 1848 года, если бы каким-то чудом оказались в нашей современности. Безусловно, Михаил, вы правы, хорошо знакомые им термины поменяли сегодня значение, и в моем предположении о том, что наши дискуссии были бы понятны людям, жившим 170 лет на-

9 BASCHET J. *Reopening the Future: Emerging Worlds and Novel Historical Futures* // *History and Theory*. 2022. Vol. 61. № 2. P. 183–208.

зад, содержалось определенное преувеличение. Михаил Гаспаров где-то заметил, что в переписке Александра Блока и Андрея Белого нам, по большому счету, понятны только две фразы: «– Здравствуй, Саша! – Здравствуй, Боря!». Все остальное требует уже серьезных герменевтических усилий...

К.К.: Не знаю, не знаю... извините, что я вас перебиваю. Мне кажется, что как раз в переписке Белого с Блоком, к сожалению – подчеркиваю, к сожалению, – все понятно. Там незатейливая драма позднего романтизма и протофашизма, если говорить о русской ситуации. Их рассуждения разворачиваются элементарно – плюс есть понятный психологический бэкграунд... Они, можно сказать, наши современники. Не знаю, наверное, Гаспаров судил с какой-то другой точки зрения.

А вот средневековые люди... Я в прошлом медиевист, и, занимаясь средневековой историей Уэльса, английской монархии XII–XIII веков и соответствующими персонажами, единственным, чего я сначала не понимал – это мотивов людей. Почему – если не следовать аргументации летописной или хроникальной традиции – они поступают таким образом? А потом мне пришла мысль: эти люди не имели представления о будущем, у них совсем не было его в голове. И тогда их поступки и, самое главное, интенции становятся не то чтобы читаемыми, но по крайней мере вполне укладываемыми ретроспективно в какие-то логические схемы.

И.К.: Да, спасибо, Кирилл. Наверное, у Гаспарова это была все-таки острота, *bon mot*. Хотя, например, когда я на занятиях со студентами рассказываю про все эти любовные треугольники Серебряного века, о том, как юные Сережа Соловьев, Боря Бугаев и Саша Блок молились на фотокарточку Любви Менделеевой и видели в ней воплощение Софии, мои слушатели тоже не понимают мотивов участников этих молитвенных радений. Для них символисты начала XX века примерно так же не понятны, как и средневековые обитатели Уэльса.

Но, Кирилл, я скорее согласен с вами. Непонимание непониманию рознь: одно дело не понимать новые оттенки знакомых понятий, другое – оказаться в мире, вообще лишенном привычных темпорально-исторических ориентиров. Мы со студентами недавно читали фрагменты работы Константина Фазолта «The Limits of History», где речь идет о становлении современного историзма, определяющего себя через отличие от анахронической культуры Средневековья. И вот понять этот анахронический мир бесконечно длящейся Римской империи, вернее – ее призрака – для современного человека, действительно, очень трудно.



Если вернуться к 1848 году, который мы обозначили в качестве исходной точки нашей современности – а ведь в определенном смысле даже тоталитаризм, ну, или то, что позже назовут этим словом, уже предчувствуется в некоторых текстах XIX века, возьмем ли мы анархиста Михаила Бакунина или, напротив, консерватора Константина Леонтьева, – так вот, если «подлинное будущее» попробовать определить как разницу между тем, что прогнозировалось (или утопически грезилось), и тем, что реально произошло, то что в нашей современности окажется таким «подлинным будущем» для середины XIX века?

М.В.: Каждый год мы со студентами-филологами Вышки на занятиях истории обсуждали понятие «долгий XIX век». И в какой-то момент мы приходили к выводу, что применительно к русской истории использование этой категории довольно проблематично. Ровно в середине столетия в Российской империи происходят радикальные изменения, которые делят этот исторический период на две непохожие друг на друга половины. Будущее, о котором мы сейчас говорим, сама возможность его помыслить, открывается только после 1855 года. В николаевскую эпоху о будущем много говорили, и это были прежде всего разговоры историософского характера. Историософии было много и после 1855 года, но в этот момент возникает совершенно другой социально-политический контекст. Если мы говорим о русской истории, может быть, правильнее будет сказать, что здесь нет напряжения между тем, о чем люди думали, и тем, что именно реализовалось, поскольку после смерти Николая I сама модальность публичных дебатов о будущем претерпевает изрядные трансформации.

К.К.: Маленькая ремарка по поводу реформ Александра II и будущего. Мне всегда казалось, что то будущее, которое придумали или выстроили люди, проводившие эти реформы – и особенно участвовавшие в их реализации на низовом и среднем уровнях, – оно завершилось в самом конце XIX века истерическим воплем нежных чеховских персонажей. Вот как бы нормальное будущее, они как бы его установили, запустили, оно проехало пару–тройку десятилетий, и завод машинки кончился – в финале несколько последних даже не воплей, а писков: «будем работать!», «небо в алмазах» и далее по тексту. А дальше начинается совершенно другое будущее. И я не вижу будущего – сильно условно говоря – в русском мягко-либеральном мейнстриме уже в начале XX века. Его там просто нет.

М.В.: Да, Кирилл, но с одной поправкой. Реформы дестабилизируют социальный, экономический и политический порядок, как всякие реформы в принципе. И будущее становится еще более непредсказуемым. Я это очень хорошо знаю как историк николаевского царствования: согласно официальной точке зрения, активно транслировавшейся в публичное пространство, будущее предполагало бесконечную ретрансляцию настоящего. В настоящем все хорошо, не надо ничего менять, смысл будущего заключается в том, чтобы поддерживать прежний порядок. Этот тезис теряет всякую актуальность. После реформ представители разных социальных страт и политических партий существуют в новой ситуации, которая остается релевантной вплоть до революций 1917 года. Есть замечательная мысль Теодора Шанина о важной роли молодого крестьянства в революции 1905-го. Причем речь шла о тех, кто родился свободными, после 1861 года, и это прямое последствие реформы. Я все-таки аккуратно настаивал бы на тезисе о множественности будущего, обсуждение которого строится не вокруг историософии и логики отдаленного прошлого, а вокруг значения относительно недавних политических событий. Горизонт рефлексии сужается.

К.К.: Я совершенно с вами согласен. Я имел в виду, что здесь явлен удивительный дисбаланс между огромностью изменений, невероятным масштабом сдвига, который произошел в России во второй половине XIX века, создав практически новую страну, с усталостью части образованного населения, которая вообще-то была настроена очень позитивно и благонамеренно – и которую пытается репрезентировать Чехов. И вот уже в конце XIX века, когда вроде бы ничего особенно плохого не произошло, уже от самого этого сдвига происходит чудовищная усталость, из чего рождается тихо-истерический, почти декадентский вопль.

М.В.: Тут я согласен.

К.К.: Я говорю как раз об этом – и вообще об отношении русского образованного класса к этим реформам. Я не специалист по русской истории, но, на первый взгляд, это отношение удивительное: через десять лет после начала реформ оно становится все кислее и кислее, пока не превращается в уксус.

Игорь, могу еще два слова? Я хотел бы пробежаться по некоторым пунктам, которые мы отметили уже в контексте того, что вы сейчас сказали.

Первое. Безусловно, деятели 1848–1849 годов, может быть, не узнали бы этого будущего, но они узнали бы знакомые (чаще всего даже собственные) слова. Это важно. А взглянув на сегодня



няшнюю карту Европы – карту национальных государств, – они поняли бы, что их будущее наступило. Деятели 1848–1849 годов этого хотели, они за это сражались, и пожалуйста, – вот это будущее. Это факт, с которым невозможно не считаться.

Здесь же есть важный момент в отношениях между будущим и прошлым в рождающихся и развивающихся тогда националистических идеологиях. Да, с одной стороны, все они вроде бы о будущем. В будущем мы – венгры, поляки и так далее – будем жить в своих государствах. С другой стороны, очень важно, что это будущее легитимизируется исключительно прошлым. Это время *national revivals*, национальных возрождений, которые – будучи *возрождениями* – исходят из того, что «у нас» было великое прошлое. И большинство национальных возрождений занимаются тем, что это прошлое просто-напросто конструируют, придумывают, сочиняют. Примеров тому множество: достаточно вспомнить так называемую «Краледворскую рукопись», сфальсифицированную в начале XIX века Вацлавом Ганкой и Йозефом Линдой, или (чуть раньше) Джеймса Макферсона с «Поэмами Оссиана». Либо, наоборот, великое прошлое, изложенное в понятном современникам мифологическом духе, сочиняют прямо на глазах почтеннейшей публики: скажем, «Лачплесис» Андрея Пумпурса, написанный в конце XIX века. Прошлое не воспринимается как часть настоящего, но зато оно определяет будущее – в чем, кстати, отличие этих людей от Бёрка.

Прошлое конструируется, его «конструкторы» знают, что его можно сконструировать, они знают, что его можно не то что «продать» как «настоящее прошлое», нет, просто ни у кого не возникает никаких сомнений в том, что это прошлое на самом деле является прошлым. А отсюда, мне кажется, прямая линия к тому, что мы имеем сегодня в мире «альтернативных фактов», теорий заговора, популистской и праворадикальной пропаганды, полуфашистских идеологов, совершенно равнодушных к подлинности того, что было в прошлом. Вопрос о подлинности той же «Краледворской рукописи» почти никого не занимал, особенно среди деятелей «Чешского возрождения» – кроме каких-то академических зануд, – даже после того, как доказали, что это фальшивка.

Второе. Пессимизм после 1849 года. Да, он, конечно, возник, но это же пессимизм прежде всего социальных реформаторов и социальных революционеров, которые были разочарованы тем, что обещанные и либералами, и политическими радикалами, наследниками якобинцев, изменения не имели отношения к их требованиям. Революция не стала социальной. Вот мы победили, мы свергли короля Луи-Филиппа (если говорить о Франции), а в социальном вопросе ничего не поменялось.

Но не надо забывать, что то же самое разочарование возникло во Франции и после революции 1830 года. Толки о том, что «нас предали», были широко распространены среди парижских рабочих, которые составили тогда костяк восставших против Бурбонов. После того, как свергли реакционера и реваншиста Карла X, протестующие ничего не получили – более того, им запретили дальнейшую политическую деятельность, за нее начали преследовать. Социальный пессимизм, если говорить о Франции, родился тогда.

Наконец, последнее. Я не уверен, что тоталитаризм как таковой родился в середине XIX века, даже как идея. Но что мы можем сказать точно, что в то время сложился авторитаризм, который Маркс назвал «бонапартизмом», ведь практически все авторитарные режимы XX века так или иначе повторяли политический опыт Второй империи. Салазар, Франко, сегодняшний режим в России или то, к чему стремится Орбан, – это и есть в том или ином виде бонапартизм, феномен, который Маркс описывает и анализирует в «Восемнадцатом брюмера». Интересно, что бонапартизм родился не как идея, а как набор практик, которые и привели к такому режиму. Так что здесь можно говорить о некотором практическом будущем и о некотором теоретическом будущем, сформулированном в ходе и сразу после революций 1848–1849 годов.

Ну и самое последнее, так сказать, постскрипtum. То, что деятели 1848–1849 годов точно узнали бы сегодня, помимо карты Европы, состоящей из национальных государств, и помимо того, что прошлое элементарно изобретается и никого не интересует его подлинность, – это городское сообщество, состоящее из различных социальных классов и групп. До 1848–1849 годов были теоретики, которые говорили об этом, но в прессе, в культурном обиходе существование классов и социальных групп в городах практически не замечалось. А вот начиная с той революции и до сегодняшнего дня мы видим, что этот вопрос не только остается принципиально важным, но и обостряется благодаря появлению и актуализации проблемы идентичности. Это тоже интересное наследие «весны народов».

И.К.: Илья, как я понимаю, это был в том числе и ответ на ваши тезисы, высказанные в начале разговора. Наверное, у вас есть что возразить? И мне хотелось бы вдогонку задать вам еще один вопрос. 1840-е – это рождение марксистской революционной идеологии. Сегодня ее осуществившееся будущее в эмпирическом смысле стало прошлым, а в неэмпирическом оказалось в каком-то странном безвременье. Вопрос заключается в том, как сегодня мыслить будущее, оставаясь марксистом?



И.Б.: Сначала отреагирую на замечания Кирилла. Безусловно, любое национальное государство нуждается в идее общего прошлого, так как только благодаря ей можно представить нацию как внеисторическую вечность. В этом проблема общего прошлого, которое конструирует всякое национальное государство, и некоторые примеры уже были перечислены Кириллом. Ататюрк, когда создавал новое национальное государство, возвел турецкую нацию к хеттам, одной из древнейших цивилизаций на территории Анатолии, но при этом все, что было между хеттами и основанием Турецкой республики, оказалось из этой истории вытеснено. Такое обретение прошлого представляло собой отказ от истории, от исторической каузальности ради идеи о том, что турки (латыши, чехи и так далее) существовали всегда. Еще Ренан в лекции «Что такое нация?» абсолютно точно отметил, что нации всегда основаны не на общей памяти, а на общем забвении. Изобретение общего прошлого представляет собой форму забвения ради создания фундамента будущего.

Теперь что касается вопроса Игоря. Я начал бы с того, что Гегель, которого часто обвиняют в том, что он создал модель прогрессистской линейной истории и заставил нас поверить в прогресс, был большим противником самой идеи будущего. Он считал, что размышления о будущем являются абсолютной спекуляцией, которой философия вообще не должна заниматься. Ключевой категорией для гегелевской философии является действительность. Изнутри нашего настоящего мы видим, с одной стороны, результат предшествующего прошлого, а с другой, – этот результат всегда оказывается неполон постольку, поскольку ограничен нашей позицией в действительности. В этом один из главных парадоксов гегелевского взгляда на историю: с точки зрения «здесь и сейчас» наш взгляд на настоящее и прошлое одновременно является и истинным, и неистинным. И его неистинность имеет абсолютно ту же почву, что и истинность.

Проблема этого подхода в том, что момент действительности растворялся в прогрессистских схемах и попытках выстроить завершенную от начала до конца модель истории. Гегель всегда от этого предостерегал и одновременно всегда своей философской системой на это провоцировал. Карл Лёвиг в книге «От Гегеля к Ницше» хорошо показывает, что весь XIX век, прежде всего в немецкой философии, был связан, с одной стороны, с сопротивлением тотализирующей стороне гегелевской философии, а с другой, стремлением спасти из этой философии момент действительности, который из этих тотализирующих моделей всегда выпадает. Это ровно то, о чем говорил Михаил: зная будущее нашего героя, мы постоянно должны возвра-

щаться к тому, каким он был в конкретный момент времени и исходя из каких возможных «будущих» в своем моменте настоящего он мог принять то или иное политическое или моральное решение.

У Маркса существует отчасти та же проблема, что и у Гегеля, просто в ином виде. С одной стороны, Маркс выступает против любых спекуляций о будущем – вы никогда не найдете у него никаких детальных размышлений о том, как будет выглядеть коммунизм. Маркс также много критиковал других социалистов за их утопизм. С другой стороны, Маркс говорит о том, что капитализм исторически обречен, он объективно, даже безотносительно действий революционеров, идет к своему концу. Марксизм также всегда существовал, подобно гегелевской философии, в этом сложном противоречии между неумолимой логикой истории и моментом действительности, из которого производится политическое действие. И этот волевой момент действительности открыт разным будущим, он не опосредован парализующей логикой исторической необходимости.

Как это все вообще связано с эсхатологической политикой? Если мы обратимся к структуре Откровения Иоанна Богослова, то увидим, что с пониманием этого текста существует та же проблема: с одной стороны, там говорится о событиях, которые непременно произойдут, с другой, эти события не расположены ни в каком историческом времени и оторваны от какой-либо каузальности. Поэтому об Откровении Иоанна Богослова иногда говорят как о «норме времени», которая определяет его содержание и смысл, но не предсказывает последовательность событий. Таким образом, в Откровении происходит соединение момента действительности, освобожденного от детерминизма, и исторической телеологии. Мы одновременно знаем, к чему все идет, но не знаем, когда и как все это случится, так как человек внутри этой божественной истории обладает агентностью, свободой.

Кирилл уже говорил о бонапартизме. Для Маркса это очень важное политическое понятие, потому что, как он считал, эта форма диктатуры, к которой так или иначе неизбежно идет буржуазное государство как таковое. В принципе, такой образ будущего – абсолютной власти, перед которой все равны в своем бесправии, – описывается в Откровении Иоанна Богослова как царство Антихриста. И явление этого тоталитарного общества непосредственно предшествует окончательному краху всего старого порядка и наступлению Царства Божия. Этот момент концентрации всего ужаса старого мира накануне его гибели является неизбежным и необходимым. Собственно, Маркс близким образом понимает место бонапартизма в историческом процессе: авторитарное бюрократическое государство лишает политической власти экономически господству-



ющий класс, буржуазию, и возвышается над обществом, чтобы сдержать разрывающий его социальный антагонизм. Чем сильнее становятся классовые противоречия внутри общества, тем более совершенной и репрессивной становится стоящая над ним государственная машина. Однако, чем сильнее эта машина становится, тем ближе ее крушение.

Вот поэтому мы имеем некое описание тенденции, которая не является конкретным, калькулируемым будущим. И поэтому мне кажется, что марксизм, как и гегелевская философия истории, предлагает скорее «норму времени», а не достижимый образ будущего. Это будущее видится как нечто открытое и полностью принадлежащее действительности, моменту настоящего, из которого мы производим свободное решение. Таким образом, история остается не только пространством необходимости, но и пространством свободы.

И.К.: Я не совсем согласен с такой трактовкой Гегеля. Боюсь, мы выдаем желаемое за действительное, пытаюсь обнаружить расхождение между моментом действительности и тотальностью. Мне кажется, что свою философию он понимал как наконец-то достигнутое совпадение действительности и тотальности. И именно поэтому теперь становится мыслима настоящая связь всех моментов прошлого. Если представить себе гегелевскую философию истории с открытым финалом, то она перестанет быть гегелевской. Предположим, что в будущем явится новый исторический народ с радикально новым принципом, по-новому раскрывающий Абсолют. Тогда мы заново, уже исходя из этого нового принципа, должны будем переосмыслить связь между всеми прошедшими эпохами. И если принцип действительно новый – то мы *должны* будем сделать это принципиально *недиалектическим*, негегелевским способом!

И.Б.: Игорь, прошу прощения, но я не приписывал эту точку зрения Гегелю...

И.К.: Да, но я реагирую скорее на ваши слова о Марксе, который, как мне кажется, и попытался сохранить диалектический метод и «открыть» принципиально завершившуюся гегелевскую историю. Это является, на мой взгляд, куда большим противоречием, чем якобы существующее у Гегеля противоречие между методом и системой. У Гегеля метод неотделим от содержания, линейное разворачивание истории парадоксальным образом содержится в замкнутом круге Идеи, а диалектически опосредствованное Целое тождественно непосредственно-открытой истории в марксизме.

Андрей, а что вы думаете о будущем марксизма и марксистском понимании будущего?

2023 ГОД: НАСТУПИВШИЕ
БУДУЩИЕ? ДИСКУССИЯ «НЗ»

А.О.: Для меня это непростой вопрос, поскольку я никогда не считал себя специалистом в марксизме, хотя эта перспектива для моих штудий имеет огромное значение. Я принимаю утверждение, которое делает Илья, говоря, что Гегеля трактуют зачастую однобоко – как философа, который привил нам веру в линейную историю. Но ведь эта репутация появилась у него неспроста. Альтюссер был одним из тех, кто убедительно показал, что Гегель был мыслителем, который, кроме настоящего, другого времени вообще не признавал. Он, говоря современным языком, в своем роде презентист. И вся тема мультитемпоральности, которую открывает Альтюссер, начинается с критики Гегеля.

Сейчас делается попытка прочесть Гегеля сложнее и даже найти у него мотив контингентности. Я знаю такие работы и нахожу их любопытными. Но, в общем и целом, я скорее соглашусь с тем, что говорит Илья: Гегель будущим не занимался. Выражение «историческое будущее», наверное, было бы оксюморonom применительно к Гегелю и даже к Марксу. Думаю, здесь мы все же имеем дело с философией истории, которая из двух начал, о которых говорил Илья – необходимости и свободы, – все-таки на первое место ставит необходимость. Учитывая, что ключевыми понятиями современности являются понятия контингентности и неопределенности, для меня остается вопрос, насколько гегелевская традиция философии истории помогает ориентироваться в нашей современности. Пока мне не кажется, что она сильно в этом помогает.

Учитывая, что ключевыми понятиями современности являются понятия контингентности и неопределенности, остается вопрос, насколько гегелевская традиция философии истории помогает ориентироваться в нашей современности.

И.К.: Спасибо, Андрей! Честно говоря, чем больше я читаю Гегеля, а сейчас я практически только его и читаю, тем больше его философия кажется мне радикальнее и интереснее, чем философия его современных критиков. Но, впрочем, это тема большого и отдельного разговора.

Сейчас я хотел бы перейти к теме, в которой мы все не специалисты, но которая затрагивает каждого из нас. Я имею в виду технику – ну, или если учесть современную фазу ее раз-



вития – технонауку. Здесь мы сталкиваемся с тем же парадоксом: с одной стороны, на наших глазах произошла медиа-революция – интернет, мобильная связь, искусственный интеллект и так далее – вот, пожалуйста, прогресс, само будущее можно потрогать руками; с другой стороны – это все апгрейд (пусть и радикальный) тех технических устройств, которые были изобретены довольно давно, в том же XIX веке. Возникает вопрос: что это? Фантастическое будущее, заглянувшее к нам «из будущего», или реализация техноутопий прошлого?

К.К.: Здесь-то мы точно живем в наступившем будущем. Мы окружены вещами, мы живем в мире (я, конечно, понимаю, что это заезженная фраза), в реальности, которую придумал «коллективный Жюль Верн». Полеты на Луну, всевозможные девайсы и гаджеты, которые в конце XIX века воображали, имея при этом какое-то практическое основание, о которых мечтали, а потом создавали, которые тогда были крайне несовершенными, – это все технологический набор будущего эпохи начала высокой модерности. Сейчас все эти вещи стали совершенными. Конечно, есть вопрос: а как мы представляем себе совершенство? Помню, когда я увидел телефон Нокиа в начале 2000-х, то понял: вот оно совершенство. Помните его дизайн, фантастически миниатюрный.

И.К.: Да! Нокиа 3310.

К.К.: А потом начался упадок этого совершенного дизайна мобильных телефонов, они становились – и становятся – все больше, все более громоздкими, все монструознее. Этот дизайн будто подошел к границе вещи под названием «телефон», за которой уже не телефон, а что-то другое, палочка Нокиа вместо брелока на молнии, застегивающей худи. Подошел и отшатнулся назад, к громоздким штукам, напоминающим времена, когда брали трубку и кричали в нее «Барышня, Смольный!» Сейчас эта «барышня» – *Siri*. В каком-то смысле, мне кажется, это главное доказательство того, что мы по-прежнему живем в эпоху модерности. Мы живем с вещами, используя вещи, в окружении вещей, в системе вещей, которые были придуманы на заре высокой модерности. Да, первые фотоаппараты были несовершенны, но это были именно *фотоаппараты*; первые телефоны были несовершенны, но это были именно *телефоны*; первые летательные аппараты были несовершенны, но это были именно *летательные аппараты* и так далее.

Как раз в этой точке, извините за романтическую метафору, тоска и начинается. Мы понимаем, что все эти вещи, которые придумали люди второй половины XIX века, которые несколь-

ко последующих поколений доводили до ума, – все, до ума доведены и большего уже не будет! Тут возникает немного надоевший всем, но от этого не менее важный тезис, который сформулировал Марк Фишер, повторяя Фредрика Джеймисона: можно скорее представить себе конец света, чем конец капитализма. Тезис этот можно много обсуждать – и критиковать, конечно, – но в одном он абсолютно верен. Если взять технологическую составляющую капитализма, мы действительно не можем себе представить конец *технологически именно тако- го капитализма*.

Вы можете возразить: мол, разве это так? У нас все новое, особенно новые медиа, соцсети и прочее. И вообще, как любит шутить Зиновий Зиник, на айфонах скоро летать будем. Но давайте посмотрим, что передается, транслируется с помощью этих новых медиа (даже если держать в голове маклюэновскую мантру «the medium is the message»), какой тип сознания, какие идеи, какие слова в мессенджерах, в социальных сетях? Они же очень старые. Да, часто они стали короткими. И, конечно, из-за краткости таких сообщений, постов и видеороликов (некогда – формат Твиттера, сейчас скорее ТикТока или рилсов) все, что длиннее, дольше, воспринимается как фильм Тарковского. Но это не очень важно, поскольку содержание мышления, если я могу использовать столь старомодные слова в присутствии философов, остается тем же самым. Это еще одно депрессивное доказательство того, что мы по-прежнему существуем в эпоху модерности, в том будущем, которое придумано во второй половине XIX века.

И.К.: Это лишний раз подтверждает правоту Гегеля по поводу конца истории. Но, наконец-то, свершившееся «техническое» примирение субстанциальности и субъективности вызывает не удовлетворение, а ощущение безысходности.

К.К.: Как говорил Фишер: «капитализм – это депрессия».

И.К.: Илья, Андрей, как бы вы отреагировали на такое пессимистическое наблюдение? Можно ли в связи с ускоряющимся техническим апгрейдом все той же старой доброй модерности говорить об исчерпанности будущего?

И.Б.: Речь идет не об исчерпанности будущего, а об исчерпанности связи будущего с развитием технологий. На этом вопросе стоит остановиться, потому что, действительно, базовая марксистская идея (хотя большой вопрос, настолько правильно понимать Маркса таким образом, но тем не менее) сводилась к тому, что будущее рождается из противоречия между



развитием производительных сил и формой присвоения. Развитие преодолевает форму, и капитализм оказывается исторически исчерпан.

Однако позже выяснилось (и об этом писало большинство марксистов XX века начиная с Лукача), что форма капитализма не является чем-то вторичным, а наоборот, она является первичной, определяющей и развитие технологий, которое, таким образом, не является свидетельством развития человеческой истории, – никакой синхронности не существует. Более того, в середине XX века развивается подозрение, что связь между ними прямо противоположная: чем больше развиваются технологии, тем меньше остается человеческой свободы. Я разделяю эту озабоченность, которую часто называют технопессимизмом. Появление искусственного интеллекта, расширяющиеся практики контроля за частной жизнью, системы слежки, развитие социальных медиа и так далее – все это ограничивает нашу свободу и ведет к деградации человека. Развитие технологий в направлении максимизации прибыли и постоянного роста производительности труда ведет к тому, что человек становится лишним, подменяется машиной. Маркс, кстати, еще в 1850-е писал об этом в своем знаменитом фрагменте о машинах. Это хороший повод, чтобы не рассматривать его как технооптимиста, который обманулся в своих ожиданиях и поэтому не является актуальным.

Мне кажется, что проблематичное будущее технологий и человека – одна из главных точек конфликта. Это действительно альтернатива, в которой придется выбирать какую-то одну сторону: мы за рост производительности и, соответственно, за рост потребления – или мы за человека и, таким образом, рассматриваем вопрос о его потребностях с какой-то другой перспективы, нежели потребление и расширение личного комфорта (хотя как раз комфорта при акселерации капитализма становится все меньше и меньше). Тот факт, что нынешнее поколение везде живет хуже, чем предыдущее, связан в том числе с исчезновением будущего как некой цели технологического развития.

И.К.: Да, но, если мы вспомним, что сегодня статусом агентности наделяются не только человеческие существа, но и технические объекты, нас (ну, или уже не нас), по всей видимости, ждет начало какой-то совсем *другой* истории.

И.Б.: Весь капитализм основан на том, что качеством агентности наделяются вещи.

И.К.: Именно. А в ближайшем будущем капиталистическая машина, наконец, полностью освободится от своих ненадежных,

несовершенных человеческих «деталей» и обретет долгожданную автономию. Тут вспоминается не только «темный акселерационизм» Ника Ланда, но и некоторые сатирические и публицистические тексты Эвальда Ильенкова, написанные в 1960-е. Например «Тайна черного ящика», где он, остроумно критикуя кибернетические увлечения советской интеллигенции, набросал альтернативную историю и политическую теологию цивилизации умных машин.

А.О.: Я тоже ни в коей мере не являюсь технооптимистом. У меня вопрос о технических инновациях, которые должны радикально поменять нашу жизнь, вызывает подозрение, потому что техника здесь исключает политику как важную область человеческого бытия. Я не сторонник такого подхода, хотя отмечу, что в теории истории есть вполне сложившийся тренд, где как раз технологические изменения, такие, к примеру, как возможность редактировать геном человека или кибертехнологии, выступают иллюстрацией возможных событий, которые однажды радикально поменяют жизнь людей и отправят в прошлое современность, в которой мы все еще живем.

У меня есть коллега по Билефельдскому университету Золтан Болдижар Симон, который публиковался в тематическом номере «Логоса», посвященном современной теории истории¹⁰. С его точки зрения, процессуальная историчность, к которой мы привыкли и о которой говорили сегодня, вспоминая Гегеля и Маркса, уходит в прошлое, и на ее место должна прийти так называемая «событийная» историчность, утверждающая разрывы и отменяющая все, что было до некоторого «беспрецедентного» события. Симон – очень востребованный сегодня теоретик, очень активный, он много публикуется. Но предлагаемая им перспектива не представляется мне до конца убедительной. На мой взгляд, это такая новая апокалиптика, которая никогда не уходила из пространства исторической рефлексии, но сегодня приобрела такие формы, когда конец истории мыслится как сбой в программах по редактированию генома или необратимый эффект глобального потепления, вызванному техногенными причинами. Я не большой поклонник такого рода рассуждений.

И.К.: Понятно. Спасибо, Андрей. Но ведь конец истории, возможно, и открывает для нас какое-то новое, уже неисторическое, будущее. Примерно такую мысль высказывает Дипеш Чакрабартти в «Климате истории»: поскольку история – это слишком дорогостоящее, энергозатратное предприятие, ведущее, в ко-

10 Симон З.Б. *Трансформация исторического времени: процессуальные и событийные темпоральности* // Логос. 2021. № 4. С. 219–246.



нечном счете, всех нас к экологической катастрофе, нам нужно как можно быстрее от нее отказаться, пережить биологическую метанойю и осознать себя просто как один из многочисленных биологических видов, живущих на Земле. И, чем скорее мы это сделаем, тем целее все мы – и все живое вокруг – будем. Может быть, такой отказ от истории – это как раз и есть радикальное открытие будущего как такового? Правда, и сам Чакрабарти говорит, что такая метанойя практически невозможна.

К.К.: А я все параноидально возвращаюсь к истории, к революции 1848 года и к событиям вокруг и после нее. Вы очень интересно обсуждали Гегеля, но для меня важно помнить, что Гегель продукт – пусть и чуть раньше – примерно той же самой исторической эпохи, то есть он прямо предшествует 1848 году. И то, что было дальше, частично им определено.

Вообще же мне иногда кажется, что все мы замурованы в модерности: и наши разговоры о будущем, и наши мечты о будущем являются частью той же самой модерности, если угодно, частью *проклятия модерности*. И многие хотят вырваться за пределы тюрьмы вечного повторения одних и тех же идей, слов и, как мы видим, вещей, пусть и сильно трансформированных. Ничего из этого не выходит, сколько ни пытаются – что порождает отчаяние, пессимизм, депрессию. Это и есть проклятие модерности. Модерность принесла будущее как представление, как надежду, как мечту, как идеал – и это же стало наказанием. В итоге к настоящему времени будущее исчезло, оно превратилось в лучшем случае в инструмент паллиативного психологического лечения.

Модерность принесла будущее как надежду, как мечту, как идеал – и это же стало наказанием. В итоге к настоящему времени будущее исчезло, оно превратилось в лучшем случае в инструмент паллиативного психологического лечения.

Вспомним ведущиеся российскими либералами уже лет десять разговоры о «прекрасной России будущего». Никакой «России будущего» нет. Никаких действий по направлению к достижению или конструированию этого будущего не предпринимается, никаких возможностей не просматривается – зато какое отдохновение помечтать, поговорить о «прекрасной России будущего»! Эти терапевтические разговоры исходят из того, что проклятое «сейчас» мы опускаем, оно когда-нибудь кончится само собой, а дальше мы (или следующее поколение)

примемся строить – и даже жить – в грядущей прекрасности. Это похоже на разговоры тяжело или смертельно больного человека, который таким образом пытается успокоить себя и окружающих.

Я надеюсь, что наш разговор был все-таки иного типа – хотя я и ощущаю некоторый его терапевтический эффект, каюсь. Последнее, наверное, потому, что в разговоре было внутреннее напряжение между историей и теорией. И это напряжение было продуктивным, а не безнадежным.

А.О.: Я хотел бы подхватить эту мысль Кирилла. Предложенная им формула показалась мне очень хорошей – я имею в виду «проклятие современного будущего». За этим стоит проблема, которая не имеет простого решения: как выйти из парадигмы модерна и существует ли будущее вне этой парадигмы? По сути, именно об этом мы говорили. И хотя многие говорят сегодня о будущем (я вот тоже начинал разговор с того, что сейчас это топовая тема в теории истории), такая постановка проблемы, как ее сформулировал Кирилл, кажется, встречается не очень часто. С модерном сегодня принято расставаться весело, поскольку считается, что он себя настолько исчерпал, что отвязаться от него будет просто. А может быть, вовсе и не так просто?

И.К.: Что же, не обманываясь мнимой легкостью преодоления модерна, будем подходить к этому преодолению как к интеллектуальной и практической задаче на будущее! Спасибо всем за продуктивный разговор и надеюсь, что впереди у нас будут время и силы его продолжить.

Октябрь 2023 года

Подготовка к публикации Светланы Липатовой



Пространство революционного опыта и современный горизонт ожиданий: 1848–1849

I



Олег Алексеевич Ларионов (р. 1998) – историк литературы, аспирант Оксфордского университета. Сфера научных интересов – русская литература XVIII века, интеллектуальная история, гуманитарная и социальная теория.

Европейские революции 1848–1849 годов вряд ли занимают центральное место в современной исторической памяти. «Весна народов», случившаяся на полпути между 1789-м и 1917-м, теряется на фоне этих грандиозных революций и не может предложить сопоставимого набора запоминающихся эпизодов, лиц, слов и образов, значимых и узнаваемых за пределами той или иной национальной традиции. Причиной служит сам характер событий середины XIX века. Зимой и весной 1848 года революции охватили одну за другой европейские страны, быстро приводя к ощутимым переменам: во Франции установилась республика, итальянские и немецкие правители, как и австрийский император, пошли на уступки, обещая конституции и созыв парламентов. К лету среди недавних союзников-революционеров наметились конфликты, в итоге приведшие к размежеванию умеренных либералов (победивших, например, в Париже) и левых (временно возобладовавших в Вене). Пользуясь этим расточением и распылением революционных энергий, контрреволюционные силы нанесли ответный удар и осенью одержали победы в Берлине, Праге и Вене. В то же время, однако, по Италии, по центральной и южной Германии прошла вторая волна революций, обуздать которую удалось лишь летом 1849 года; примерно тогда же Австрия при помощи России одолела восставших венгров. Революционные события разворачивались сразу в множестве точек, иногда синхронизируясь и резонируя, но порой и резко не совпадая друг с другом: в Неаполе контрреволюция произошла уже 15 мая 1848 года – одновременно с первым столкновением радикалов и центристов в Париже и почти за месяц до начала революции в Бухаресте. Вместо единства времени, места и действия – переплетение более или менее взаимосвязанных происшествий, случавшихся с разной скоростью и в разных обстоятельствах на многочисленных театрах революционных действий. Более того, вместо зримых долгосрочных ре-

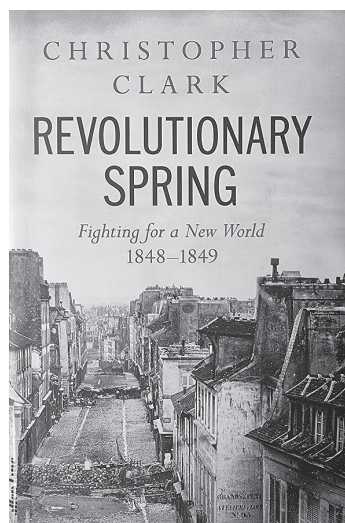
зультатов и необратимых изменений – череда поражений и откатов назад, невнятные итоги и репутация провалившейся революции.

Из всей событий 1848 года лучше всего помнятся, кажется, французские: февральское отречение «короля-груши» Луи-Филиппа; знаковое июньское восстание парижских рабочих, кроваво подавленное новой республиканской властью; внезапное возвышение Луи-Наполеона и последующее установление Второй империи. Избирательное внимание именно к этим эпизодам поддерживается многочисленными историко-культурными ассоциациями. Здесь и общий фокус на Париже – «столице XIX столетия», – и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Маркса, и Флобер с его «Воспитанием чувств», и Герцен, для которого поражение революции стало и политической трагедией, и одной из точек отсчета для «семейной драмы». Складывающийся в результате образ 1848 года не вдохновляет: беспощадный бой буржуазии с пролетариатом, отдаленные звуки которого слышит флоберовский Фредерик Моро и в котором бессмысленно гибнет тургеневский Рудин, повсеместно обманутые ожидания, преобразование революционного энтузиазма в меланхолию, а то и в циничную аполитичность. Тем не менее это лишь фрагмент гораздо более пестрого и многосоставного комплекса явлений, с трудом поддающегося связному и последовательному изложению.

Опыт всестороннего рассказа обо всех европейских революциях 1848–1849 годов представлен в монументальной новой книге австралийского историка, профессора Кембриджского университета Кристофера Кларка¹. На протяжении многих сотен страниц, за которыми, как свидетельствуют сноски, стоят тысячи страниц чтения на дюжине европейских языков, автор детально реконструирует революционные события, перемежая хронологически движущееся повествование проблемным анализом тех или иных аспектов революции. Благодаря этому нарративному решению истории отдельных революций не низываются одна за другой, но переплетаются и дополняются концептуальной проблематизацией. В результате при неизбежной утрате цельности изложения локальных сюжетов революции 1848 года предстают «укорененными в одном и том же взаимосвязанном экономическом пространстве, разворачивавшимися внутри родственных культурных и политических порядков и вызванными процессами социально-политических и идейных перемен, которые всегда были связаны международно» (с. 279).

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПРОСТРАНСТВО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА
И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТ
ОЖИДАНИЙ: 1848–1849



¹ CLARK C. *Revolutionary Spring: Fighting for a New World, 1848–1849*. London: Allen Lane, 2023. (Далее в тексте в скобках указываются страницы этой книги. – Примеч. ред.)



II

Кларк начинает с масштабной экспозиции, посвященной состоянию Европы в десятилетия, предшествовавшие 1848 году. Это было время нарастания социальных, экономических и политических напряжений, в поле которых вызревала революция. Индустриализация и стремительный рост населения были важными факторами, хотя и не прямыми причинами, пауперизма – нищеты, носившей системный характер. Новые многочисленные классы городской бедноты стали фактом не только реальности, но и общественного сознания. Мешая фикциональные и документальные жанры, литература «социального вопроса» стремилась изобразить и исследовать современный город и его обитателей, снабжая обеспеченного читателя картинками и цифрами ужасающей нищеты. Колеблясь между филантропией и моральной паникой, авторы затрагивали целый ряд вопросов – об условиях труда, здравоохранении, общественной гигиене, детской рабочей силе, проституции, городском планировании – и находили самых разных виновников сложившегося порядка вещей: от самих бедняков до структурных особенностей капитализма. Коллективными усилиями производилось политически заряженное знание о современном обществе. По большей части за пределами пристального внимания современников находились не менее серьезные бедствия сельского населения. Распад многовекового аграрного порядка, выразившийся в переходе от практик коллективного пользования земель к установлению частной собственности, вызывал, в зависимости от локальных контекстов, разные реакции у тех или иных групп крестьянства – известны возмущения как противников, так и его сторонников.

В любом случае важен сам факт наличия то тлеющего, то вспыхивающего социального конфликта. Из-за размывания традиционных форм общежития и образования новых мобильных профессиональных групп, циркулировавших между городом и деревней, все больше слоев населения оказывались уязвимыми перед лицом вызванного неурожаем голода. Цепные реакции причин и следствий, дисбалансы власти между разными социальными группами и частое нежелание правительств вмешиваться в сферу экономики приводили к катастрофам, самой страшной из которых стал Великий голод 1847 года в Ирландии. Антиподом этой трагедии может послужить пример испанского города Хереса-де-ла-Фронтера, где в том же году в результате административного вмешательства торговцы понизили цены на зерно, предотвратив голод и сопутствующие ему бунты.

И в городе, и в деревне подспудное социальное и экономическое недовольство периодически перерастало в открытое на-

сильственное противостояние. Кларк подробно останавливается на нескольких примерах. В 1831-м и 1834 годах произошли два восстания лионских ткачей – группы с развитой «организационной культурой» (с. 53) и связями с прессой. Если первое восстание имело чисто социальный характер, то второе, жестоко подавленное правительственными силами, уже обладало зачатками политического измерения, привнесенного в первую очередь столичными республиканскими активистами, стремившимися заagitировать рабочих.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПРОСТРАНСТВО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА
И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТ
ОЖИДАНИЙ: 1848–1849

Из-за размывания традиционных форм общежития и образования новых мобильных профессиональных групп, циркулировавших между городом и деревней, все больше слоев населения оказывались уязвимыми перед лицом вызванного неурожаем голода.

Полноценного слияния двух повесток, однако, в этот момент не произошло. Силезские ткачи, восставшие в 1844 году, не имели аналогичных институций поддержания профессиональной солидарности и артикуляции своих требований; их протест вылился в штурм и разорение зданий фирм и домов работодателей. Катастрофическое несовпадение запросов и действий различных социальных классов выявилось в 1846 году в Галиции. В этой провинции Австрийской империи произошла попытка очередного польского восстания, однако призывы панов восстать против имперской власти во имя будущей свободной Польши не нашли отклика у крестьян – причем не только русинов, но и говорящих на польском языке. Более того, крестьянство в свою очередь восстало против шляхты, устроив ей кровавую резню. Национальные устремления элит были нейтрализованы неучтенной социальной фрустрацией низших классов. Все эти случаи свидетельствуют о наличии глубинного непонимания – и большого потенциала для конфликтов – между разными общественными группами, а также демонстрируют сложное взаимодействие членораздельных политических запросов и акций и глухого социального протеста, перетекающего в безграничное насилие. Оба вывода важны и для понимания революций 1848 года.

Попытки современников интерпретировать окружавшую их социальную и политическую реальность были многообразны и порой хаотичны. Либералы стремились нащупать почву, среднюю между несвободой реальных абсолютных монархий и пугающей вольницей воображаемой демократии; они мечтали о правах, обеспеченных конституцией, представительных орга-



нах и власти образованного и состоятельного меньшинства, надежно защищенного от масс и их социальных требований. Идеалом либералов была утопия свободного рынка, а своей задачей они считали создание метаполитического пространства для опосредования и согласовывания конфликтующих позиций и интересов. Претендуя на обладание внеидеологическим здравым смыслом, они амбивалентно балансировали между деспотизмом и революцией, колеблясь в выборе меньшего из двух зол. Слева от либералов располагались радикалы – сторонники не только расширения политических прав, но и социальных преобразований, «организации труда», защиты рабочих и регулирования рыночной экономики. Проекты по устройству справедливого общества будущего, создававшиеся сенсимонистами, фуьеристами и другими участниками разногласного « хора спекуляций о смысле хорошей жизни и многих путях к человеческому процветанию » (с. 747), позднее объединенными Марксом под именем «утопических социалистов», служили симптомом того, что социальное отныне не сводилось к политическому и являлось самостоятельным проблемным полем.

Политические категории и теории современности подвергались критике со стороны консерваторов, противопоставлявших их рационалистичности, абстрактности и универсальности исторически укорененные, локальные и конкретные обычаи, эмоции и традиции. Между тем столь дорогое сердцу многих консерваторов религиозное чувство подвергалось в это время существенным трансформациям: оно открепилось от церковных институтов и начало независимую жизнь, подпитывая самые разные политические программы. Мицкевич использовал религиозный язык для формулирования мессианской польской национальной идеи, тогда как радикальный священник Фелисите Ламенне проповедовал с его помощью социализм. Профанация религиозных образов и аффектов вызвало ответный подъем движений в защиту традиционных организованных религий, однако это уже не могло воспрепятствовать повсеместному обряжению мирских целей в одежды священного авторитета.

Одной из важнейших секулярных эмоций того времени был патриотизм. Национальное чувство опиралось на полувымышленное прошлое и апеллировало к родной истории и языку для того, чтобы выстраивать и обосновывать позиции по актуальным политическим вопросам. Чувство причастности к нации было доступно и женщинам, что выгодно отличало патриотизм от других, менее инклюзивных, моделей политического существования. Кларк остроумно предваряет обсуждение идеологических течений первой половины XIX века разделом о феминистской критике патриархата. Радикальные мыслительницы – такие, как Клэр Демар и Сюзанна Вуалкин, – указывали

на политическое бесправие женщин, социальную и культурную сконструированность существующего гендерного порядка, репрессивное измерение института брака и односторонность мужского понимания сексуальной эмансипации. Этот пронизательный и в каких-то отношениях наиболее фундаментальный анализ устройства европейских обществ того времени был, однако, практически полностью проигнорирован их мужскими современниками. Другим слепым пятном многих идеологических построений являлось рабство. Несмотря на то, что метафоры рабства были чрезвычайно распространены в политическом языке эпохи, реальное рабство как один из институтов современного мира и аболиционистская аргументация долгое время оставались на периферии внимания политических деятелей и мыслителей.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПРОСТРАНСТВО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА
И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТ
ОЖИДАНИЙ: 1848–1849

Чувство причастности к нации было доступно и женщинам, что выгодно отличало патриотизм от других, менее инклюзивных, моделей политического существования.

На этом фоне по всей Европе разворачивались процессы политической поляризации. Итоги июльской революции 1830 года не удовлетворили радикалов; несколько раз республикански настроенные заговорщики организовывали неудачные восстания против нового режима. Формировалась культура левого подполья, главным героем которой оказывалась фигура негнутаемого борца, революционера-аскета, наиболее полно воплотившаяся в Луи Бланки. Сходный характер имели национально-освободительные движения, важнейшим идеологом которых был Джузеппе Мадзини, прославлявший самопожертвование борец за свободу Италии. Во Франции оппозиционное общественное мнение группировалось вокруг газет и журналов, а также заявляло о себе косвенными путями – через визуальный язык карикатур или практику проведения банкетов, заменявших собой митинги. В немецких государствах и Австрийской империи пространством политизации и конфликта стали представительные органы: традиционные сеймы начали превращаться в современные парламенты. Выстроенную после Венского конгресса систему европейского порядка начинало штормить, и ее архитектор, австрийский канцлер Меттерних, напрасно пытался восстановить контроль с помощью тайной полиции. Гражданская война 1847 года в Швейцарии, окончившаяся победой либеральных протестантов над консервативными католиками, повсеместно воспринималась как предвестие более масштабного столкновения сил прогресса и реакции.



III

Причинно-следственные связи, порождающие революции, можно разделить на три группы. Между уровнем долгосрочных социальных, экономических и культурных процессов и краткосрочной последовательностью событий и происшествий, непосредственно запускающих цепную реакцию возмущения, располагается «промежуточный план каузации: накопление политического напряжения, ожесточение языка, коллапс консенсуса и истощение компромисса» – «политическая динамика, которая живет не годы и не часы, но месяцы и недели» (с. 294). К 1848 году подобная кризисная ситуация сложилась сразу в ряде европейских стран; первым сдетонировало Неаполитанское королевство. В начале января на улицах Палермо появились листовки, анонсировавшие революцию 12 января. Их автором был революционер Франческо Баньяско, надеявшийся спровоцировать таким образом восстание. Любопытствующие массы собрались в назначенную дату в центре города, и революция в самом деле произошла. В течение нескольких следующих месяцев похожие наложения случайных обстоятельств и давно зреющих структурных конфликтов вызвали революции в Париже, Берлине, Милане, Венеции, Вене, Пеште. Революции не вытекали прямолинейно одна из другой, но и не развивались изолированно. Они выросли из взаимосвязанных контекстов и становились фактами общеевропейского медиапространства: периодическая печать подробно информировала читателей о событиях в других странах, создавая коллективное чувство настоящего и творящейся на глазах истории. При всех ожиданиях, однако, революции заставали врасплох. За исключением периферийной Валахии, где за революцией – в духе 1820-х – стояли тайные общества и дворяне-офицеры, восстания 1848 года не были заранее спланированы. «Революционеры» производились самим событием, а не наоборот, и люди, получившие власть в результате краха старых режимов, оказались в новой позиции внезапно и произвольно. Так, в Париже Временное правительство сформировалось из редакций двух оппозиционных изданий с вкраплением почти случайных лиц, символизировавших собой трудящиеся классы.

После первых революционных потрясений неизбежно наступал период стабилизации и обуздания вырвавшихся на волю политических и социальных энергий. Необходимо было заново выстроить систему полицейского регулирования городского пространства; по всей Европе эти функции брали на себя самоорганизованные отряды национальной гвардии, а в Вене к ним присоединился студенческий Академический легион. Новый порядок утверждал себя через публичные ритуалы и коллек-

тивные практики. Жертвы уличных боев торжественно хоронились и поминались как секулярные мученики, отдавшие жизнь во имя свободы или, например, Французской республики (которая еще не существовала на момент их гибели и, таким образом, ретроспективно легитимировала себя через их кровь). Новые правительства были неоднородными по составу: во Франции пытались найти общий язык либералы и радикалы, а в Пруссии и Австрии – старые консервативные министры и реформаторы, назначенные в результате общественного давления на монархов. По всей Европе большие надежды возлагались на представительные органы. Запрет на проведение оппозиционного банкета в поддержку расширения числа избирателей спровоцировал февральскую революцию в Париже, а в немецких землях и в Австрийской империи многочисленные парламенты и сеймы стали проблемой для власти еще до 1848 года.

Одним из важнейших органов такого типа во время революции было Франкфуртское национальное собрание, депутаты которого пытались договориться о принципах объединения Германии. В реальности многие парламенты столкнулись с неопределенностью своих полномочий, туманностью собственной легитимности, неподконтрольностью исполнительной власти и – в сложно устроенных немецких и австрийских землях – пересечением зон действия сразу нескольких представительных органов. Воплощение либерального идеала конституции тоже было отмечено фундаментальной двусмысленностью. В Италии, Германии и Австрии конституции, ранее ассоциировавшиеся с реформистской повесткой, оказались рабочими инструментами контрреволюционного реагирования консервативных элит, стремившихся с их помощью предотвратить дальнейшее ухудшение своего положения. Сочетание реформистских и репрессивных превентивных мер помогло избежать революции ряду европейских государств, в числе которых были Испания и Великобритания.

Революции обещали освобождение человечества от всех возможных оков, однако действительная эмансипация была нелинейной и противоречивой. Новые французские власти начали работу над декретом об уничтожении рабства в колониях; соответствующую комиссию возглавил самоотверженный аболиционист Виктор Шельшер. Декрет был принят 27 апреля 1848 года, но еще до того, как новости о нем дошли до французских колоний, на Мартинике произошло очередное восстание рабов, которое привело к фактической отмене рабства. Вместе с тем акт эмансипации совершенно не решал комплекса вопросов об условиях и механизмах выхода рабов из своего состояния, трансформации их отношений с плантаторами, обретения нового легального статуса. Схожие проблемы возникли и в Ва-

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПРОСТРАНСТВО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА
И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТ
ОЖИДАНИЙ: 1848–1849



лахии, где краткосрочная революция пыталась ликвидировать рабство рома. Во многих местах революции уравнили евреев в правах с остальным населением, но где-то быстро последовал откат назад, а где-то случились массовые протесты против эмансипации. В ситуации революционного беспорядка насилие против евреев было распространенным способом выплеска социального напряжения, и антисемитизм встречался не только в консервативных, но и в левых антикапиталистических дискурсах. Из угнетенных групп меньше всего от 1848 года получили женщины. Присутствуя на демонстрациях, борясь на баррикадах, посещая парламентские слушания, проникательно анализируя события политической жизни, они принимали самое непосредственное участие в революциях, но так и не преодолели преграды мужского пренебрежения, насмешек и страхов. Никаких подвижек в легальном статусе женщин не произошло, и на их долю оставались индивидуальные действия и траектории в открытых для них областях культуры и образования, а не коллективное политическое действие.

Хрупкий консенсус оппозиционных сил, который обеспечил временную победу революций, быстро начал трещать по швам. Новые власти столкнулись с рядом фундаментальных социальных и политических проблем и порожденных ими конфронтаций. Прежде всего обозначился раскол умеренных либералов и радикалов, за которым стоял глубинный вопрос о соотношении революционных масс и их выборных представителей. В первые месяцы 1848 года в Париже суверенитет блуждал между формальными институтами буржуазной власти и сетями демократической самоорганизации рабочих. Либеральная идея политической революции как единовременного события, запускающего машинерию нового государства, противостояла левой идее социальной революции как устремленного в будущее процесса, ориентированного на «организацию труда», вмешательство в экономику и поддержание общественной справедливости. Левые добились создания в Париже национальных мастерских, которые должны были дать работу политизированному столичному пролетариату и поглотить его энергии, однако к концу июня окрепнувшая власть распустила мастерские и утопила в крови последовавшее за этим восстание.

Другая важнейшая линия разделения проходила между городом и деревней. Столичные политические деятели любых взглядов за редким исключением плохо представляли себе запросы и нужды крестьянства; результатом этого пренебрежения стало отчуждение деревни от революции и нередкое превращение ее в оплот консервативной власти. Еще одним параметром, по которому шло размежевание революционных сил, был вездесущий национальный вопрос. Несмотря на эле-

менты международной солидарности борющихся за свободу народов, страстная приверженность нации и ее предполагаемым интересам безнадежно сталкивала между собой потенциальных союзников. Депутаты Франкфуртского национального собрания не поддержали планов по восстановлению независимой Польши в том числе и за счет принадлежавших Пруссии земель, а боровшаяся за независимость от Австрии Венгрия не предлагала никакого привлекательного будущего своим славянским меньшинствам и была вынуждена воевать с хорватскими силами. Революционный импульс повсеместно рассеивался и растрчивался впустую.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПРОСТРАНСТВО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА
И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТ
ОЖИДАНИЙ: 1848–1849

Из угнетенных групп меньше всего от 1848 года получили женщины. Они принимали самое непосредственное участие в революциях, но так и не преодолели преграды мужского пренебрежения, насмешек и страхов.

Этой энтропией воспользовались контрреволюционные силы. Короли Пруссии и Неаполя восстановили полноту своей власти, а австрийцы последовательно отвоевали у революционеров северную Италию, Прагу и саму Вену, где вспыхнуло восстание против отправки войск в Венгрию. Устройство контрреволюции 1848–1849 годов выявляет еще один ключевой фактор, определявший ход событий того времени, – геополитику. В отличие от заблокировавших друг друга национально-освободительных движений, силы реакции продемонстрировали редкостную солидарность и способность к согласованным действиям. Французская армия положила конец Римской республике, возникшей в городе после бегства папы римского. Англичане жестоко расправились с возмущениями на Ионических островах, находившихся под протекторатом Великобритании. Революция в Валахии была остановлена Османской и Российской империями. Кроме того, российская армия сыграла определяющую роль в возвращении Венгрии под власть Австрии. Весь этот заключительный этап революции не мог не создать впечатления, что главным принципом политики является прагматично применяемая голая сила. После 1848 года современники в диапазоне от Бисмарка до Маркса с Энгельсом интерпретировали окружающий их миропорядок в перспективе *Realpolitik*. Революции оставили после себя тысячи и тысячи убитых людей и никакого ощущения справедливости.

Выжившие революционеры отправились в изгнание в Англию, Америку, а то и в Османскую империю. Европейский



1848 год был событием глобального масштаба, отголоски которого звучали в Чили или в Австралии, изменяясь в зависимости от локальных контекстов. В самой же Европе участники событий со всех сторон конфликта искали себе место в постреволюционном мире, нередко меняя при этом свои политические взгляды. Сложившийся в 1850-е консенсус с подозрением относился к громогласным и пестрым левой и правой идеологиям, предпочитая им более методичную, упорядоченную политику партий и конкретных программ, а также доминирование безликих, исполнительных центристов. Государственная политика была теперь нацелена на стимулирование экономического роста за счет инвестиций в развитие инфраструктуры (в первую очередь посредством строительства железных дорог), а также беспрепятственного циркулирования капитала с целью обеспечения постоянного материального прогресса. В моду вошли технократы, эксперты, эффективные администраторы. Европейские столицы начали перестраиваться в соответствии с новыми нормативами, призванными обезопасить город и с медицинской, и с полицейской точки зрения. Огромное проблемное поле «социального вопроса» начало, таким образом, апроприироваться государством, обращавшимся за поддержкой, впрочем, к институтам гражданского общества. Сходным образом утопический социализм трансформировался в прагматическую, реформистскую социал-демократию. В средоточии этого недолго просуществовавшего, но в высшей степени симптоматического постреволюционного консенсуса лежала «надежда, что технические решения каким-то образом дадут возможность избежать борьбы и преград политики» (с. 741).

IV

Повествование Кларка осуществляется в режиме удивительной неторопливости, которая держится на чувстве потенциальной неограниченности объема книги. О каждом эпизоде, сюжете, герое, вопросе, на которых считает нужным остановиться историк, рассказывается тщательно и подробно, с обильным цитированием источников и вниманием к необязательным в перспективе всей работы деталям. Каждый элемент нарратива не только значим по отношению к целому, но и ценен сам по себе. Это делает книгу увлекательнейшим чтением, полным ярких лиц и сцен, тонких наблюдений и размышлений, а также интересных отступлений и сюжетных поворотов. Кларк, конечно же, во многих случаях самостоятельно отбирает источники и выстраивает свой анализ, но в то же время он синтезирует и опирается на огромное количество исследований по самому

широкому спектру тем. Результатом оказывается картина, не только масштабная, но и в высшей мере пестрая и разнородная по составу. В своем изложении Кларк многим обязан подходам культурной истории, антропологии, гендерных исследований. Он развернуто пишет о роли женщин в революции и патриархатном обществе, о конструировании национальных идентичностей через воображение прошлого и изобретение народных костюмов, о ритуалах политической власти, о коллективных эмоциях, об инфраструктуре медиа, о дискурсах и формах знания, о преломлении общественных событий в художественной литературе и текстуальном измерении революции, об эго-документах и индивидуальном опыте, о механизмах формирования культурной памяти. Тем не менее все эти относительно более новые методы, оптики и вопросы, в конечном счете, интегрируются в достаточно традиционный нарратив социальной и политической истории, сфокусированный в первую очередь на действиях, а не репрезентациях. В итоге у Кларка выходит модернизированный вариант классического исторического письма – стилистически и композиционно выдержанного, захватывающего, сшивающего множественность героев и перипетий единством комментирующего авторского голоса, богатого на цитаты, а порой воскрешающего один из старинных, основополагающих историографических жанров: наполненные афоризмами исторические анекдоты. (Первый вспомнившийся пример: венецианские кораблестроители, смертельно ранившие своего начальника, хорвата Мариновича, отвечают на его просьбу позвать священника: «Возможно, на следующей неделе» (с. 369) – точно так же, как тот ранее отвечал на их требования платить больше денег.) Иначе говоря, рассказ получает полноценное эстетическое измерение, нисколько не теряя в фактичности и интеллектуальной строгости.

В книге убедительно и заразительно воссоздается опыт революции: внезапное головокружительное ускорение времени, зримая массовость действий, трансформация городских пространств, «оползень царств», эйфория. Впрочем, излишней поэтизации Кларк избегает; он не подпадает под очарование революционного возвышенного и не воспроизводит соответствующего языка уподобления революции природному стихийному катаклизму. Напротив, революция демистифицируется, развинчивается на составные части и предстает как опыт не только свободы, но и необходимости – как закономерный, предсказуемый в своих очертаниях процесс. Если будет успешная революция, то будет и случайно сложившееся временное правительство, будут новые символы и ритуалы, будут коллективные аффекты, будет раскол умеренных и радикалов, будет напряжение между тотальностью масс и произвольностью ре-

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПРОСТРАНСТВО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА
И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТ
ОЖИДАНИЙ: 1848–1849



презентирующих их органов, будут коалиции и размежевания социальных, экономических, политических групп, будет геополитическое измерение, будет ирония истории и полная непрочитаемость результатов. Можно уверенно предсказать ключевые этапы и потенциальные развилки и проблемные зоны любой революции – но не конкретное содержание, которое наполнит эти внешние формы, и не действительный ход событий.

Частичная прогнозируемость структуры революций вытекает из их повторяющегося характера; революция не уникальное событие, но воспроизводящееся явление, хронически присущее Новому времени. В этом смысле Марксово развенчание революции 1848 года как фарса, имитирующего трагедию Великой французской, несправедливо: все современные революции похожи друг на друга. На протяжении всей книги Кларк выстраивает систему аналогий между эпохой 1848-го и нашим временем: тогда люди еще не были, а мы уже не являемся «созданиями высокой модерности» (с. 754) – эры стремительной индустриализации, «подъема великих идеологических партийно-политических образований; восхождения национальных государств и государств всеобщего благосостояния; века секуляризации; роста великих газет и национальных телевизионных аудиторий» (с. 751).

Частичная прогнозируемость структуры революций вытекает из их повторяющегося характера; революция не уникальное событие, но воспроизводящееся явление, хронически присущее Новому времени.

Из зеркального положения двух исторических моментов следует их сходство: как и тогда, сейчас, вместо четких идеологий, мы наблюдаем странные конstellации противоречащих друг другу аргументов и эмоций, увеличение числа невнятных, но активных протестных движений, а также все те же нерешенные вопросы о соотношении рынка и государства, прямой демократии и представительства, эмансипации угнетенных меньшинств, социальной справедливости. Отсюда вывод: если грянет революция (а мы, кажется, очень далеки от *не-революционного* решения того «поликризаиса», с которым сейчас столкнулись), она может выглядеть, примерно как 1848-й: плохо спланированной, рассредоточенной, неоднородной и полной противоречий (с. 754).

Однако есть и другая аналогия: сфокусированный на экономике технократичный послереволюционный консенсус 1850-х напоминает «авторитарный реформизм наполеоновской эры»

(с. 741) и западную политику после 1945-го и 1989 года. За этими наблюдениями стоят разные логики: 1848-й и 2023-й похожи тем, что расположены на границах зрелой модерности, тогда как второй ряд уподоблений обосновывается, видимо, их причастностью эпохе модерна вообще. Кларк тщательно прописывает только один фрагмент нововременной истории: хаотичное бурление 1830–1840-х – кульминация процессов в 1848–1849 годах – посткатастрофическое упорядочивание 1850–х (вскорости начинающее мутировать и распадаться). Эта последовательность событий вписана в намеченную лишь в самых общих чертах хронологию наступления и конца модерности. Таким образом, лишь несколько десятилетий XIX века получают в книге последовательную интерпретацию, вычлняющую исторические периоды и описывающую механизмы и логику их смены. Вокруг этого концептуализированного отрывка располагается недифференцированная ранняя, зрелая и поздняя модерность. Иначе говоря, один сегмент с проясненной темпоральностью окаймлен другими, в которых доминирует пространство. Модерность предстает в качестве синхронно застывшей огромной территории, в различных местах которой из одних и тех же элементов собираются те или иные вариации единых структурных явлений. В этих условиях события 1848–1849 годов могут вызывать в памяти одновременно и 1789–1799-е, и 1917-й, и, например, 1989–1993-е, а 1850-е – сразу и правление Наполеона Бонапарта, и послевоенный консенсус, и неолиберальный триумф 1990-х. В пространстве модерности подобными могут оказаться любые максимально разнесенные во времени моменты. В том, что пустое, однородное время прогресса сменяется сложным сосуществованием взаимно спроецированных темпоральностей, ничего плохого, конечно же, нет – даже наоборот. Однако сама тенденция превращения модерна из целеустремленного, динамичного периода в лишенный направления движения конгломерат отражающих друг друга общих мест и лейтмотивов представляется в высшей мере симптоматичной.

Здесь кажется уместным сопоставить Кларка с Эриком Хобсбаумом, «Век революции» (1962) которого тоже предлагает синтетический очерк десятилетий, предшествовавших 1848 году. Если воспользоваться категориями, разработанными Исайей Берлиным, то Кларк – это несомненная лисица, знающая многое, тогда как Хобсбаум, при всем умном разнообразии его анализа, – еж, знающий одно, зато самое главное. Несомненно, Кларк по сравнению с Хобсбаумом рисует картину, гораздо более нюансированную, скорректированную многочисленными локальными исследованиями, учитывающую гендерную и расовую перспективу и лишенную догматической ограниченности.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПРОСТРАНСТВО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА
И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТ
ОЖИДАНИЙ: 1848–1849



Но по тем же самым причинам – из-за установки на изображение цветущей сложности разнонаправленных импульсов – повествование Кларка в значительной степени лишено сквозной движущей силы, чувства цельности и рациональности исторического процесса, пронизывающих текст Хобсбаума. Без единого умозрительного принципа, без общей руководящей идеи, без какой-нибудь истины (в случае Хобсбаума – истины марксизма) удастся простроить связную концепцию лишь нескольких десятилетий – остальная модерность болтается привеском, нужным только для общих отсылок и разрозненных сопоставлений. Речь не о том, какой из подходов абстрактно «лучше»; важно зафиксировать саму разницу между ними.

И тут возникает еще одна проблема. Марксизм снабжает Хобсбаума не только теорией истории, но и сопутствующим моральным пафосом – разумеется, не плоской нравоучительностью, но глубокой приверженностью пролетариату как угнетенному субъекту истории, в борьбе обретающему право свое. У Кларка же сочувственные акценты расставлены по обе стороны разделительных линий. Конечно, как современный либеральный профессор он поддерживает прогрессивную повестку – гендерное и расовое равенство, демократию, какое-то регулирование рынка в целях социальной справедливости. Вместе с тем он явно не симпатизирует тем радикалам, которые отказывались признавать легитимность буржуазных представительных органов. В книге можно найти сцены для морального негодования на любой вкус: и описания чудовищной нищеты рабочих, и ужасающие расправы толпы над попавшими в ее руки правительственными лицами, и еврейские погромы, и кровавые подавления революций, и жестокие убийства революционеров, и гибель случайных жертв в первые дни беспорядков. Разнообразие изображаемых точек зрения и представление всей противоречивости революционных событий – вовсе не недостаток, скорее даже заслуга историка. В то же время в этом нельзя не увидеть некоторой структурной дезориентации. Удивительно, но на последних страницах книги Кларк, который все это время описывал либерализм трезво и без иллюзий, внезапно утверждает, что «либеральное видение метаполитики, сфокусированной на дискурсивном опосредовании интересов, так же незаменимо сейчас, как и тогда» (с. 749). Едва ли это действенный рецепт преодоления современного кризиса, диагностированного самим Кларком. Говоря об аналогиях с 1848 годом, он вспоминает захват Капитолия 6 января 2021 года, французские «желтые жилеты» и антиковидные протесты в Оттаве в январе 2022-го. Здесь сказывается разница перспектив. Вряд ли русскоязычные читатели согласятся с кембриджским профессором в отборе симптоматичных для нашего времени событий. На-

ходясь, как минимум ментально, по ту сторону наступившей катастрофы, больше параллелей с сегодняшним днем можно обнаружить, наверное, в другой книге Кларка, посвященной началу Первой мировой войны². Впрочем, чего бы ни ждать – революций, войн или всего сразу, – вопрос остается все тот же. Мы очень хорошо понимаем механику истории, столкновения групп и интересов, альянсы и конфронтации. Но можно ли за всем этим увидеть что-то большее, чем голый волюнтаризм, победу ситуативно сильных над ситуативно слабыми? При всех реверансах в сторону революционного энтузиазма и готовности умереть за убеждения в книге Кларка самым интеллектуально убедительным выводом из революции становится почти циничный политический реализм. Невозможность противопоставить ему какую-либо рабочую альтернативу и приводит к утрате ориентиров. Как претворить огромное пространство накопленного исторического опыта во вдохновляющий образ будущего, вернуть темпоральность, целеустремленность и надежду в разочарованный мир синхронизировавшихся подобию? Все эти вопросы остаются открытыми.

ОЛЕГ ЛАРИОНОВ

ПРОСТРАНСТВО
РЕВОЛЮЦИОННОГО ОПЫТА
И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТ
ОЖИДАНИЙ: 1848–1849

2 Книга только что вышла в русском переводе: Кларк К. *Сомнамбулы. Как Европа пришла к войне в 1914 году*. М.: Издательство Института Гайдара, 2023.



Есть ли место для будущего в современном режиме историчности?



Мария Касай (р. 1997) – выпускница программы «Политическая философия» Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка).

Тезис о переходе современного общества к новому, принципиально отличному от модерного, темпоральному режиму стал общим местом в теории истории последних десятилетий. Историзм, подразумевающий выстраивание линейных нарративов о непрерывном и неизбежном движении от прошлого через настоящее к будущему, подвергался критике на протяжении всего XX века и теперь окончательно перестал считаться надежным инструментом в объяснении текущего исторического состояния. На смену преобладавшему в европейском – и шире – западном историческом мышлении эпохи модерна¹ прогрессистскому видению будущего пришло представление о настоящем как доминирующей темпоральности. Франсуа Артог концептуализирует это новое состояние в понятии «презентизм» и описывает его как поглощение настоящим прошлого и будущего – последние оказываются подчинены текущим, зачастую сиюминутным требованиям времени «здесь и сейчас»². Подобный артоговскому диагноз современности ставит и Ханс Ульрих Гумбрехт, характеризуя ее как «тягучую инертно-серую среду широкого настоящего»³. Приводя все больше подтверждений всепоглощающего характера настоящего в культуре, исторических событиях и практиках современности, Артог, Гумбрехт и их последователи фактически провозглашают невозможность выйти за его пределы и помыслить будущее открытым.

Предлагаемая статья – это попытка поставить под вопрос такое восприятие современной темпоральности, в котором будущее возможно исключительно как продолжение настоящего, текущего порядка вещей. Представленный ниже критический разбор презентизма будет опираться, во-первых, на берущую свое начало в работах немецкого философа Эрнста Блоха концептуализацию исторического настоящего в качестве гетерогенной структуры «современности несовременного», а во-вто-

- 1 KOSELLECK R. *The Eighteenth Century as the Beginning of Modernity // The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts*. Stanford: Stanford University Press, 2011. P. 154–169.
- 2 HARTOG F. *Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time (European Perspectives)*. New York: Columbia University Press, 2017.
- 3 ГУМБРЕХТ Х.У. *После 1945. Латентность как источник настоящего*. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 280.

рых, на концепции открытого будущего того же Блоха и другого важного для теории истории немецкого философа первой половины XX века – Вальтера Беньямина. Я постараюсь показать, что их концепции «будущего-утопии» и «будущего-катастрофы» выявляют важное упущение, которое допускает Артог, когда редуцирует «современный режим историчности» к господству «тирании настоящего», тем самым игнорируя освободительный потенциал, заложенный в самой природе времени.

МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?

ДОМИНИРУЮЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ В СОВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ

Начиная с Артога критики презентизма достаточно убедительно показывают, как история все чаще начинает мыслиться инструментально – в качестве способа пересмотра прошлого в соответствии с целями настоящего. Память, как показывает Артог, теперь участвует в производстве настоящего и определяет социальную и культурную политику. Трепетное отношение к памяти, например, находит воплощение в мемориальных законах, программах сохранения культурного наследия или повсеместной музеефикации артефактов прошлого. Однако Артог предлагает рассматривать эти и другие признаки «презентистского настоящего» не самостоятельно – как вполне независимые от порядка времени практики артикуляции темпоральных переживаний⁴, – но скорее как совокупность неотъемлемых характеристик конкретной эпохи.

Когда Артог называет новое состояние исторического сознания «презентизмом», он стремится представить современность отрезком времени, следующим за современной темпоральностью. Однако такой ход противоречит использованию предложенной им же концепции режимов историчности как эвристического инструмента – способа артикуляции взаимной связи прошлого, настоящего и будущего, которые соприкасаются в историческом восприятии, образуя неустойчивое равновесие⁵. Артог признает наличие разрывов во времени, дестабилизирующих

- 4 О других подходах к презентизму, которые не обязательно предполагают постоянное поддержание уже сложившегося порядка вещей, см.: ARMITAGE D. *In Defence of Presentism* // МСМАНОН D.M. (Ed.). *History and Human Flourishing*. Oxford: Oxford University Press, 2023. P. 44–69; Олейников А. *Другой презентизм* (<https://liberal.ru/authors-projects/drugoj-prezentizm>).
- 5 На несоответствие друг другу некоторых выводов Артога о «современном режиме историчности» точно указывает нидерландский теоретик истории Крис Лоренц, когда выделяет у Артога две несовместимые версии презентизма. Первая, «презентизм-1», исследуется Артогом как отрезок времени, пришедший на смену современному режиму и характеризующийся всепоглощающим характером настоящего. Вторая, «презентизм-2», подразумевает, что доминирующие порядки времени не сменяют один другого линейно, но соприкасаются друг с другом в различных конфигурациях и могут «активироваться в зависимости от событий и обстоятельств» (ЛОРЕНЦ К. *Вне времени? Критические размышления о презентизме Франсуа Артога* // Логос. 2021. № 4. 2021. С. 47–53).



МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?

это равновесие и трансформирующих режим историчности⁶, но не уделяет должного внимания их несовместимости с линейным представлением о времени: разрывы – конкретные исторические события или же радикальные, но растянутые во времени социальные, политические и культурные изменения – активируют ту или иную историческую темпоральность, а не знаменуют собой ее завершение или начало.

Приводя все больше подтверждений всепоглощающего характера настоящего в культуре, исторических событиях и практиках современности, Артог, Гумбрехт и их последователи фактически провозглашают невозможность выйти за его пределы и помыслить будущее открытым.

Вследствие внутренней противоречивости теории Артога там сложно найти надежное объяснение, почему настоящее предстает в современном сознании как непреодолимое. При этом предложенная им теоретическая концепция режимов историчности позволяет политизировать этот вопрос и искать причины доминирования настоящего в социокультурных условиях. Так, внешним фактором, сопровождающим активацию новой темпоральности, можно считать приход «нового духа капитализма», описанного французскими социологами Люком Болтански и Эв Кьяпелло⁷. Возрастающая роль настоящего представляется результатом капиталистического стремления к прибыли все более эффективными, а значит, и все более быстрыми способами. Глобализация экономики сделала это стремление едва ли не повсеместным. Прогрессизм, не связанный более с претендующими на универсальность утопическими проектами и качественно иным будущим, тем не менее остался частью темпоральной логики неолиберального капитализма. Правда, как отмечает французский историк и анархистский мыслитель Жером Баше, он свернулся до экономической экспансии и надежды на технологии⁸. Непрерывное развитие последних оказывается обусловлено увеличением объемов потребления и его доступности либо поиском защиты от артикулированных и неартикулированных угроз будущего. В результате выход за

6 Временным разрывом, знаменовавшим переход к «современному режиму историчности», Артог называет падение Берлинской стены: ARTOGE F. *Op. cit.* P. 105.

7 Болтански Л., Кьяпелло Э. *Новый дух капитализма*. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

8 BASCHET J. *Reopening the Future: Emerging Worlds and Novel Historical Futures // History and Theory*. 2022. Vol. 61. № 2. P. 186.

рамки настоящего представляется затруднительным, так как предполагает переход в иное, не колонизированное «новым духом капитализма» состояние. Артог же не рассматривает даже возможность такого состояния. Как следствие, он и его сторонники склонны редуцировать современность к «тирании настоящего», растянутому существованию уже известного и привычного⁹.

Если же принять подвижный и мультитемпоральный характер самой структуры режима историчности, как предлагает сделать Крис Лоренц, то доминирование настоящего представляется не диагнозом современности, но лишь одним из ее «симптомов» – характеристикой расширения того, что философ Фредерик Джеймисон называет «гомогенным процессом капитализма». Настоящее в рамках текущих условий оказывается не единственно возможным, но самым доступным – оно не исключает возможности помыслить прошлое и будущее, но все чаще скрывает их. И критики презентизма сами вносят вклад в «расширение» настоящего, когда интерпретируют новый темпоральный режим как достаточно однородный и не предлагают никакой альтернативы текущему положению дел. Ключевым же вопросом на пути преодоления «кризиса будущего», провозглашенного еще раньше Артога Кшиштофом Помяном¹⁰, становится не отсутствие самого по себе будущего как самостоятельной темпоральной категории, но возможность выхода за рамки гомогенизирующего настоящего. Артог, как и Гумбрехт, оставляют его без внимания: будущее у них оказывается закрыто.

МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?

РАСШИРЯЯ КОНЦЕПЦИЮ РЕЖИМОВ ИСТОРИЧНОСТИ: МУЛЬТИТЕМПОРАЛЬНОСТЬ В РАБОТАХ ЭРНСТА БЛОХА И ВАЛЬТЕРА БЕНЬЯМИНА

Различение современности и настоящего

Поиски открытого будущего оказываются непременно связаны с исследованием мультитемпоральности режимов историчности. Именно поэтому необходимо вернуться к теоретическому наследию Блоха и Беньямина, предложившим в свое время нетривиальные аргументы в пользу гетерогенной природы времени и сделавшим политическую ставку на освободительный потенциал такой природы.

9 См.: ASSMANN A. *Is Time Out of Joint? On the Rise and Fall of the Modern Time Regime*. New York: Cornell University Press, 2020; ROSA H. *Social Acceleration: A New Theory of Modernity*. New York: Columbia University Press, 2017.

10 POMIAN K. *La crise de l'avenir* // *Le Débat*. 1980. Vol. 7. № 7. P. 5.



Стоит отметить, что и Блох, и Беньямин обращаются к проблематике исторического времени в попытках понять, как оказался возможен приход НСДАП к власти в Германии. Блох в книге «Наследие нашего времени» исследует рассинхронизированные темпоральности, сопричастовавшие в немецком обществе в межвоенный период, и приходит к выводу: восприятие времени обедневшего после Первой мировой войны крестьянства и мелкой буржуазии оказывается несовременным прогрессистской темпоральности пролетариата, диктуемой развитием капиталистического производства¹¹. Возникающее несоответствие и напряжение Блох рассматривает как источник противоречия, которое, однако, было проигнорировано левыми политическими движениями и которым в результате воспользовались национал-социалисты. Для объяснения сложного переплетения времен философ вводит концепт *Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen*, «современность несовременного», или «одновременность неодновременного»¹². Эта формула подразумевает различие современности и настоящего: первая не равна второму, в одном «теперь» сопричастуют несовременные друг другу социально и культурно обусловленные темпоральности. В результате между ними возникают расхождения, которые проявляются в моменты напряжения и могут быть артикулированы в претензиях к настоящему.

Позже Беньямин в тексте «О понятии истории» формулирует созвучное концепции Блоха обоснование торжества национал-социалистов¹³. По мысли Беньямина, восприятие истории как последовательного движения прогресса вступает в противоречие с нелинейной темпоральностью угнетенного класса, чье прошлое всегда под угрозой уничтожения. Состояние темпорального разрыва, в котором это противоречие становится видимым, Беньямин называет «актуальным настоящим», *Jetztzeit*. В нем же открывается возможность спасти прошлое от забвения: оказать сопротивление настоящему – чем, по мнению Беньямина, не воспользовались социал-демократы в 1933 году.

Подобно концепции «современности несовременного» Блоха, «актуальное настоящее» обнаруживает гетерогенное и многослойное время как подвижную темпоральную констелляцию, открывая возможность разглядеть постоянно возникающие между сопричастующими темпоральностями противоречия. Именно в разрешении этих противоречий освобождается от-

11 Блосн Е. *The Heritage of Our Times*. Cambridge: Polity, 2009. P. 56–80.

12 Сам Блох при этом заимствует это понятие, родившееся в немецкой среде теории искусства в контексте развития немецкого экспрессионизма. Впервые понятие *Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen* было использовано Вильгельмом Пиндером, немецким историком и теоретиком искусства, в книге «Проблема поколения в истории европейского искусства» в 1926 году. См.: SCHWARTZ F.J. *Ernst Bloch and Wilhelm Pinder: Out of Sync* // Grey Room. 2001. Vol. 3. P. 61.

13 Беньямин В. *О понятии истории* // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 81–90.

крытое будущее. Для Беньямина единственно возможным источником таких противоречий является столкновение несовместимых представлений о прошлом: те, кто не соглашается с необходимостью текущего порядка вещей, могут представить прошлое лишь как мимолетный образ, набор невыполненных обещаний или незавершенную борьбу предшествующих поколений за свободу¹⁴. Блох называет такое прошлое «объективно несовременным противоречием» и предлагает отличать его от «субъективно несовременного» – поверхностного представления о проблемах общества. «Субъективно несовременными противоречиями» следует, к примеру, считать «ложные» интерпретации темпоральности, не включающие текущие социокультурные условия в описание настоящего. Блох видит в таких противоречиях опасность, так как они перформативны и способны трансформировать саму структуру времен, замещая актуальные претензии к настоящему. Однако это не приводит к исключению «объективных» напряжений – они становятся менее видимыми, но продолжают присутствовать в «современности несовременного».

Проводимое Блохом и Беньямином различие между современностью и настоящим не позволяет редуцировать текущую историческую темпоральность к «тирании настоящего». Наоборот, они предлагают такие концепции, в которых потенциал к сопротивлению настоящему является неотъемлемым свойством самой структуры времени. Настоящее мыслится как необходимое и безальтернативное исключительно ретроспективно. Если следовать за Блохом и Беньямином, то современность надлежит представлять как фикцию – в последнее десятилетие так делают, к примеру, Питер Осборн¹⁵ или Бербер Бевернаж, призывающий политизировать время, отказаться от идеи полностью «современного настоящего» и заменить ее концепцией «радикальной не-современности»¹⁶.

Контингентное время Эрнста Блоха

Теоретики истории последних десятилетий часто заняты исследованием контингентности. И в работах Блоха они могут найти такую модель контингентной истории, которая позволяет помыслить будущее утопически, что открывает, как кажется, любопытное направление в изучении исторического

14 Теоретическую модель такой нелинейной связи прошлого и настоящего можно найти в: МАРКС К. *Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта*. М.: АСТ, 2021.

15 OSBORNE P. *Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art*. London: Verso, 2013. P. 15–36.

16 БЕВЕРНАЖ Б. *Аллохронизм, равенство во времени и современность. Критика проекта радикальной современности Йоханесса Фабиана и доводы в пользу новой политики времени* // Социология власти. 2016. № 2. С. 174–202.

МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?



времени. Блох еще в ранних работах заимствует у Фридриха Ницше представление об истории как о наборе случайных событий и процессов¹⁷, а затем последовательно выстраивает на основании такого представления собственную теорию спекулятивного материализма¹⁸.

Британский историк и исследователь наследия Блоха Питер Томпсон отмечает, что для Блоха ключевым вопросом является не только осознание, но и принятие контингентного характера истории¹⁹. Понимание того, что действие или событие в настоящем может иметь бесчисленное количество последствий под влиянием множества факторов, по мысли философа, не должно разочаровывать нас. Наоборот, это позволяет помыслить в качестве реального то, что в условиях современности кажется невозможным. Чтобы раскрыть потенциал контингентности времени, Блох критикует существующие философские концепции реальности и предлагает взамен то, что называет «открытой системой»: в ней реальное не ограничивается тем, что возможно наблюдать в настоящем, но включает и потенциально возможное – еще-не-случившееся и даже еще-не-артикулированное реальное.

Концепцию «открытой системы» Блох раскрывает, используя аристотелианское понятие материального, согласно которому в материи скрыто неуправляемое множество возможностей. Блох определяет материю «не только как меру и носитель условий, при которых нечто может быть возможным, но в большей степени как субстрат объективно-реального возможного»²⁰. В таком подходе материальная действительность оказывается не данностью, которой необходимо сопротивляться извне, но началом любого движения в сторону будущего – она содержит в себе диалектический потенциал, который Блох описывает в аристотелевских терминах *kata to dynaton* (по-возможности-сущее) и *dynátei on* (в-возможности-сущее). *Kata to dynaton* описывает материю как границу, предел возможностей: любое действие, как и любая мысль, ограничивается внешними условиями. *Dynátei on* представляет собой такое свойство материи, в котором возможности выходят за установленные ей рамки – это подлинно новые возможности, которые вступают в противоречие с *kata to dynaton* и в случае реализации трансформируют его. Таким образом, для Блоха диалектическое напряжение

17 БЛОХ Е. *The Spirit of Utopia*. Stanford: Stanford University Press, 2009. Подробнее о влиянии Ницше на Блоха см.: ТНОМПСОН Р. *Ernst Bloch, "Ungleichzeitigkeit", and the Philosophy of Being and Time // New German Critique*. 2015. Vol. 42. № 2. P. 49–64.

18 БЛОХ Е. *The Principle of Hope*. Oxford: Basil Blackwell, 1986.

19 ТНОМПСОН Р. *Ernst Bloch, "Ungleichzeitigkeit", and the Philosophy of Being and Time*. P. 53–60.

20 МОИР С. *The Education of Hope: On the Dialectical Potential of Speculative Materialism // ТНОМПСОН Р., ŽIŽEK S. (Eds.). The Privatization of Hope: Ernst Bloch and the Future of Utopia*. Durham: Duke University Press, 2013. P. 121.

появляется уже в границах материального. Материя контингентна, так как в ней содержится потенция стать множеством разнообразных вещей, которая актуализируется в момент темпорального разрыва – *Augenblick*, – когда в-возможности-сущее становится различимым. Материальное одновременно ограничивает и открывает возможности будущего: любое изменение, любой шаг в его сторону уже присутствуют в материальной действительности как потенция.

Блох использует теоретическую модель движения от по-возможности-сущего к в-возможности-сущему, чтобы объяснить устройство исторического процесса. Историю Блох мыслит в качестве диалектического взаимодействия между темпоральными состояниями «не», «еще-не» и «ничто/все». «Не» указывает на недостаток и, следовательно, является источником желания иного (того, что отсутствует в настоящем). «Ничто/все» фиксирует латентное состояние такого желания – оно не отсутствует, но скрыто под другими, поверхностными желаниями, укорененными в настоящем. «Еще-не», одна из центральных блохианских концепций, означает само движение от желания к исполнению – от «не» к «еще-не-бытию». Это движение нелинейно и мыслится Блохом как процесс становления истории, каждый этап которого является результатом разрешений конкретных противоречий между желанием («не») и возможностями в различных частях целого – в пересечениях множественных темпоральностей структуры «современности несовременного». Так как возможности сами по себе тоже находятся в постоянном процессе диалектического движения между *kata to dynaton* и *dynámei on* и потенциально неограниченны, то напряжение между желанием и возможностями всегда является потенциально разрешимым – открытое будущее постоянно присутствует в настоящем в качестве потенциально возможного. Внешние условия – собственно настоящее – в каждый момент времени можно представить как результат «отрицания отрицания» – диалектического взаимодействия между контингентностью и необходимостью²¹.

Предлагая такой спекулятивно-материалистический подход к истории, Блох представляет всю многослойную систему «современности несовременного» чрезвычайно подвижной. В ней постоянно открывается неограниченное количество возможностей сопротивления настоящему. Блох, в отличие от Беньямина, находит такие возможности не только в незавершенном прошлом, но в любых напряжениях темпоральной структуры. При этом он выстраивает достаточно сильную концепцию будущего и наделяет его наибольшим эмансипаторным потенциалом.

21 Данный вывод повторяет комментарий Питера Томпсона к философии утопической надежды Блоха, см.: THOMPSON P. *Religion, Utopia, and the Metaphysics of Contingency* // THOMPSON P., ŽIŽEK S. (Eds.). *Op. cit.* P. 90.

МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?



«Будущее-утопия» Блоха и «Будущее-катастрофа» Беньямина

Блох и Беньямин выстраивают концепции будущего, которое открывается в сопротивлении настоящему. Но если в центре внимания Беньямина оказывается стремление предотвратить катастрофу – искупить незавершенное прошлое, – то Блох концептуализирует а-идеологическую и не-телеологическую утопическую надежду.

Утопическое будущее, которое описывает Блох в работе «Принцип надежды», не может быть артикулировано и являет себя исключительно в «еще-не» – движении в надежде на иное и лучшее состояние. Иное – это всегда отрицание настоящего, данного – «инвариант направления», то есть стремление к свободе, которое может подавляться, но всегда присутствует в историческом сознании²². Любое действие, в том числе и действие в рамках «инварианта направления», производится «вслепую», исключительно как отрицание противоречащей стремлению к свободе действительности. «Вслепую» – поскольку историческое событие сопровождается множеством контингентных факторов, что не позволяет предвидеть результата действия в момент его свершения. Будущее, таким образом, никогда не предстает в сознании в своей законченной форме, оно имманентно – в том смысле, что накладывает отпечаток на все совершенные в прошлом действия. В результате, по мысли Блоха, разрыв между тем, что возможно, и тем, что может стать возможным, заполняется не только памятью о незавершенном прошлом, но и устремленным в будущее воображением, которые сосуществуют во «тьме прожитого момента».

Применяя такую блохианскую оптику к концепции Беньямина, можно было бы утверждать, что отказ вспомнить незавершенное прошлое – когда оно являет себя в момент разрыва и замедления времени – и сделать шаг в сторону его искупления отдаляет нас от будущего, скрывает возможности, которые могли бы в нем открыться, но не исключает их совершенно. Однако Беньямин более категоричен. Он скорее описывает катастрофическое видение будущего: неспособность поймать подлинный образ конкретного прошлого, с которым связана современность, и тем самым «взорвать континуум истории», приводит к неизбежному поражению. Утопическая концепция Блоха наделяет будущее большим эмансипаторным потенциалом: во-первых, он оставляет возможность для непреднамеренного движения в сторону лучшего, подчеркивая контингентную природу времени; во-вторых, упущенные возможности

22 За подробным анализом концепции «инварианта направления» можно снова обратиться к Томпсону (Ibid).

не исчезают, но продолжают существовать в истории, находясь в состоянии латентности, и могут быть актуализированы позже.

Разницу между Блохом и Беньямином в этом контексте можно увидеть в том, какое значение они придают настоящему. Для Беньямина *Jetztzeit* («актуальное настоящее», «время-сейчас») напрямую связано с разрывом временного континуума и необходимостью революционного действия, оно становится центральным понятием его концепции. Блох же использует термин *Zeit* («актуальное настоящее», «теперь») в том же значении²³, однако революционную ставку делает не на него, а на будущее. Настоящее же – это «место» неистребимой надежды, в размышлениях о которой Блох опирается на теологию, комбинируя элементы лурианской каббалы с христианскими мотивами.

На примере этого религиозного «обращения» обоих мыслителей в поисках возможной альтернативы господствующему – прогрессистскому – темпоральному порядку хорошо видны близость и различие их подходов. Действительно, оба опираются на примерно одни и те же теологические источники²⁴, перепрочитывая мессианские тексты иудаизма и христианства («слабая мессианская сила» у Беньямина²⁵ и мессианская манифестация надежды, которая «освещает» настоящее, у Блоха – *Vorscheine*²⁶). Они оба секуляризуют мессианскую надежду, помещая ее в условия современности со всеми ее социокультурными детерминациями и противоречиями.

Однако Блох не находит в каббалистической традиции объяснения того, как надежда может присутствовать в «современном» в промежутках между *Vorscheine*, и заимствует механизмы удержания надежды у христианства. Блох включает божественное («идеалистические вечные истины») внутрь материального (внешних условий существования). Проявления божественного возможно рассмотреть исключительно в материальном: мессианские манифестации у Блоха не открывают возможности для революционного действия, как в *Jetztzeit*, но лишь «подсвечивают» надежду будто из глубины. Если единожды разглядеть надежду в материальном в момент *Augenblick*, то она не исчезнет, но продолжит быть видимой. Примечательно, что Беньямин критикует христологию Блоха именно за отсутствие различения между божественным и человеческим: мессианизм, по его мнению, не может восходить к исторической субъективности²⁷. Однако Блох находит в отсутствии такого

МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?

23 См.: Болдырев И. *Время утопии: проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха*. М.: Высшая школа экономики, 2012. С. 198.

24 Беньямин также испытал влияние лурианской каббалистической доктрины *Tikkun*: Lówy M., Turner C. *Fire Alarm: Reading Walter Benjamin's "On the Concept of History"*. London: Verso, 2016. P. 67.

25 Там же. С. 81.

26 Thompson P. *Religion, Utopia, and the Metaphysics of Contingency*. P. 90.

27 Болдырев И. *Указ. соч.* С. 198.



МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?

разделения источник надежды, благодаря которому она постоянно присутствует в историческом сознании – в латентном или активном состоянии.

В обеих концепциях будущее открывается в моменты озарения, оно перформативно и являет само себя. Однако у Блоха революционное действие²⁸ открывает возможности для множественных будущих, а надежда и в случае неудачи сопротивления не исчезает, но продолжает существовать как потенция и как «инвариант направления». Томпсон называет это блохианской метафизикой контингентности, в которой наслаивание случайных событий порождает все больше возможностей²⁹. Сама утопия приобретает в данном случае процессуальный характер – Блох называет ее конкретной, используя гегелевское понимание конкретности, что значит, в процессе становления она являет собой большее, чем та сумма событий, которые ретроспективно являются ее частями³⁰.

ЭМАНСИПАТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

Если последовать за Блохом и Беньямином, то можно говорить о несостоятельности попыток Артога или Гумбрехта редуцировать состояние времени к «тирании настоящего». Невнимание последних к концепции гетерогенного «актуального настоящего» Беньямина фактически приводит их к представлению доминирующего настоящего в качестве гомогенного – бесшовного³¹, поглощающего и прошлое и будущее. Включение концепций Блоха и Беньямина в дискурс о современном режиме историчности видится необходимым, так как обе открывают возможность помыслить будущее в сопротивлении настоящему. При этом чрезвычайно чуткая к контингентной природе времени теория утопической надежды Блоха представляется более перспективным направлением – она открывает историческое время для большего количества форм воплощения действия, множественных будущих.

Сегодня настоящее может мыслиться как непреодолимое не только вследствие того, что Блох называет объективными внешними условиями, но и в результате усилий Артога и его последователей. Представляя настоящее безальтернативным,

28 Блох видит чрезвычайную ценность в действии как таковом – именно в нем воплощается утопическое мышление. В конце «Принципа надежды» он пишет: «Корень истории – это работающий, созидающий человек, который изменяет и пересматривает данность. Как только он осознает себя и установит то, что принадлежит ему, без экспроприации и отчуждения, в настоящей демократии, в мире возникает нечто, [...] где еще никто не был: *Heimat*» (BLOCH E. *The Principle of Hope*. P. 1376).

29 ТНОМПСОН P. *Ernst Bloch, "Ungleichzeitigkeit", and the Philosophy of Being and Time*. P. 50.

30 ИДЕМ. *Religion, Utopia, and the Metaphysics of Contingency*. P. 83.

31 АРТОГ F. *Op. cit.* P. 200.

критики презентизма вносят свой вклад в его «расширение». Возвращение блохианской надежды в теорию истории способно поместить открытое будущее в центр размышлений о времени, наделить его эмансипаторным потенциалом. При этом современный режим историчности оказывается достаточно гибким для того, чтобы попробовать применить оптику, предложенную Блохом: он, в отличие от модерного, строится на восприятии времени как нелинейного и обратимого, терпимого к анахронизмам и сдвигам. Вопреки выводам Артога память не обязательно замещает собой прошлое. Она может напоминать нам о существовании «других историй», активизируя их в какой-то контингентный момент.

Блохианская концепция надежды предлагает подход к разрешению «кризиса будущего» без обращения к большим утопическим проектам или долгосрочным планам. Она лишь открывает возможность предвосхитить будущее через утопическое движение. Нарративы, включающие угрозу и риск в описание будущего, не обязательно приводят к усилению и расширению настоящего. У Блоха они скорее указывают на «не» – на то, от какого будущего нужно отказаться. Спекулятивный материализм Блоха предполагает конкретные возможности для совершения минимально возможного шага в сторону от того, что несут с собой угрозы. Именно поэтому блохианская идея «будущего-утопии» видится чрезвычайно продуктивной для области политических и общественных практик. В условиях, когда возникает запрос на идеологии, Блох предлагает посмотреть в радикально другую сторону и отказаться от идеологизации истории, обратившись взамен к конкретным (в гегелевском смысле) практикам отрицания настоящего.

Вопреки выводам Артога память не обязательно замещает собой прошлое. Она может напоминать нам о существовании «других историй», активизируя их в какой-то контингентный момент.

Политическое воплощение эмансипаторного потенциала будущего – мало исследованное на сегодняшний день поле. Среди редких примеров обращения к этой проблеме стоит выделить уже цитировавшийся выше сборник «Приватизация надежды», вышедший под редакцией Питера Томпсона и Славоя Жижека в 2013 году. Конкретные механизмы утопического воображения в нем иллюстрируются примерами новых рабочих движений, деятельности сетей и открытых сообществ³², а также при-

32 VIDAL F., SCHRÖTER W. *Can We Hope to Walk Tall in a Computerized World of Work?* // THOMPSON P., ŽIŽEK S. (Eds.). *Op. cit.* P. 297.

МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?



МАРИЯ КАСАЙ

ЕСТЬ ЛИ МЕСТО ДЛЯ
БУДУЩЕГО В СОВРЕМЕННОМ
РЕЖИМЕ ИСТОРИЧНОСТИ?

мерами современных практик «ресистематизации городского социального пространства»³³. Вклад в развитие блохианской традиции вносит уже упоминавшийся в этой статье Жером Баше – анархистский теоретик и активный участник сапатистского движения в мексиканском штате Чьяпас. Баше выстраивает собственную концепцию множественных «конкретных утопий»³⁴, вдохновленную принципами организации сапатистского автономного самоуправления. Он заимствует процессуальную модель утопии Блоха, чтобы обосновать возможность существования некапиталистического будущего через необходимость активного и непрекращающегося сопротивления настоящему.

Примеры конкретных утопических практик сопротивления настоящему могут быть пока немногочисленны или иметь ограниченный успех на своем пути. Однако они показывают, что открытое будущее возможно не только помыслить, но и приблизить. И обратиться сегодня к Блоху и Беньямину – значит выбрать такое направление в теории истории, которое в силу чувствительности к неустойчивой и контингентной структуре времени противостоит идее о невозможности будущего в «современном режиме историчности». Вслед за Блохом можно рассматривать историю как конкретный процесс, в ходе которого постоянно возникают и переутверждаются возможности сопротивления уже сложившемуся порядку вещей. Блох предлагает радикальный отказ от материальных, социокультурных условий настоящего через непрекращающееся диалектическое движение.

33 ZIMMERMANN R.E. *Transforming Utopian into Metopian Systems: Bloch's Principle of Hope Revisited* // THOMPSON P., ŽIŽEK S. (Eds.). *Op. cit.* P. 257.

34 См.: BASCHET J. *Op. cit.* P. 197–200.

АЛЕКСЕЙ
ЛЕВИНСОН

Расскажем меньшинству о большинстве



Когда в конце 2023 года «Левада-центр»¹ спросил россиян, одобряют ли они в целом деятельность Владимира Путина на посту президента, 85% ответили утвердительно. Весь год ответы на этот вопрос были около 80%, а уровень в 85% был достигнут впервые за долгое время. Стоит вспомнить, что именно такой уровень одобрения россияне продемонстрировали в июле 2014 года, вскоре после присоединения Крыма. Этот показатель далее рос, ему случалось доходить до рекордных 88% в октябре 2014-го и даже до 89% в 2015-м. Уровень 85% держался до конца 2016 года и в последний раз был зафиксирован в январе 2017-го. Потом он пошел в обратную сторону и осенью

1 АНО «Левада-центр» внесена Министерством юстиции Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. – *Примеч. ред.*



**СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЛИРИКА**

2021-го был вблизи рекордно низкого значения (61%). Но, лишь только прозвучал клич про СВО, рейтинг опять вышел на уровень 80% и держался там все последующее время (кроме месяцев мобилизации).

И вот он снова на отметке 85%. Предстоит ли ему расти дальше? Не исключено. Но это будущее. Оглянемся пока на прошлое. Опросы дают возможность сравнить некоторые параметры состояния общества тогда, в начале «крымского периода», и теперь. Ведь с Крыма начиналась эпоха, весь драматизм которой раскрывается именно сейчас. Возьмем несколько вопросов, касающихся изменений в разных сферах жизни, и посмотрим, как на них отвечали в конце этого года и в конце 2014-го.

Вот вопрос о политике: «Каким образом, на ваш взгляд, изменилось в течение 2014/2023 года положение дел в области отношения со странами Запада и с НАТО?». В 2014-м считали, что «положение изменилось к лучшему», 6% опрошенных, в 2023-м – 3%. Одинаковая доля респондентов, 72%, и в 2014-м, и в 2023-м полагали, что «положение изменилось к худшему». И 15% в 2014-м против 13% в 2023-м ответили, что «положение не изменилось». Как видим, динамики практически нет: и тогда, и теперь респонденты вполне отдают себе отчет в том, что предпринятые руководством страны действия ухудшили отношения России с ее важнейшими историческими партнерами – странами Запада.

В исследовании, проведенном в конце ноября 2023 года, был еще один вопрос на эту тему, не имевший «двойника» в 2014-м: «Каким образом, на ваш взгляд, изменилось в течение 2023 года положение дел в области положения России на международной арене?». Считают, что «положение изменилось к лучше-

му», 31%, что ситуация ухудшилась – 34% и что «положение не изменилось» – 22%. То есть, по мнению респондентов, резкое ухудшение отношений с Западом еще не означает тотального ухудшения положения России на международной арене. Можно предположить, что рассказы в СМИ о том, что Китай и Индия, Африка и Латинская Америка с нами, создают у почти четверти россиян ощущение, что ничего особенного в этой области не произошло, а у почти трети россиян даже чувство, что все это к лучшему.

Такая оценка россиянами международного положения страны поможет понять их отношение к внутренним проблемам. Самый частый ответ тут – ничего не изменилось: общественное мнение инертно. Динамику же настроений издавна анализируют по соотношению ответов, даваемых меньшинствами – оптимистами и пессимистами – о переменах соответственно к лучшему и к худшему. Многолетний опыт показывает, что обычно пессимистических ответов больше, чем оптимистических. Однако между 2014 и 2023 годом динамика соотношения этих ответов была обратной – оптимизм начал усиливаться.

Так, в 2014 году на вопрос о переменах в области «справедливости распределения материальных благ» ответов об ухудшении было в девять с лишним раз больше, чем об улучшении. А в 2023-м их было больше только в два раза. В вопросе об «уровне жизни основной части населения России» примерно так же падает преобладание пессимизма – с восьмикратного превышения до двукратного. В вопросе о «возможности хорошо зарабатывать» – с шестикратного до полуторакратного.

Не сильно изменился уровень скепсиса по поводу «отношений между людьми разных национальностей» (пессимисти-

ческие ответы в 2014 году доминировали пятикратно, в 2023-м – троекратно). «Возможность свободно высказывать свое мнение» оценивается примерно одинаково тогда и сейчас: скептиков по этому вопросу примерно в полтора раза больше, чем оптимистов. Динамику в работе СМИ чаще оценивали позитивно и в 2014-м; еще больше оптимизма теперь.

Прямой переход от пессимизма к оптимизму виден всего в одном случае, но случай этот особый: в работе полиции и «других правоохранительных органов» в 2014 году чаще видели отрицательную динамику, а в 2023-м стали видеть положительную. (Повторим: основная часть ответов говорит о том, что ничего не изменилось. Перемена тренда заметна лишь среди наблюдающих изменения.)

В крымский 2014 год страна только входила в режим изоляции и санкций. А в 2023-м у публики за спиной был уже и этот опыт, и опыт почти двух лет жизни с СВО. Массовая психологическая реакция – а рассматриваемые вопросы замеряют прежде всего именно ее – предстала в виде психологической адаптации. Материальные трудности, как выяснилось, переживаются не очень остро, общественные проблемы вроде неравенства – тоже. А оценка работы СМИ, управляющих именно этими настроениями, вообще в плюсе. Их работа и впрямь стала более искусной – в частности, в прославлении различных правоохранительных органов, – и это дает свой результат.

В опросе, проведенном в конце ноября 2023 года, затрагивалась не только ретроспектива, но и перспектива. Что нас ждет и как мы к этому относимся?

Для начальства самым драматическим являлся, конечно, вопрос о предстоящих президентских выборах. Знают ли люди о них? Знают, что они состоятся в 2024 году (а некоторые знают точнее,

что в марте) более половины пенсионеров, но менее трети домохозяек. Затрудняются ответить на этот вопрос почти 60% среди людей моложе 25 лет, и более половины из них не уверены, что будут голосовать. А около 15% уже сейчас уверены, что не будут.

Людям в ходе опроса предложили список, в котором было имя действующего президента и несколько других имен – более или менее известных политиков. Готовность голосовать за Путина выразили почти 70%. Все остальные политики вместе вызвали интерес у неполных 15% опрошенных. При этом более четверти респондентов выразили мнение, что выборы будут нечестными (такое отношение к выборам сложилось уже давно): то есть в марте к результатам голосования многие, вероятно, отнесутся критически.

Тем не менее в обществе есть определенная установка, которая демонстрирует его позицию уже сейчас, до голосования. На вопрос: «В целом вы хотели или не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока, после 2024 года?» – 78% ответили, что «хотели бы», среди руководящих работников такой ответ дали 86%. Среди тех, кто и сейчас одобряет его деятельность и находит курс страны верным, «хотели бы» более 90%.

Вот его народный мандат. На что этот мандат дает разрешение? Начиная СВО, президент не спрашивал у публики согласия. Но он его получил, свидетельством чего стал рейтинг, немедленно поднявшийся до 80%.

На драматический вопрос «Хотят ли русские войны?» сейчас можно с одинаковыми основаниями ответить и «да», и «нет». Поддержка действий вооруженных сил России в Украине держится на уровне почти 75% – это



можно интерпретировать как ответ «да». Однако почти 60% опрошенных выступают за «переход от военных действий к мирным переговорам», и, по данным опроса в октябре 2023 года, 70% поддержали бы Владимира Путина, если бы он объявил о немедленном прекращении боевых действий. Это можно считать ответом «нет». Но прекращения военных действий они хотят на условиях, которые сегодня неприемлемы для украинской стороны. На приемлемые для нее условия (возвращение присоединенных областей) согласна лишь треть россиян. А вдвое больше заявляют, что в таком

случае Путина не поддержат. То есть мандата на мир при условии возвращения земель у него нет.

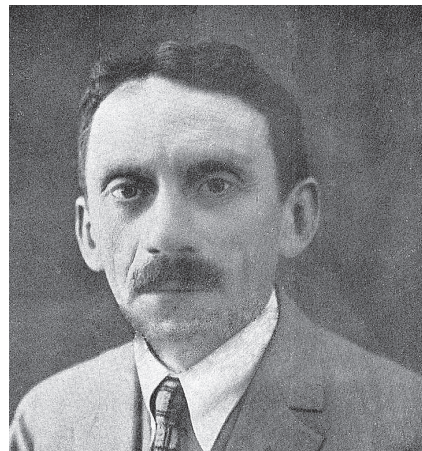
Мандат же на продолжение боевых действий у Путина, кажется, есть, и по крайней мере пока – не ограниченный по срокам: 46% уверены, что СВО продлится еще более года, и такая перспектива их не пугает. 57% россиян говорят, что смотрят в собственное будущее, да и в будущее России, «скорее спокойно, с уверенностью». Наши же читатели, вероятно, найдут себя среди 40%, которые смотрят в будущее «скорее с беспокойством и опасениями».

Мое путешествие по России¹

ХЕРШ
НОМБЕРГ

Херш Довид Номберг родился в городе Мщонуве, недалеко от Варшавы. Вырос в состоятельной хасидской семье, получил традиционное религиозное образование, самостоятельно выучив русский, польский и немецкий языки. В 1897 году Номберг, оставив жену с маленьким сыном в родном городе, переехал в Варшаву – центр культурной жизни польского еврейства. Там он увлекся писательством и присоединился к литературному кружку Иццока Лейбуша Переца, одного из классиков литературы на идиш.

В начале своей писательской карьеры Номберг писал на иврите (его первый сборник вышел в 1905 году), но под влиянием Переца, авторитет которого в литературных кругах Варшавы того времени был очень высок, начал писать на идиш. В 1905–1907 годах Номберг много путешествовал, некоторое время жил в Риге и Вильно, где работал в различных газетах и журналах, выходивших на идиш. После возвращения в Варшаву в 1908-м он выпустил несколько сборников рассказов с вариациями одного и того же сюжета о «лишних людях», склонных к бесконечному самоанализу, неспособных к действию. В своих произведениях, наиболее известное из которых – рассказ «Флигельман», Номберг отразил душевный разлад и смя-



Херш Довид Номберг (1876–1927) – польско-еврейский писатель и публицист.

1 Перевод публикуемых отрывков выполнен по изданию: NOMBERG H.D. *Mayn rayze iber Rusland*. Warshe: Kultur-Liga, 1928. Z. 5–9; 15–24; 56–64; 72–79.

АРХИВ «НЗ»

тение молодого еврея, потерявшего веру. Номберг одним из первых внес в литературу на идиш мотивы одиночества, страха смерти и боязни пустоты.

После 1910 года Номберг почти полностью прекратил чисто литературную деятельность, переключившись на политику и публицистику. В 1916-м он стал одним из основателей Фолкс-партей², а в 1919–1920 годах был депутатом сейма от этой партии. Номберг был одним из активных сторонников идишизма³. Он принял участие в Черновицкой конференции⁴, в ходе которой им была составлена резолюция о признании идиш одним из национальных еврейских языков; этот документ способствовал установлению компромисса между идишистами и гебраистами.

В качестве журналиста газеты «Дер момент» («Момент»), одного из самых тиражных изданий на идиш того времени, Номберг ездил в палестинские земли, Аргентину, США и публиковал свои заметки об этих путешествиях. В 1926 году он отправился в поездку по Советскому Союзу, после чего была написана книга «Мое путешествие по России». Отрывки из нее и предлагаются далее.

В 1920–1930-х молодое советское государство интересовало многих писателей и общественных деятелей: достаточно вспомнить путевые заметки Лиона Фейхтвангера⁵, Герберта Уэллса⁶, Вальтера Беньямина⁷, Андре Жида⁸ и других. Но ключевое различие между их поездками в СССР и поездкой Номберга заключалось в том, что почти всех упомянутых выше писателей сопровождали советские представители, определявшие их программу, что (и кого) они увидят. То, что они впоследствии напишут в своих произведениях, было вопросом престижа Советского Союза за рубежом. Попадание случайных людей

- 2** Фолкспартей – название ряда еврейских политических партий в Восточной Европе, основанных на идеологии автономизма; существовали с 1906-го по 1939 год. Основателем и идеологом Фолкспартей в Российской империи был историк Шимон Дубнов, идеи которого подразумевали создание еврейской светской общинной организации, управляющейся на демократической основе, которая должна была стать основой еврейского национального существования в условиях автономии.
- 3** Идишизм – культурное и языковое движение за признание особого статуса языка идиш, зародившееся среди евреев в Восточной Европе во второй половине XIX века. Концепция идишизма основывалась на представлении о том, что следует сохранить и развивать национальную жизнь еврейства посредством создания современной культуры на идиш. Идишизм стал одной из важнейших альтернатив другой еврейской национальной идеологии – сионизма, который признавал в качестве единственного языка национальной культуры иврит.
- 4** Черновицкая конференция (1908) – первая международная непартийная конференция, посвященная статусу языка идиш в жизни еврейского народа. На конференции обсуждалось признание идиш национальным языком еврейского народа – а также вопросы идиш как литературного языка и развития на нем словесности, театра, прессы, создания словаря идиш и так далее.
- 5** ФЕЙХТВАНГЕР Л. *Москва, 1937*. М.: Гослитиздат, 1937.
- 6** Уэллс Г. *Россия во мгле*. М.: Прогресс, 1970.
- 7** Беньямин В. *Московский дневник*. М.: Ад Маргинем, 2012.
- 8** Жид А. *Возвращение из СССР // Жид А., Фейхтвангер Л. Два взгляда из-за рубежа. Возвращение из СССР. Москва 1937*. М.: Политиздат, 1990.

и случайных локаций было маловероятно, план поездки был продуман до мелочей, чтобы показать писателям страну с самой лучшей стороны. Номберг, конечно, не избежал общения с советскими властями (в то время контроль над интуристами был обязательным), однако он, как журналист еврейской газеты, не имеющий мирового имени, был по большей части свободен от присмотра свыше. Писатель, знавший русский язык, сам определял свой маршрут и имел возможность общаться с обычными людьми на улицах.

Важную роль в «Моем путешествии по России» занимает еврейская тема. Номберг – еврей, писавший для евреев на еврейском языке. Его интересует, какое положение евреи занимают в новом советском обществе, с какими проблемами они сталкиваются. Хотя Номберг не был социалистом, он во многом симпатизировал советскому строю, в частности, за то, что большевики объявили борьбу государственному антисемитизму в царской России. Внимание Номберга привлекает поддерживаемая в те годы государством культура на идиш: он ходит в еврейские театры, встречается с общественными деятелями. Однако к деятельности Евсекции⁹ он относился скептически.

Эта книга представляет интерес не только для тех, кто интересуется еврейской проблематикой. «Мое путешествие по России» – живой, непосредственный источник о ранних годах существования СССР, о повседневной жизни его граждан. Номберг – человек из другого мира, приехавший из Польши, с которой СССР не так давно до описываемых событий вел войну, – стремился впитать как можно больше впечатлений.

География поездки Номберга такова: он подробно описывает прохождение советско-польской границы и Белоруссию, на несколько дней задерживается в Москве и после едет в Украину смотреть крупные города и еврейские земледельческие колонии, создание которых он горячо поддерживал. Публикуемые главы – «Вместо предисловия», «На границе», «Мое прибытие в Москву» и «Как чувствует себя нэпман» – являются отрывками из разных частей книги.

Вскоре после возвращения из Советского Союза Номберг скончался в возрасте 51 года, на его похороны пришли десятки тысяч человек. Могила писателя расположена рядом с могилой его учителя, Ицхока-Лейбуша Переца, на еврейском кладбище в Варшаве. **[Ася Лейдерман]**

9 Евсекция – название еврейских коммунистических секций ВКП(б), созданных в советское время наряду с другими национальными секциями. Главной задачей этих национальных секций являлось распространение коммунистической идеологии и атеизма в среде национальных меньшинств (на их родном языке) и вовлечение в строительство социалистического общества. Одной из специфических целей Евсекции являлась борьба с Бундом и другими еврейскими социалистическими партиями, а также с сионизмом.



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я буду описывать все по порядку, в хронологической последовательности, как я это видел и слышал. Получается, я веду дневник.

Я занимаюсь этим впервые в жизни. Я никогда не вел дневника раньше, и мне не нравилось, когда это делали другие, ибо не все дни одинаково интересны. Бывает, что человек просто привыкает записывать что-то каждый день, и тогда всякие глупости и мелочи становятся важными событиями.

Вести дневник – дурной тон: отдает безвкусицей.

И я хочу стать таким – безвкусным! Долой эстетику!

Я еду в Россию «исполнять свой долг». Не потому, что мне скучно живется на этом свете и я ищу впечатлений. Для этого существуют более теплые места, с удобствами получше, отелями поприличнее и нравами (несомненно, буржуазными!) по благороднее. Я еду смотреть. Думаю, мне придется немало помучиться – но разве я недостаточно нагрешил, чтобы заработать такое испытание? Думаю, в тех краях никто не протянет мне навстречу дружеской руки. Там и своих-то отчитывали, словно провинившихся детей; а что уж говорить про меня, чужака?

Но все же Россия! Россия! Бог свидетель, я тебя увижу, я тебя пойму.

Да, это страна стоит нараспашку, распростершись вширь и вдаль, и она полна тайн. Россия стала такой не за то короткое время, что прошло с революции, но задолго до этого. Она всегда казалась мне такой; таков был дух ее жителей, запечатленный в восхитительной литературе, в которой небо и земля, реализм и мистицизм, смешались в единое целое. Обратите внимание, когда русский писатель описывает, как мычит корова, пока ее ведут ночью в стойло, создается впечатление, что в этой корове сокрыта великая тайна мироздания, загадка жизни и смерти.

О современной России, Советском Союзе, мы знаем все и ничего. У нее есть друзья и враги, горячие сторонники и убежденные противники. Все, что можно прочесть о России, отдает агитацией. Но моя проклятая натура назло противится тому, за что меня агитируют. Все злые антибольшевистские статьи лишь убеждали меня в правоте большевиков; все статьи, которые агитировали за большевиков, резко отвращали меня от них...

По этой причине мы не будем агитировать ни за ни против. «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Если меня спросят начистоту, поддерживаю ли я Советский Союз, то я не знаю, что и ответить. Я жажду посмотреть.

Я позволю событиям проплывать перед моими глазами, словно в кино. Полагаю, что в стране, которая пережила такие перемены, такие потрясения, в стране, которая замахнулась на мировой порядок, *все*, вплоть до малейшей детали, должно быть интересно.

ХЕРШ НОМБЕРГ
МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РОССИИ

О современной России, Советском Союзе, мы знаем все и ничего. У нее есть друзья и враги, горячие сторонники и убежденные противники. Все, что можно прочесть о России, отдает агитацией.

Не уверен, что все в этой книге будет достойным внимания, тогда придется прекратить формат дневника. Но в таком случае это будет моя вина, а не вина России.

НА ГРАНИЦЕ

Был уже поздний вечер, часов одиннадцать, когда мы вылезли из поезда на станции «Негорелое»¹⁰. Мы переступили порог новой страны, нового государства. Мы пересекли границу.

Железная стена вокруг советской России похожа на Великую китайскую стену, окружавшую далекую и бескрайнюю страну рисовых полей, императоров и мандаринов. И хотя стену вокруг Советского Союза нельзя увидеть или потрогать, она ощущается гораздо отчетливей, чем если бы была построена из камня. Хотя сейчас Россия и не в блокаде, фактически она отделена от остального мира. Отчасти по собственному желанию: впускают в Россию с трудом, получить въездную визу – дело не из простых, да и выпускают тоже неохотно. К тому же соседние государства стараются свести транспортное сообщение с Россией к минимуму. Страна находится в изоляции.

Контрабанда – идеи и суждения – провозится из других стран в головах. Пограничники не могут с этим ничего сделать. Так что лучше, чтобы как можно меньше голов проникало из одной страны в другую.

Как только вы пересекаете границы, то сразу чувствуете себя не просто в другой стране, но в другом мире. Сердце говорит вам, что здесь все по-другому и смотреть на это придется под иным углом – совсем иным.

10 Граница между Польшей и Советской Россией, проходившая недалеко от станции «Негорелое», была установлена 1 апреля 1921 года и действовала до 1939-го. В мае 1929-го в «Негорелом» состоялась встреча Янки Купалы и Максима Горького. Станция была нанесена на все географические карты, очень часто упоминалась в печати. Отсюда начиналось путешествие в страны Европы – и из Европы в СССР. В то время ходили поезда «Негорелое – Владивосток» и «Париж – Негорелое». На станции действовал валютный универмаг Торгсина.



Но так ли уж все по-другому? Действительно ли революция и диктатура перевернули жизнь с ног на голову? Правда ли у людей изменился ход мыслей, привычки, восприятие жизни или же новый порядок установился лишь поверхностно, навязывая свою волю и таща за собой людей против их желания?

Но не будем забегать вперед. Эти и другие вопросы волнуют меня и, возможно, миллионы других людей, которые хотят знать, как здесь идут дела и как далеко они зайдут.

Тем временем стоит осенняя ночь, наполненная дрожью и мокрым ветром. Станция едва освещается. Мы перелезаем через рельсы (не самое удобное занятие) и входим в сколоченное из деревянных досок здание, которое скорее напоминает барак. Вокруг все сырое, временное, беззащитное: голые неотесанные доски с единственным украшением – портретами Ленина, Сталина, Рыкова и остальных (портретов Троцкого и Зиновьева я не заметил; они теперь в «оппозиции»¹¹ и потому преданы анафеме). Портреты, отпечатанные черной краской на обычной белой бумаге, местами закоптились. Нынешние правители России – простые, бедные люди, и портреты им под стать, не то что у прошлого царя... Носильщики вносят нашу поклажу, и мы выстраиваемся по кругу. В центре стоят служащие, которые должны досмотреть наши вещи и пропустить нас дальше. Здесь как минимум человек 12–15, служащих почти столько же, сколько и пассажиров. Большинство из них в гражданском, без «формы», кожаной куртки, ботинок и фуражки. Среди них девушка еврейской наружности. В глаза бросается револьвер, висящий у нее на боку. Мужчины носят его где-то в кармане, ее же «собачка» (таким словом величали здесь револьвер) выставлена, как на параде. Люди здесь ходят с оружием. На границе все же весьма опасно, и по эту и по ту ее сторону, в Столбцах, происходят нападения «диверсионных банд». Творятся страшные вещи. Дерутся тут, дерутся там! В последнее время спокойно. Внезапные нападения с убийствами и грабежами, случавшиеся ранее, сейчас прекратились и на русской, и на польской стороне. Но обе стороны находятся в постоянной боевой готовности. Девушке с револьвером, вероятно, поручено проводить полный досмотр женщин, когда нужно полностью раздеться и дать обыскать себя с головы до пят. Но пока что она выполняет привычные обязанности пограничницы, роется в вещах пассажиров, медленно, не спеша, потому что обыск – здесь дело серьезное.

Кто она и откуда? Кажется, она не из рабочих. Слишком уж аккуратные у нее руки. «Белоручка», – как говорят по-русски. Из-под напускной строгости проглядывает «барышня». Веро-

11 Здесь и далее написанное в кавычках представляет собой транскрипцию русских слов. – *Примеч. ред.*

ятно, она член партии и имеет, боюсь предположить, буржуазное происхождение.

Мне довелось иметь дело с ней. Это произошло после того, как трое пограничников посылали меня от одного к другому. И после того, как товарищ Захар Осипович осмотрел мой багаж и сравнил со списком, который находился в его старческих руках, дрожащих от слабости.

Этот самый Захар Осипович причудливо запечатлелся в моей памяти вместе с темной ночью и переходом границы. Человек в возрасте, с острой седой загнутой бороденкой, с перекошенными плечами, в очках, он походил на человека из совсем другого мира. Все пограничники добродушно его подбадривали, указывая, что ему нужно делать, а делать ему было, судя по всему, нечего. У Захара Осиповича был широкий морщинистый лоб, который когда-то, должно быть, занимали важные вопросы. Я думаю, что и сейчас он лучше смотрелся бы за толкованием сложного отрывка «Капитала» Карла Маркса, чем здесь, в бараке, посреди ночи. В любом случае сейчас ему было бы лучше где-то передохнуть. Уже давно за полночь, и он выглядит разбитым.

– Захар Осипович, пожалуйста... – зовут его, и он нехотя идет, окидывая вас взглядом человека, мысли которого блуждают где-то на страницах глубокомысленной книги, а не находят-ся здесь с вами. Любитель почитать, он выглядит так, будто он живет в нужде и его вызвали сюда, чтобы дать подзаработать.

Сперва мне показалось, что бюрократическая машина работает плохо, слишком много в ней заржавелых винтиков. Захар Осипович мог бы идти спать, он был ненужным элементом.

Но совершенно иное впечатление производит товарищ Палин – единственный из всех в полном воинском обмундировании, в форме и с кортиком на боку. Мужчина в расцвете сил, с глазами, полными жизни и энергии. Он ходит туда-сюда, наблюдая за всеми. Видимо, он политический надзиратель станции. Досмотр, как я уже сказал, здесь серьезный. Книжки, которые вы везете с собой, как и любой другой печатный листок бумаги, откладываются в сторону. В конце они поступают на проверку человеку с кортиком – товарищу Палину. Моя книжная полка оказалась совсем небольшой, две-три книги, среди которых была немецкая книжка по экономике. Товарищ Палин открыл ее, и я почувствовал, что вырос в его глазах. На оставшиеся две книги он смотреть не стал и вернул их обратно пограничнику.

Хотите знать, чем я снискал благосклонность в его глазах?

А вот чем: в России интеллект человека определяется тем, насколько он разбирается в вопросах экономики. Это первое, самое значимое и единственное объяснение, которое можно



привести. Чем дольше я был в Советском Союзе, тем больше в этом убеждался. Люди здесь блистательно ориентируются в запутанных экономических вопросах – финансовая политика, торговый и платежный баланс, цены на промышленные и сельскохозяйственные товары и так далее... Человек с малейшей претензией на образованность прекрасно разбирается во всех подобных темах. Изучение экономики начинается в первом классе народной (трудовой) школы и продолжается во всех партийных школах и подразделениях. Должен сказать, что образование в области экономики, несмотря на свою однобокость, здесь весьма основательное и оно не настолько заангажировано, как известия о политической, культурной и общественной жизни за границей, которые доносит народу через газеты агитационная машина. Народ получает искаженную картину того, что происходит за рубежом; Россия видит остальной мир через кривое зеркало.

Благосклонность, которую я снискал в глазах товарища Палина, связанная с тем, что он увидел во мне образованного человека, читающего труды по экономике в оригинале, передалась и девушке с револьвером, в чьем ведении я находился. Теперь досмотр моих вещей продвигался куда быстрее. Мне даже вернули фотоаппарат, который изъяли вначале. Она смягчилась по отношению ко мне, и – готов поклясться – на ее лице промелькнула простая человеческая улыбка.

– Вы, товарищ, который раз в командировке? – спрашивает она меня. Она подумала, что я советский служащий, которого послали в командировку.

– Прошу прощения, я... гражданин Польши.

– Ах, вот как...

На этот раз она снова улыбнулась, но ее улыбка была уже совсем другого рода.

«Так значит, вы из тех, из панов» как бы говорила эта улыбка.

Польшу в Советском Союзе более чем не любят. Бог знает, кто виноват в том, что разгорелась эта вражда. Даже Англия, с которой Советская Россия находится в открытом затяжном конфликте, правительство которой является общепризнанным врагом советского государства – даже Англия не идет ни в какое сравнение с Польшей в этом вопросе.

Таким образом, пограничная система досмотра работала без остановки часа полтора, все были чем-то заняты, и все были очень строги, хотя и вежливы. Явно чувствовалось, что здесь не хватает умелой руки деятельного организатора. Два–три немца или американца, думаю, смогли бы обеспечить такую же тщательную работу намного быстрее, чем эта громоздкая система.

Ибо каждый здесь не просто исполняет свои рабочие обязанности – он строит Россию, строит социализм. Это очень

характерная черта. Каждый, кто кладет кирпичик, думает о здании целиком. Это очень благородно и с эстетической точки зрения даже красиво, но совсем не практично. У того, кто укладывает кирпичи, должна быть только одна задача: сделать это как можно аккуратнее и точнее. Все остальное – забота архитектора.

ХЕРШ НОМБЕРГ
МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РОССИИ

Каждый здесь не просто исполняет свои рабочие обязанности – он строит Россию, строит социализм. Каждый, кто кладет кирпичик, думает о здании целиком. Это очень благородно и с эстетической точки зрения даже красиво, но совсем не практично.

В целом бюрократия в Советском Союзе представляет собой определенную проблему, и «оппозиция» выдвинула борьбу с ней в качестве лозунга.

Я совсем замерз и перепрыгивал с ноги на ногу. Вошел один из носильщиков и крикнул своим чистым и торжественным голосом:

– Товарищи! Багажный вагон готов, давайте грузить!

Мне вспомнился старый русский «носильщик», который ходил перед пассажиром-барином на полусогнутых, и я сравнил его с нынешним свободным советским человеком. Свободный человек?.. Есть в этих словах немного преувеличения и немного преуменьшения. Потому что пролетарий, будь то носильщик или рабочий на фабрике, (как здесь принято говорить) – хозяин на своей земле, обладающий властью, он привилегированный.

– Товарищи, давайте грузить!.. – это прозвучало так, будто он занимается не обычной работой, погрузкой вещей буржуев, но строительством России, строительством социализма.

Однако было слишком много людей, хватило бы и трети.

Хозяин земли, должен я вам сказать, вполне неплохо зарабатывал на переноске вещей, получая за это чаевые (которые он даже требовал!), хоть это и не было разрешено. Хозяева земли очень даже любили, когда им оставляли на чай. Но их выправка, язык и обхождение оставляли желать лучшего.

Человек из народа совершил огромный прыжок вперед.

Каждый человек, который попадался мне на глаза, невольно наводил меня на размышления: доволен ли он новой властью или, наоборот, скучает по старым временам? Выиграл ли он что-то или же проиграл? Режим управляет им или он сам и есть режим? Для меня это не вопросы политического характера, смысл которых в том, чтобы оценить перспективы социальной революции, а вопросы психологические, чисто человеческие.



Мне безумно любопытно. Но мое любопытство мало чем может помочь. Люди здесь, кажется, говорят не то, что чувствуют. А возможно, они и вовсе перестали чувствовать, то есть чувства больше не играют для них никакой роли и только дела, поступки, конкретные действия имеют какое-то значение.

Но, пока я слушал победоносный крик носильщика «Багажный вагон готов, товарищи, пойдёте грузить!», мне казалось, что человек еще не потерян.

Потому что – а что ему было терять?

МОЕ ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ

Серым осенним днем, в три часа дня я прибыл в Москву: серый вокзал, серые люди. Не такой я представлял тебя в своих фантазиях, Москва!

В нашем воображении создается особый образ людей и городов, которых мы не видели вживую, но о которых много слышали. Москву, где я оказался в первый раз, я представлял бело-снежной, светлой, широко улыбающейся, где большие лошади ржут с высоко поднятыми головами и чернобородые кучера ходят в красных поясах. Москва и серость – как это возможно?

Мне пришлось прождать на вокзале три четверти часа. Опять какая-то проблема с доставкой багажа. Его забросили к почтовым посылкам. Когда их разберут, я получу свой багаж. А пока носильщик уходит и оставляет меня с ручной кладью. Он предупреждает, чтобы я был внимателен и смотрел в оба, потому что повсюду снуют шайки воров и я должен быть настороже.

И вот, охранник собственных вещей, я стою в углу, словно солдат на посту, и смотрю по сторонам. Кто здесь вор? Все одинаковые: серые люди, серая одежда, серые, ничего не выражающие взгляды. Россия американизируется. Вы не ослышались. Для всех создается единая униформа: одна одежда для всех, одно лицо для всех, один взгляд для всех и одна идея для всех. И униформа серая... и внутри и снаружи.

Что касается внешнего вида людей, то серость их очевидна. Солдат, крестьянин, горожанин и так далее. Ботинки, разумеется, сереют от слякоти, и только кожаная куртка временами поблескивает своим черным отливом, да на улице у милиционера где-то высоко, над серостью его головного убора, остался кусок красной ткани. Вы разглядите его, только если посмотрите сверху из окна...

Что касается внутреннего мира, человеческой психики, то и он серый. Это только моя оценка, мое отношение, отношение пропадающего индивидуалиста, влюбленного в многообразие че-

ловеческих мыслей и чувств. Как сказал старина Гёте? «Сера, мой друг, теория везде»¹². Россия – все еще теоретическое государство.

И вот, пристыженный, стою я в углу со своей европейской поклажей, в шубе, с итальянской шляпой фирмы «Борсалино» на голове. По правде говоря, не знаю, что бы я отдал в ту минуту, чтобы тоже стать частью этой серости: ботинки, серое пальто и каскетка на голове.

Потом из серости выделяется один, второй, третий и подходят ко мне слишком близко. Один островок серости не говорит ни слова и молча проходит мимо, осмотрев меня, мою шубу, шляпу и мою европейскость, которая лежит рядом со мной. Второй спрашивает, издалека ли я приехал. Я говорю: издалека – из Америки. Мой инстинкт подсказывает мне, что разумнее быть из Америки, чем из Польши, хотя мы, поляки, уже признали Советский Союз, а Америка не хочет... Люди в России высокого мнения об Америке. (В каком-то городе или деревне на юге России еврейский парень долго расхваливал при мне Америку, потому что там все пьют чай с лимоном.) О Европе нечего и говорить. Она прогнила. Европейские страны лежат, словно полудохлая кошка. С Америкой соревнуются. Статьи про Форда и фордизм вы найдете в любой газете.

Разумеется, я не могу пускаться в долгие рассуждения с тем, кто меня спрашивает, поскольку я стою и охраняю свои вещи. Короче говоря: я приехал по делам.

Третий, который уже не был частью той серости, поскольку он был в кожаной куртке и имел живой проворной взгляд, предлагает подвезти меня в отель на своем авто. «У меня до сих пор нет багажа», – говорю я. Но это не важно – он подождет.

За короткую беседу и 20 минут ожидания я заплатил потом несколько долларов (водители – люди одного сорта во всех странах).

Я обиделся на самого себя, что прибыл в Москву в таком подавленном настроении. Разве так нужно смотреть новую страну, новый мировой порядок? Но здесь холодно и сыро. Стоит осенняя погода, я не выспался, и на душе у меня серо... Я стою возле телефонной будки и подслушиваю глупые разговоры (русские любят разговаривать громко), и представьте, что серость вокзала плотно меня окружила, да так, что мне передалось ее настроение: вот выбежала дама (вы не ослышались – дама) в шляпе и чулках телесного цвета, быстро вошла в телефонную будку и стремительно хлопнула дверцей – она со своими прозрачными чулками мне не понравилась. Чем же, скажите мне, плоха серость? И зачем женщинам нужны корот-

12 Цитата из трагедии «Фауст», приводится в переводе Валерия Брюсова.



кие платья, элегантная обувь и чулки телесного цвета? Женщины в России одеваются, чтобы прикрыть тело, а на волосы повязывают ситцевую косынку.

Когда она вышла из будки, я отвернулся, чтобы не встретиться с ней взглядом. Этим я думал показать (себе самому), что я ей не ровня, что я не ее общество...

Все одинаковые: серые люди, серая одежда, серые, ничего не выражающие взгляды. Россия американизируется. Для всех создается единая униформа: одна одежда для всех, одно лицо для всех, один взгляд для всех и одна идея для всех.

Серость как серость. У меня еще будет возможность посмотреть Москву другими глазами, не как сейчас. Ту Москву, где есть Кремль и Красная площадь, Москву золотую и царственную, единственную и неповторимую, которая не сравнится ни с одним городом в мире... Где-то из серости показались маленькие создания человеческого происхождения, но это были уже не просто дети – группы беспризорников по два–три человека. [...]

От них пытаются избавиться. Для них было сделано все возможное. Специальные дома, специальные педагоги и даже специальные законы. Об этом пишут целые книги... Московские улицы от них не очистить.

Думаю, в моем дальнейшем повествовании мне еще доведется остановиться на этих социальных язвах, выросших на теле России во время войны, революции и беспорядков гражданской войны. Отдельных представителей этой армии, ее форпосты, я встречал в Минске и видел из вагона на станциях. Здесь, на вокзале в Москве, я впервые столкнулся с ними в их «доме» во время моего неуютного ожидания.

Они всегда ходят группами, вы редко встретите их поодиночке. Вся их одежда – дырявые лохмотья, которые беспризорник придерживает спереди одной рукой, когда ему холодно, или повязывает вокруг обычный шнурок. Из-под лохмотьев выглядывают куски его, этого создания, голого тела. Как будто им стыдно ходить в целой одежде. Но куски кожи, которые вам видны, выглядят, как исписанный пергамент или желтая восковая клеенка. Человеческая кожа не выглядит так, потому что это создание годами не мылось – принципиально! Потому что они установили свои порядки, и предатель – тот, кто пойдет против собственной беспризорности, против грязи. Носить рубашку – самое большое предательство! Ноги пере-

вязаны кусками ткани, на одной ноге может быть гамаша, на другой – калоша. Все, что на нем надето, должно быть найдено на помойке и годится туда же, потому что все, что имеет хоть какую-то цену, он продает – принципиально!

Ну, и запах от этих созданий! Вы свернете за два аршина, почуяв такую компанию. У большинства из них изогнутые брови, загноившиеся губы, маленькие глаза и тупой, резкий взгляд... Обычно беспризорник пугающе практичен, говорит коротко, по существу: «Дядя, дай копейку» – и оглядывает вас холодно, снежно.

Давай ему копейку, если он попросил, да побыстрее. А если не дадите, то вторая его короткая фраза будет:

– Дай копейку, а нет – буду кусаться!

А укус такого ребенка – это почти что укус ядовитой змеи, потому что 90% из них заражены ужасными болезнями. Беспризорник об этом знает и пользуется этим. Каждое создание выработало свое оружие в борьбе за выживание. И оружие беспризорника – это бактерии в его крови.

Они сидели втроем на полу в углу и играли в карты. Основательно и спокойно, мир вокруг их не беспокоит. Если им что-то нужно, они выключивают это у окружающих или отнимают силой и убегают. Погонишься за такими – а что ты им сделаешь? После того, как такой до чего-то дотронется, человек побрезгует это есть. Это уже его. Когда беспризорник присвоил что-то из окружающего мира, то вскоре о нем забывает, он его больше не интересуется. Ему не нужен дом, кровать, крыша над головой – он сам мусор и ночует среди мусора. На помойках, где они роются и спят вповалку по 10–15 человек, чтобы насладиться теплом тел друг друга.

Подошел милиционер и приказал им встать. Они едва на него взглянули и спокойно продолжили играть. Они не смеялись над ним и не противились ему – он просто их не интересовал, не существовал для них.

Они не боятся не потому, что смелые. О них с трудом можно сказать, смелые они или трусы: они никак не соотносятся с понятиями человеческой психики. У них нет страха. Потому что то, что пугает обычного человека, их не пугает. К тому же милиционеру строго запрещено их бить. Педагоги по-хорошему пытаются затащить их в дома для беспризорников («приемники») [...] Иногда зимой, в сильные морозы, это получается... Они живут там несколько дней и убегают...

Мне было смешно и грустно, когда один такой беспризорник подошел ко мне с открытой кружкой для пожертвований и принялся громко стучать несколькими монетами, что были внутри. Я был уверен, что он собирает милостыню, мне стало любопытно, и я спросил:



– Для кого?
– Для меня, – ответил он сухо и деловито. Разумеется, я не был бессердечным и кинул монетку.
Он ушел так же холодно, как пришел, не поблагодарив.

* * *

Первый! Мой первый приезд в Москву точно выпал на неудачное время, и мораль этой истории в том, что в Москву надо приезжать выспавшимся. И, бога ради, не тащите с собой много багажа, потому что вам придется заниматься его транспортировкой и вы, как и я, будете ждать три четверти часа. Потому что, если первое впечатление самое сильное, жаль, если вам придется получить его на Белорусском вокзале (ранее Варшавском) серым осенним днем посреди серых людей рядом с беспризорниками. В Москве точно найдутся куда более интересные места.

Но доставка моего багажа задержала меня на три четверти часа. И я, пристыженный, стоял в углу, пряча свои вещи: человек – всего лишь человек.

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЭПМАН

Россия американизируется. Я не первый путешественник, который это замечает. Это бросается в глаза любому наблюдателю, в этом не может быть никакого сомнения, а в Москве это ощущается еще сильнее, чем где бы то ни было.

Американизация прежде всего чувствуется во внешнем облике людей, в том, что они стали похожи друг на друга. Различия между людьми исчезли, все одеты одинаково, и никто не смотрит сверху вниз и снизу вверх. Да и вообще на других теперь не смотрят, не пытаются прочесть что-то по глазам, как это привыкли делать в Европе. Там, где между строк еще «что-то» ищут, скрытые значения слов, сентиментальность – это наследие старых поколений по-прежнему велико и за человеческой физиологией все еще ищут «душу».

А еще почти все люди живут в одних и тех же условиях, едят одну и ту же еду, и почти все живут в одинаковой тесноте. На каждого отмерено определенное число квадратных метров воздуха. Бесспорно, в Москве можно увидеть нэпманов, богатых людей! Но никому совсем не интересно выставлять свой достаток напоказ. Богатые люди в России не счастливы. Они могут получить все, что можно достать за деньги, кроме одного – спокойствия, безопасности.

Ой, как они жалуются, эти нэпманы!

– Проблема в том, – говорит мне один такой, – что непонятно, что можно делать, а что нет...

Сегодня он сидит здесь при деньгах, а завтра все его состояние могут конфисковать, а его самого в придачу сослать в Сибирь за какой-нибудь грешок или преступление – здесь собака и зарыта. Поди знай, чего делать нельзя, потому что, в конечном счете, нельзя *ничего*.

Возможно, в товарном обмене, в этих крутящихся шестеренках, частная торговля имеет больший вес, чем показывает официальная статистика (около 25%). Но сам класс предпринимателей заметной роли не играет, их не видно.

Кроме того, неправильно, когда женщины одеваются по-богато. И это уже совершенно не по-американски. Богато наряженные дамы – редкость даже для театров, куда обычно приходят показать свои туалеты. Вы не увидите сверкающих бриллиантов. Хотя есть и бриллианты, и дорогие наряды, проблема в том, куда их носить. У фининспекции и ГПУ глаза повсюду. Кто-кто, а богатая женщина, жена нэпмана, точно не позволит себе блистать нарядами в театре или на концерте. Это делают тихо, «конспиративно».

В Москве можно увидеть нэпманов, богатых людей! Но никому совсем не интересно выставлять свой достаток напоказ. Богатые люди в России не счастливы. Они могут получить все, что можно достать за деньги, кроме одного – спокойствия, безопасности.

В Москве сейчас устраивают «семейные балы». На таком балу в трех-четырёх тесных комнатах (это очень богатая квартира, почти что магнатская) собираются десять-пятнадцать знакомых между собой богачей, и там они щеголяют всеми своими утаенными сокровищами. Туда приходят в дорогом шелке, который в России стоит примерно в восемь раз дороже, чем у нас, демонстрируя припрятанные драгоценные бриллианты. Так люди «выгуливаются», а точнее выгуливают свои туалеты и бриллианты перед десятью-пятнадцатью парами глаз. И то наслаждение!

Не за что завидовать нэпманам в России. Я еду с одним из них в машине, и он говорит шоферу, чтобы тот выключил свет внутри. Вдруг пройдет мимо какой-нибудь незнакомец и увидит, что он едет в машине – и, конечно, как раз тот незнакомец, которому не нужно знать, что он может позволить себе ездить на автомобиле. Этот еврей руководит фабрикой, в его подчи-



нении несколько сотен работников, и, вероятно, ему очень тяжело достаются деньги.

В конце концов, втолковывает он мне, он решил, что если его прижмут, то он займется сельским хозяйством и станет крестьянином. Должно же это закончиться! Он из богатой семьи и совсем не привык к тяжелой работе, говорит он, но если все могут, то и он сможет. Этот капиталист [...] не верит, что жестокость большевистской системы со временем ослабнет. Ему не нужны утешения. Наоборот, думает он, режим будет держаться, как именно – он не знает. Но он будет держаться. Нет сил, способных его сломить. Со своими работниками он объясняется самым простым способом. Если пьяный работник в порыве чувств назовет его «жидовской мордой», он ответит по-русски: «А ты русский хам». Это, думает он, он может себе позволить. Большевизм гарантирует ему подобное равенство в правах. Но что ему можно, а что нельзя как нэпману? Когда бы он это знал... Но он не знает этого и потому постоянно нервничает, забывая побриться. Нарымский район не самая заманчивая перспектива.

Вот какие претензии у него к большевикам: он человек образованный, и ему нравится философствовать. Вначале мне казалось, рассказывает он, что с нами обходятся, как с ребенком, которого хотят отучить от груди. Моя мама для этого насыпала на грудь перец. Ребенку хотелось к ней присосаться, у него начинало гореть во рту, и он отпускал грудь. Если ему хотелось снова, то ситуация повторялась. И так до тех пор, пока ребенку не перестанет хотеться. С нами, нэпманами, поигрались так же. Можно было подумать, что смысл в том, чтобы мы полностью отучились, что и весь НЭП должен исчезнуть. Но проблема в том, что это тоже не известно...

В общем, он не может понять этого своим умом – а он убежденный рационалист и любит докапываться до истины.

Это одна проблема, назовем ее проблемой философов, которые страстно хотят проникнуть в суть дела.

Но есть еще одна проблема: беда на голову, которая может быть только у нэпмана и ни у кого другого.

Речь идет о молодой дочке, красивой, порядочной, послушной и все в том же духе. Он устроил ее на должность. Она зарабатывает 80 рублей в месяц... Нужно ли ей это?... А что потом?... Так лучше. Получить профсоюзный билет – совсем не мелочь для дочери нэпмана... Член профсоюза – это правильный человек...

Девушке всего 19 лет, и он хочет выдать ее замуж. Молодежь в России сейчас такая, что позволяет себе все, ни у кого не спрашивая. Не играет роли ни свадьба, ни развод, ни рождение детей. Никто не будет за это порицать. Правда, его де-

вочка – исключение, он за нее ручается. Она хорошая дочь, и он ищет для нее жениха.

Он хочет, чтобы ее жених был коммунистом – никем другим, только коммунистом. Почему им? Потому что если член профсоюза – это полноправный человек, то член коммунистической партии – это человек в полном смысле слова. Людей в России по социальному положению можно разделить на следующие категории: а) коммунист б) рабочий, член профсоюза, в) крестьянин, г) ремесленник (кустарь), д) человек без определенной работы, е) нэпман.

Само собой разумеется, что нэпман, человек из последней категории, имеет амбицию поднять свой статус до наивысшего. Человеческая природа не меняется. Лишь в Древней Индии четырем кастам было запрещено перемещаться по ступеням социальной лестницы – только, кто знает, соблюдалось ли это тогда!

Он хочет, чтобы дочь вышла замуж за коммуниста, и у него даже есть один на примете, но здесь возникает проблема, которая не дает ему спать ночами.

Хорошо, купит он ему (то есть ей) квартиру, обставит. Он поживет там месяца два–три, найдет другую, сообщит на службу – и готово! И как это понимать? Это стоило ему, нэпману, нескольких тысяч рублей. Но это не имеет никакого значения. В этом я могу ему поверить (и я ему верю) – но почему он должен вот так взять и отдать какому-то человеку юную, цветущую, нетронутую красоту? Вот что терзает его сердце!

Он молодец, этот коммунист – молодой, красивый, энергичный, порядочный, идейный. Но, если он через несколько месяцев встретит другую красивую девушку и влюбится в нее, кто помешает ему разойтись с его дочкой и жениться на другой? Никто не будет ему в этом препятствовать, и никто этим не прекнет. Даже его собственная совесть: он влюбился в девушку, пожил с ней, разлюбил и влюбился в другую – так теперь он живет с другой. Максимум, если она родит ребенка, он будет платить ей «алименты», треть своей пенсии.

Новые русские законы выработали в области половой жизни самые свободные нормы. Подходят ли эти нормы к теперешней смешанной, полукапиталистической, полусоциалистической системе в России, ответа пока нет. Вопрос в том, отражают ли законы в этой сфере чувства людей.

Но в России тяжело найти общественную мораль. Есть только одна общественность – коммунистическая.



* * *

Но я немного перескочил с темы. Характеристика нэпмана имела целью показать его ничтожность, его забитость, и то, что на авансцене жизни он не показывается. Нэпман не участвует в общем течении жизни, он не оставляет сколь бы то ни было значимого следа не только в сфере политики или управления, но и на поверхностном облике жизни.

Ну, если вы уберете бывшего пузатого капиталиста, офицера в белых перчатках, важного чиновника, студента в форме, богатую даму и «барышню», у вас получится единая усредненная масса – все равны, но, правда, на основании своей бедности. Не сравнить с Америкой, но все же страна становится на нее похожей.

Перевод с идиш, введение и комментарии Аси Лейдерман

От Канта к франкфуртцам и *vice versa*: как возможна (чистая) утопия после ГУЛАГа?

ЛОЛИТА
АГАМАЛОВА

Перед нами старый вопрос: как *быть* с будущим? По какому пути мы (где «мы» – это пустое множество: люди и, может быть, гуманизированная природа) в это будущее пойдём, какие могут быть альтернативы, сценарии, идеи? Впрочем, мы не будем пробовать дать ответ: то, что имеет образ, – это антиутопии и, в отличие от утопий, они не могут быть дискредитированы. Мы предлагаем сделать другую – *чисто философскую* – ставку. Суть демарша: удержав урок Маркса об историчности разума (потому от утопии – к науке), не/представляющего себе будущего, и взяв за отправную точку инверсию – Маркс вряд ли предполагал, что будущее будет украдено (полное отсутствие сегодня утопий и образов благого будущего), – мы будем искать чистую форму, *чистое понятие утопии*, тем самым утвердив и критическую необходимость базовой марксистской негативности (каждый, кто знает, как выглядит будущее, – выдумщик и догматик) и сохранив нашу *историческую позицию* (или иначе – эту же критику, поскольку ее основание в игнорировании *производственных сил*, а наша базовая неспособность *вообразить себе будущее* не в последнюю очередь связана с прекарностью и технонаукой). Итак, мы будем искать



Лолита Артуровна Агамалова (р. 1997) – философ, поэт. Аспирант философского факультета МГУ, специализируется на онтологии.

**(НЕ)ВОЗМОЖНОСТЬ
УТОПИЙ
В МОДЕРНОСТЯХ**

чистую форму утопии. Чистую – значит, историческую же. Тем самым мы имеем в виду, что сейчас возможна ее (утопии) чистая и только чистая форма. Но также возвращение к утопии вообще – как к регулятивной идее или простой максиме *возможного* – это способ избежать капканов меланхолии, не ведающих ни временного, ни пространственного масштабов, иначе – возвращение (к) утопии есть поиск и создание путей, которыми мир играет *вдолгую*.

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ: ВОПРОС О ЯДРЕ

Итак, этот очерк задумывается как *онтологический вопрос о ядре* утопии – ее трансцендентальных, онтологических и логических параметрах, несводимых к возможному образу и историческим образцам¹. Вопрос об утопии двояк согласно способу ее парадоксального бытия – это вопрос об *εὐ* как отрицании и онтологическом противоречии в ее имени² и вопрос об *εὐ* как благе, конечным удвоением смыслов, прибавленном к ее небытию³. Этот вопрос – во всей его двойственности – обусловлен еще и тем, что утопия настойчиво напоминает о себе не только в качестве нехватки или кризиса, утраченного (но никогда не бывшего) будущего, но также в качестве другой возможности, которая остается как минимум приоткрытой⁴. Это последнее – чистая возможность – обращает утопию в чистый горизонт не-данного сущего, и встает вопрос о его образе как образе будущего и иного, образе, который отсылает нас к обыденному пониманию утопии как того, что невозможно себе представить – ни это сущее, ни его место. Так и пробивает себе дорогу утопия – опираясь на возможное и невозможное.

Эти базовые интуиции об утопии сводимы в одну – об утопии как чистом понятии, которое в свою очередь не может быть сведено ни к уже-данному, ни к возможному опыту, где тот с необходимостью непротиворечив⁵. Эта интуиция об опыте и вещи самой по себе, объединенных *lex contradictionis*, и об οὐ-τόπος как противоречии и горизонте – *напряжению между*

- 1 Наша работа избегает бесед об утопии как о жанре, тропе, эпистеме, но исследует ее не-место, ее противоречие, ее, если угодно, способ парадоксальной не-данности.
- 2 «Отрицание, отвергающее факт, но не *возможность* факта», см.: МАРТЫНОВ Д. *К рассмотрению семантической эволюции понятия «утопия»* // Вопросы философии. 2009. № 5. С. 162–171.
- 3 «При прочтении этого слова на английский лад мы имеем также омофон *eutopia* от *εὐ* (“благо”) и того же *τόπος*. [...] Уже в момент рождения термин подразумевал известную двойственность: “несуществующая страна” одновременно оказывалась “страной блаженства”, [...] образцом для подражания». (Там же.)
- 4 О призракологии, эффектах ностальгии по не-бывшему и утопии как *другой возможности* см.: МАЛАБУ К. *Возможность худшего* // Художественный журнал. 2012. № 85. С. 60–72.
- 5 О непротиворечивости опыта см.: КАНТ И. *Критика чистого разума*. М.: Академический проект, 2018; ВАСИЛЬЕВ Н. *Воображаемая логика* // Он же. *Избранные труды*. М.: Наука, 1989. С. 94–123. Васильев рассматривает принцип непротиворечия как эмпирический, но ни в коем случае не как априорный.

ними – и будет отправной точкой, задействованной через проблематику *онтологического противоречия*, чей образец изобретает Аристотель⁶. Так, начав с критики «текучих»⁷, Гераклита и Ко, с их пульсирующей (не)бытийностью, и закончив в порядке онтического («и человек, и стена, и триера» как следствия неспособности отделить не-быть от быть⁸), Аристотель, во-первых, выводит невозможное, или скорее запрещенное сущее, и сводит сбой в онтологическом плане к сбою в плане онтическом: «текучие» – безумцы, их «быть» и «не-быть» порождают *непредставимых* химер, и они избегают строгой дизъюнкции⁹. Это изобретение Аристотеля, рассмотренное в оптике хайдеггерианского онтологического различия, будет нашей отправной точкой. *Отправной*, но не единственной: по утопии пробегает множество онтологических парадоксов: апория ее пульсирующей не-бытийственности ключевая, а то, что предоставляют аристотелевские формализации, *есть доступ и вход*.

ЛОЛИТА АГАМАЛОВА
ОТ КАНТА К ФРАНКФУРТЦАМ
И VICE VERSA...

Утопия настойчиво напоминает о себе не только в качестве нехватки или кризиса, утраченного будущего, но также в качестве другой возможности, которая остается как минимум приоткрытой. Это обращает утопию в чистый горизонт не-данного сущего, и встает вопрос о его образе как образе будущего и иного.

Итак, мы обратимся к *онтологическому плану*, рассмотрев утопию как с необходимостью возможное – согласно ее горизонтности¹⁰ – благо, прибавляемое к *текущему* небытию, и,

- 6** «Если относительно одного и того же вместе было бы истинно все противоречащее одно другому, то ясно, что все было бы одним [и тем же]. Действительно, одно и то же было бы и триерой, и стеной, и человеком, раз относительно всякого предмета можно нечто одно и утверждать, и отрицать. [...] И в самом деле, если кто считает, что человек не есть триера, то ясно, что он не триера. Стало быть, он есть также триера, раз противоречащее одно другому истинно. [...] Поэтому они, видимо, говорят нечто неопределенное, и, полагая, что говорят о сущем, они говорят о не-сущем, ибо неопределенно то, что существует в возможности, а не в действительности» (АРИСТОТЕЛЬ. *Метафизика* // Он же. *Сочинения: В 4 т.* М.: Мысль, 1976. Т. 1. С. 130).
- 7** О партии «текучих» и партии «неподвижников», обозначение которых было заимствовано нами из комментариев Юрия Шичалина к «Пармениду» Платона см.: Платон. *Парменид*. М.: Издательство РХГА, 2017. Далее мы также будем пользоваться этими комментариями.
- 8** Ср. требование Парменида, чья безвестная тропа рождает чудовищ: ПАРМЕНИД. *О природе* // *Фрагменты ранних греческих философов*. М.: Наука, 1989. Ч. 1. С. 296.
- 9** «В самом деле, не означать что-то одно – значит ничего не означать; если же слова ничего [определенного] не обозначают, то конец всякому рассуждению за и против, [...] ибо невозможно что-либо мыслить, если не мыслить что-то одно» (АРИСТОТЕЛЬ. *Метафизика*. С. 126–134).
- 10** Опираясь на множественность трактовок утопии (понятия утопии), Родс выделяет три основные линии в мышлении утопии. Утопия полагается тремя способами: 1) как существующее вне мира, который дан в опыте; 2) как существующее в мире, который дан в опыте (собственно Утопия Мора – или Удепотия, от *οὐδέποτε* (решительно никогда)); 3) как то, во что должен быть обращен мир, который дан в опыте. Под горизонтностью мы будем понимать это последнее, но, ввиду противоречия, так же оставим и фантастичес-



поскольку бытие – всегда бытие чего-то, обратимся к онтическому плану, противоречивому существу – к предполагаемой схеме утопии, отвечающей обыденному «непредставимому». Так, наша гипотеза заключается в том, что *утопия как чистое понятие сказывается только об онтологически (и онтически) невозможном*, где последнее – онтологическое противоречие, что впаяно в тело утопии в обход *lex contradictionis*. То есть *utopia*, или же *eutopia*, все равно берет на себя онтологические и политические обязательства и служит *в качестве возможной* – иначе любой разговор о ней был бы ни к чему. Но *lex contradictionis* в свою очередь может быть рассмотрен как закон эмпирической данности, который приписан природе¹¹ как фактическое. По крайней мере на уровне онтики речь идет скорее о непредставимости (противоречивого сущего), а не его немыслимости. «Непредставимое» не аргумент против утопии, задуманной как возможное, которое – начиная с парменидовской «0 природе» – связано с любой возможной мыслимостью (мыслимостью – в первую очередь). Или, говоря иначе, возможное обеспечивается мыслимостью и взаимнообратно с последней. Но при этом и такое возможное оказывается гораздо шире обыденных представлений: и при вхождении непредставимости (вместе с сохранением парменидовского тождества), и в случае его вычитания (за счет разведения мыслимости и представимости), и даже – за счет мыслимости самой чистой возможности – при любом разъятии. Так, возможное утопии, концептуализированной посредством противоречия, и является главной *темой* очерка, который будет исходить из радикальной и радикализованной истории понятия «утопия». Поэтому мы будем рассматривать противоречивое сущее как «схему» утопии – то, что «вмещается» или запутывается в этой пульсирующей не-бытийности; и не/бытие в качестве «формального» вопроса об утопии – самой ткани, из которой могут отделиться непредставимые сущие – или уже будут обитать, в топосе, месте-не-месте.

Но тема коллапсирует в еще один парадокс: каким образом чистая утопия, сказываясь об онтологически невозможном, удерживает себя как социальный, горизонтный проект? (Этот парадокс будет преследовать нас на протяжении всей нашей работы.) Неизбежная политическая импликация в любом разговоре об утопии обеспечивает таким же неизбежным ответом: *единственный способ сказываться об утопии*, о любой утопии, удерживая *eutopia* как саму себя, – сказываться о ней как о *возможной*.

кий элемент первой трактовки. Подробнее см.: RHODES H.V. *Utopia in American Political Thought*. Tucson: University of Arizona Press, 1967.

11 Об эмпирике закона непротиворечия см., например: ВАСИЛЬЕВ Н. *Воображаемая логика*.

Вернемся к ремарке о чистоте. Предицируя утопию в качестве невозможной и опираясь на ее, таким образом, аналитическое и при этом расхожее (Адорно скажет: это идентификация с агрессором, когда всерьез¹²) сказуемое, мы говорим об утопии сейчас – о конкретной исторической ситуации, в которой, на наш взгляд, находится утопия. И эта ситуация не проста. Возвращение к чистому имени, понятию, форме утопии видится нам единственным способом эксплицировать над-историческое в утопии, ее рубеж и ее, утопии, вещество. Чистое имя также служит необходимости вернуть право на утопию.

Наш вопрос к утопии сегодня, таким образом, будет таков: как возможна (чистая) утопия после ГУЛАГа? И он будет вторить адорнианской фразе о стихах, обращенных в простое варварство после Освенцима, но порой занимать тон у «Фуги смерти» Целана.

Будет несправедливым сказать, будто никого не волнует будущее. Проблемы утопии отчасти переключались в дискуссии о *возможности* иного или других миров – *физической и логической*¹³, – но без эксплицитных ссылок на идею, идеал утопии. Самое близкое к базовой проблеме – дискуссии о воображении в художественной среде¹⁴. В общем виде любое обращение к утопии – онтологическое, гносеологическое и так далее – требует, в отличие от строго модальных проблем, удерживать политическое предназначение утопии (в марксистском смысле¹⁵), без которого утопия теряет второе родовое значение – значение секулярного блага (к которому причастна собственная воля субъекта). Итак, утопия – уникальный объект, удерживающий как противоречие, так и благо; как вечность (согласно концу политики), так и *разнесение по времени* (согласно своей горизонтности). Она берет политические и онтологические обязательства. Мы обращаемся к утопии как единственно, на

12 Адорно Т., Блох Э. *Чего-то не хватает. О противоречиях утопического томления* // Художественный журнал. 2012. № 85. С. 50.

13 См.: Мейясу К. *После конечности: эссе о необходимости контингентности*. М.: Кабинетный ученый, 2015; НЕГАРЕСТАНИ Р. *Хронозис*. М.: АСТ, 2021. На наш взгляд, сюда же следует отнести работу: LEWIS D. *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell, 1986; а также вопрос о логической и естественной супервентности и все мысленные эксперименты о *возможных мирах*: Чалмерс Д. *Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории*. М.: Едиториал УРСС, 2019. Ну и, конечно, научно-популярную литературу о всевозможных квантовых мирах и прочем, например: Кэрролл Ш. *Квантовые миры и возникновение пространства-времени*. М.: Питер, 2019.

14 См., например, два выпуска «Художественного журнала», объединенных темой «Наше общее будущее» (2012. № 84; 2012. № 85). В последние годы дискуссия о политическом воображении приобрела немалый вес, но она кажется неудовлетворительной. Нам в свою очередь кажется, что проблема вовсе не в воображении – у нас тот же аппарат перцепций и способность к (ре)продукции апперципированного (пусть технология и продолжает свой бег – и он местами безумен). Проблема в *утопии*. Сценарии разнятся, если вовсе появляются; но что до воображения, то сами эти дискуссии представляют собой образец рекурсивного, невротического письма, как если бы любовники обсуждали собственную любовь вместо того, чтобы действовать. Мы называем этот феномен метаображением – и отнюдь не в положительном смысле.

15 Иначе – в качестве горизонта, к которому общество должно двигаться.

наш взгляд, способной к совмещению – повторимся – строго философского онтологического поиска с политическим его близнецом: *de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia*. И это очень важно. «Утопия – игра, но это серьезная игра»¹⁶. Что касается *актуальности*, мы разобьем ее надвое по тем же причинам: на философскую и политическую. Первая обусловлена онтологическим поворотом, а вторая – консервативным, у которого, выражаясь по-мангеймовски¹⁷, в почете идеологии, а не утопии.

Теперь перейдем к проблемам.

МЕЖДУ КРИТИКОЙ И КРИТИКОЙ

Наше приключение начнется у ворот Дике, куда мы уже забрались вместе с парменидовскими персонажами¹⁸: через эти ворота пролегают пути дня/ночи, позади остается *doxa*, впереди – *aletheia*, бестрепетное сердце истины¹⁹ и необходимости. Это первый путь: быть и мыслить. Он единственно верный.

«Путь второй – что “не есть” и “не быть должно неизбежно”: / Эта тропа, говорю я тебе, совершенно неизвестна»²⁰. Итак, неизвестная тропа. Куда она ведет?

Но первый вопрос об утопии не столько в том, куда она способна завести, сколько в том, как эту тропу – а может быть, множество троп – *обнаружить*, чтобы по ней *последовать*. Этот *вопрос*, который мы хотели бы задать, – об утопии и к утопии, ибо, говоря об утопии *сейчас*, нельзя обойти одно: имя, историю жизни и смерть, или иначе – ее судьбу после 1991-го²¹. Обозначим этот вопрос в духе критик – критик Канта и критик франкфуртцев: как возможна утопия после ГУЛАГа? Без отрицания и красного *aufhebung* (Маркс в чем-то ошибся: утопия не мнится неизбежной²²) и, вероятно, без *надежды* («прогресс» привел к большей бедности²³) – без цели и телеологии,

16 RUYER R. *L'Utopie et les utopies*. Paris: Presses universitaires de France, 1950. P. 96; цит. по: МАРТЫНОВ Д. *Семантические особенности понятия «утопия» (на материале западной философской литературы)* // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2010. № 2. С. 49.

17 МАНГЕЙМ К. *Идеология и утопия* // *Утопия и утопическое мышление*. М.: Прогресс, 1991. С. 113–170.

18 ПАРМЕНИД. *Указ. соч.* С. 274–298.

19 Там же.

20 Там же.

21 Мы обозначим как год смерти именно 1991-й, а не условный 1937-й – поскольку надежды на Союз у *по крайней мере* части левых интеллектуалов были до последнего (в их числе был Блох, который старался оправдывать 1937-й необходимостью и издержками). Но это подвижная дата.

22 «Дело не в том, что коммунизм неизбежен – он может и не наступить, все может закончиться саморазрушительной оргией или неофеодальным корпоративным капитализмом, – но как только мы выберем коммунизм, то увидим, что это единственный выход» (Жижек С. *Небеса в смятении*. М.: АСТ, 2022. С. 303).

23 См., например: ВАЛЛЕРСТАЙН И. *Утопийское, или Исторические возможности XXI века* // *Прогнозис*. 2006. № 5. С. 8–57.

о чем бесперебойно трубит и щебечет мировой кризис левых программ и идей. О 1968-м говорить нет нужды: «мая 1968-го не было», и в то же время он был – но был *чистым событием*²⁴, и это все. Между утопией и ГУЛАГом пролегал, однако, *абсолютная граница*, и эту границу, несмотря на любые дискурсивные изобретения, не удалось пересечь еще никому. Речь идет о границе между бытием и его иным – не-бытием. И здесь возможны варианты: Утопии (еще не было); Утопии нет; Утопии не может быть? Поэтому первое, с чего мы начнем, будет понятие – *чистое понятие*. Тезис, который мы будем отстаивать ниже, будет звучать так: утопия возможна как чистая – и абсолютно негативная утопия. Мы будем говорить о самой утопии, которая себя упразднит согласно концу политики, и вновь о ее понятии постольку, поскольку оно выступает как необходимый регулятор, знак, звезда, мотив (и под сотней иных неподобных значений) уже посттеологического конца времен, где, напротив, время сомкнется само с собой, порождая новое время. Итак, проблема – пульсирующее в не-бытийности не-место утопии, «промежуточное между сущим и не-сущим»²⁵. Кроме того, будем иметь в виду противоречие в вещи, *res*, сущем, тогда как всякое сущее, претендующее на актуализацию, обязуется подчиняться строгой дизъюнкции: $a \vee b \vee c$ как «и человек, и стена, и триера»²⁶. Начнем с не-бытия.

Мы попробуем развернуть три этюда об утопии: им будут соответствовать три проблемы и три фрагмента. Первый будет проблематизировать имя, второй – место, а третий – необходимое *уничтожение* утопии в самой себе, которое – в любой мысли о будущем – рационально, имплицитно и заранее произведено. Все три проблемы и три фрагмента носят *онтологический* характер – это вопрос о бытии утопии.

КОРОТКО ОБ ИМЕНИ: МЫСЛИТЬ ПРЕДМЕТ

Обозначим позиции. Мы будем отталкиваться от обыденных интуиций о возможном бытии утопии и текущем (поскольку утопия *горизонтна*) небытию, где бытие, согласно Пармениду (чьей партии Аристотель отдает предпочтение), мыслимо, а не-бытие «безвестно». Это синтетический вопрос об утопии. При этом мыслимое обеспечено *реалистской* посылкой о бытии так, что их тождество *позитивно*, а небытие конвертируется в «немыслимое». Также необходимо удерживать противоречие в имени утопии как *вечное* – иначе говоря, онтологическое

24 Делёз Ж. *Мая 68-го не было*. М.: Garage; Ad Marginem, 2016. С. 69–74.

25 Аристотель. *Метафизика*. С. 130.

26 Там же.



противоречие, обеспеченное вне времени. Это аналитический вопрос об «утопии».

Начиная с Аристотеля закон непротиворечия начинает изображать немислимое и, как следствие, невозможное, превращаясь в оппозиционную парменидовской пару. В этой паре, в отличие от последней, нет ни связности, ни тождества, нет ничто, которое, будучи не-раздробленным, охватывало бы и не-бытие, и не-мышление в собственной не-дискретной *негативности*, четко отграничивая не-мыслить и не-быть. Если мыслить и быть – это позитивное тождество, то не-мыслить и не-быть – по крайней мере после Канта – не стягивается ни в какое единство. Так немислимое и невозможное, несмотря на причастность обоих к *негативности*, оказались разведены²⁷. Итак, *обеспеченное значением в области немислимого* противоречие продолжило свое действие в области невозможного.

Проясним. С тех пор, как *lex contradictionis* обратился в *изнанку* немислимого, он не раз был дискредитирован новейшей логикой²⁸. Но, если принцип был опрокинут таким образом в области немислимого, в области невозможного (факты упрямы), он свое действие продолжил: как в качестве запрета быть и не-быть одновременно, так и особого запрета существу. И, если в защиту онтического в исходной формуле Аристотеля можно изобрести аргументы – первый будет обращаться к опыту, где коренится этот запрет (обозначим его, вслед за Васильевым²⁹, как аргумент от воображаемых логик), второй будет обращен к корреляции, где между тем, что не-мыслимо и что не-возможно, все-таки нет никакой разницы (мы назовем это аргументом от ничто иного), – то в защиту пульсирующей не-бытийности быть аргументов, как кажется, не может. (Кроме негативной диалектики: критики.) Ибо, чтобы что-то пульсировало в не-бытии, ему следует быть и не быть – *и проверить это разом*. А базовое логическое мышление правомерно требует, чтобы было нечто, а не ничто, заведомо. Пульсировало, таким образом, *следом*.

Но тем не менее один способ удержать вечное противоречие есть. Если в *понятие* «утопия» необходимо входит противоречие – это не-место, которое тем не менее есть (об этом свидетельствуют как Гитлодей и Ко³⁰, так и безобразные изображения благой утопии вдобавок к не-месту от бога и после бога, где в боге иное изображается вне пространства и времени,

27 См., например, проблему корреляционизма, которая была сформулирована в: Мейясу К. *После конечности...* Несмотря на то, что Кант собирался избежать «скандала в философии», линия, которую он задал, как раз и обеспечила работу солипсизма: невозможное обратилось в, вероятно, также не-бытийствующее квазибытие.

28 Мы имеем в виду паранепротиворечивые и прочие неклассические логики.

29 Васильев Н. *Воображаемая логика*.

30 См.: Мор Т. *Утопия*. М.: Наука, 1978. Гитлодей – главный рассказчик об устройстве и нравах утопии и утопийцев, буквально: «человек, несущий чушь».

вне бога просто другое, которое может быть: будь это наивные общины Фурье³¹ как еще-нет или мир без скорби, где максимизация блага (общее логическое устройство) требует возможности – в инверсии лейбнизианских мотивов), – итак, это не-место, которое, однако же, есть, знание о пределе концептуализации, как говорит Прист³², изнанке мысли как изнанке бытия, об этом не-месте абсолютно – *абсолютно есть*. Это знание о противоречии как рубеже – если не мысли как неммыслимого, то *онтологии* как невозможного. Коротко говоря, мы имеем *негативную* репрезентацию объекта *под именем* «утопия», где утопия есть то, что удерживает вечное противоречие.

Иначе невозможна была бы пропозиция: «ни одной утопии нет» – оммаж Абеляру³³. Однако это пульсирующее не-бытие утопии может быть помыслено как *предмет* мысли, но, кажется, не осуществлено на основании вмешательства категории «существование» – и это отвечает *обыденному* предикату утопии. Противоречие в бытии не может быть осуществлено. Так, чистое понятие – как чистое имя – утопии будем сказываться об онтологически невозможном.

Но попробуем, несмотря на это и повинувшись синтетическому *сказуемому*, обратиться к статусу *самого понятия*. Речь идет о базовой *эквивокации* утопии, эквивокации, *удвоении утопии*, которое обеспечивает синтетическое сказуемое – об аналитическом благе, *eutopia*. Аутентично это «ев» есть греческое созвучие, отсюда же *eudemonia*, процветание, и *эвдемонизм*. Но именно оно обеспечивает утопии как ее славу, так и ее упадок. Именно *eutopia* обеспечивает *utopia онтологический аргумент*.

НЕГАТИВНЫЙ АРГУМЕНТ И КОЛЬЦО УТОПИИ

Итак, в эфире немецкого радио Блох и Адорно сходятся в квазионтологическом аргументе, о котором, разумеется, остается всего лишь намек: «если в онтологическом доказательстве [...] нет ни следа правды, то есть если в силе самого понятия не содержится момент его действительности, то не может быть не только никакой утопии, но и никакого мышления»³⁴, – скажет

31 См.: ФУРЬЕ Ш. *Избранные сочинения: В 3 т.* М.: Соцэкгиз, 1939.

32 См.: ПРИСТ Г. *За пределами мысли.* М.: Канон+, 2022.

33 «Мы никоим образом не желаем, чтобы существовали универсальные имена, ведь если именуемые ими вещи уничтожаются, то тогда не будет и предикабилей к их множеству, так как они не являются общими ни с какими вещами; подобно тому, как имя розы, когда не останется больше роз, будет что-то означать для ума, хоть и предмет для именованья отсутствует. Иначе невозможна была бы пропозиция: “ни одной розы нет”» (АБЕЛЯР П. *Логика «для начинающих»* // Он же. *Теологические трактаты.* М.: Прогресс; Гнозис, 1995. С. 191).

34 Адорно Т., Блох Э. *Указ. соч.* С. 50.

Адорно. Блох же, учитель, добавит: «Такое утверждение малоубедительно. Но при этом [...] справедливо, что любая критика несовершенства [...] содержит представление о совершенстве, тоску по нему»³⁵. Кроме того, Адорно отмечает, что утопии присуща антиномия смерти: «любая попытка просто описать, изобразить утопию [...] была бы попыткой обойти антиномию смерти. [...] Это то], почему об утопии можно говорить только негативно»³⁶. Обозначим в качестве тезисов:

1. Если в *понятии* «утопия» не содержится (возможное) ее бытие, то не может быть никакого мышления об утопии.

2. Об утопии можно говорить только негативно (*par excellence* из-за антиномии смерти).

Первый пункт предполагает модуляцию онтологического аргумента, который – в любой из его форм – полагает бытие как нечто большее, чем просто понятие; значит, некое понятие может обладать бытием по факту своей концептуализации. Но не всякое: речь идет об уникальных понятиях, аутентично – о понятии бога. При этом квазибытие – как понятие истинно родовое – включает в себя реальное бытие как всего лишь одну из модальностей, даже не самую удачную (Майнонга³⁷). Марион предлагает концепт данности как того, что превосходит любое объективное бытие³⁸. Эти позиции инвертируют аутентичный онтологический аргумент, но сохраняют его схему: выходит, что понятие, логические структуры, опыт дара *et cetera* оказываются больше бытия.

Попробуем развернуть апологию. Первый тезис напрямую связан с *местом*. Местом, которое настойчиво возвращает к себе. Но, будучи местом, оно оказывается и *не-местом*, которое возвращается. В частности, Блох отмечает, что *utopia* изобреталась Мором (мору – Мор) в качестве пространственной; чуть позднее, уже у Фурье и Сен-Симона, утопии задают временную черту – некое откладывание. Так, если в первом случае речь идет об острове, который где-то – но я не здесь, то во втором – его нет. Его требуется построить, обжить, а не просто обнаружить³⁹. Несмотря на то, что вскоре большие утопии отступили⁴⁰, будто волны, с берегов истории, идея о благом

35 Там же. С. 50–51.

36 Там же. С. 46–47.

37 Майнонг А. *О теории предметов* // Эпистемология и философия науки. 2011. № 1. С. 202–220.

38 *О Даре. Дискуссия между Жаком Деррида и Жан-Люком Марионом* // Логос. 2011. № 3. С. 144–171.

39 Адорно Т., Блох Э. *Указ. соч.* С. 42. Отметим, что Блох в свою очередь отмечает зависимость образов утопии от господствующей формы производственных отношений. Сейчас к этому можно добавить некую интуицию о том, что, быть может, отсутствие утопий каким-то образом связано с некоторой размытостью производственных отношений, появлением такого концепта, как «прекариат», и так далее. Но здесь у нас нет возможности говорить об этом. По этой теме см., например: Стэндинг Г. *Прекариат: новый опасный класс*. М.: Garage; Ad Marginem, 2014; ХАРАУЗИ Д. *Манифест киборгов*. М.: Garage; Ad Marginem, 2017; и многое другое.

40 Но с берегов истории отступили не только утопии, и не только большие. О проблеме больших и глобальных нарративов см. бессменное: Лиотар Ж.-Ф. *Состояние постмодерна*. М.: Алетейя, 2016.

месте осталась. И причина проста. Поскольку не может быть никакой причины, чтобы идея *свободного труда и творческого духа всех* – задуманная Мором согласно производственным отношениям его времени – не была реализована⁴¹. Если не мыслить утопию возможной (именно в качестве топоса, корня, неизменяемого при любых эквивокациях) – пусть вытеснено, – невозможно мыслить утопию: она обернется своим иным, тоталитаризмом, а не благой тотализацией (радикальным преобразованием всех сфер), что доказывает высказываемый ей обыденный упрек в инцесте с антиутопией или даже абсолютное кровное родство: вычитание, вытеснение блага, *ei*.

Формулу «нельзя мыслить утопию, не мысля утопию» мы будем называть *кольцом утопии*. Кольцо утопии можно мыслить через квазионтологический тезис (Адорно) либо через тезис от совершенства (Блох). Но кольцо утопии проще: полагающее возвращение утопии к самой себе, к своему подлинному имени, к чистоте собственного понятия, к благу, *ei*, – диалектическое возвращение, отрицание отрицания и свободу от своего иного, которое ставится ей в упрек как (будто бы) неизменно сопутствующее. Итак, кольцо утопии выражает простую истину: утопия с необходимостью, согласно истории своего понятия и своей собственной природе, остающейся неизменной и абсолютно при этом чистой в любых исторических своих образцах (чистому понятию), предполагает и полагает благо. Не предполагая под ней благоую тотализацию, мы мыслим нечто иное. И, кроме того, утопия обязуется исполнить гораздо больше, чем обещано, поскольку ныне обещанное, представленное, помысленное исходит из обстоятельств жестоких смертей, социальной несправедливости, если угодно – из эпистемы, а всякая эпистема конечна.

Но вычитание – как операция негативности – присуще утопии и самой по себе. Перейдем ко второму тезису Адорно. Тезис двояк: во-первых, он предполагает (в духе франкфуртцев) радикальную критику (мы не можем уверенно сказать, как должен быть устроен мир, но абсолютно уверены, *против чего* мы боремся; утопия, таким образом, избегает упрека в абстракции); во-вторых, он предполагает антиномию смерти: чтобы мыслить утопию, необходимо мыслить преодоление смерти, но и преодоление с необходимостью мыслится исходя из самой смерти.

41 «И если сегодня принято говорить то, что в более безобидные времена могли себе позволить только самые пошлые обыватели: “Да это же утопии, такое бывает только в сказках, на самом деле такого вообще не может быть”, то это, думаю, происходит оттого, что люди не могут справиться с противоречием между очевидной возможностью осуществления и столь же очевидной невозможностью осуществления только одним способом – идентифицируя себя с этой невозможностью, присваивают ее и, выражаясь словами Фрейда, “идентифицируют себя с агрессором”. Они говорят: “этого не должно быть” – о том, что, по их ощущениям, как раз должно быть, но чего они в то же время лишены по какой-то неясной причине» (Адорно Т., Блох Э. Указ. соч. С. 42–43).

Таким образом конструируется союз: возможности и негативности, союз, имеющий большую историю. Конкретнее можно выразить его радикальную модуляцию в терминах Малабу, которая уточняет возможное как негативное через предцирование сказуемого «другая»: другая возможность, скажет Малабу, неоспорима⁴². Ей подчиняется как прошедшее (все *могло* быть иначе), так и настоящее (где-то *есть* совсем иное), ей подчиняется будущее (все может быть – или, в императиве, *будет* – иначе). Простым примером будет утверждение, что СССР мог бы пойти по другому пути. Отрицание – допустим, противоречивый тезис о том, что в каждой утопии присутствует антиутопия, – полагает другую возможность: нет, СССР не мог пойти по другому пути. Но он уже пошел по-другому (относительно первого тезиса). Неоспоримость этой другой возможности подразумевает, что самое большее, что можно с ней сделать, – это ее отрицать, но наше конкретное отрицание другого пути СССР или, может быть, другого пути Афганистана, вообще других исторических альтернатив довольно быстро приведет нас к тезису, например, о том, что в XX веке голод может быть побежден, но, нет, скажут нам другие, он не может быть побежден так просто, ведь рынок работает иначе – то есть само отрицание обуславливает категорию другой возможности. Оно ее полагает.

Таким образом (1) утопия с необходимостью полагает себя как благая и как возможная: утопию – в мышлении собственно утопии, *и-* и *еа-* и неизменно *topos* – невозможно мыслить иначе, поскольку (иначе) это будет другое понятие. Но, добавим: (2) это мышление утопии с необходимостью негативно: поскольку, чтобы мыслить утопию, необходимо (а) отрицать действительное (момент радикальной критики) и (б) полагать и это отрицание исторического и все еще конечного субъекта. Это означает, что мы также обязаны рассматривать момент отрицания и негативность будущего именно как момент: то, что немисливо сегодня, будет мыслимо завтра (паранепротиворечивые логики свели бы с ума Аристотеля); то, что не может быть представлено завтра, может выиграть шанс в будущем; мыслимое, которое элэаты полагали одним с действительным и возможным, расширяется и, в принципе, гораздо более широко, чем принято считать. Негативность – это способ существования абсолютно чистой и кристаллической возможности, которую необходимо актуализировать и как простую истину экономики, и как фантастическую и невероятную истину любых ригидных онтологических и гносеологических структур.

Вернемся ко второму тезису – об утопии можно говорить только негативно (*par excellence* из-за антиномии смерти). Со-

гласно негативной диалектике, истина – либо ее по крайней мере бóльшая часть – в том, *чего нет*, и факты вступают в противоречие с этой истиной. Но, поскольку и разум – только момент тотальности, разум историчен, следует понимать, что он также *противоречит этой истине*, а «всякая логика и всякая речь ложны в той мере, в какой они суть часть увечного целого»⁴³. Представить себе мир без смерти необходимо, и это будет утопией, но такое представление есть следствие смерти и конечности как таковой. Выбор негативной диалектики в том, чтобы отрицать: отрицать все, в том числе и сам разум, оправдывать который уже не просто ошибочно, а безнравственно. Тем не менее истина понятия (если под ней понимать кольцо утопии – ее, утопии, соотнесенность, возвращение к себе самой) соотносится с негативностью и ее истиной (будь то запрет на изображение – или, как сегодня, скорее неспособность его изобразить; и, конечно, отрицание). И соотносится с брехтовским «чего-то не хватает»⁴⁴, которое Блох подшивает к знанию об утопии, квазионтологической инверсии аргумента об истине понятия, которое оказывается гораздо важнее и больше действительности.

ЛОЛИТА АГАМАЛОВА
ОТ КАНТА К ФРАНКФУРТЦАМ
И VICE VERSA...

Негативность – это способ существования абсолютно чистой и кристаллической возможности, которую необходимо актуализировать и как простую истину экономики, и как фантастическую и невероятную истину любых ригидных онтологических и гносеологических структур.

Мы обозначим итог двух тезисов как негативный аргумент и предложим версию: мы безусловно знаем, что все может быть иначе. Это знание негативно и чисто. И также мы безусловно знаем о том, что благо возможно. Это знание так же чисто. Знание (*sic!*) об абсолютной возможности блага может быть только утопическим. Это именно знание и именно об абсолютной возможности именно блага, в котором истина понятия «утопия». Добавим сюда вывод эту же об имени: имеется негативная репрезентация объекта под именем «утопия», где утопия есть то, что удерживает вечное противоречие. Это позволит не ограничиваться рассуждениями о благе, но работать с фундаментальной онтологией.

⁴³ МАРКУЗЕ Г. *Замечание о диалектике* // Он же. *Критическая теория общества*. М.: АСТ, 2011. С. 139–150.

⁴⁴ Адорно Т., Блох Э. *Указ. соч.* С. 50.

ВЕЧНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ И ЧИСТОЕ ВЕЩЕСТВО

Необходимо удержать вечное противоречие. Что это означает? Введем эту новую переменную: время – чтобы столкнуться с очередным парадоксом ее (утопии) имени. О каком бытии утопии, даже будущем ее бытии, может идти речь, если, согласно концу времени, утопия, едва совпав сама с собой, будет уничтожена? Кроме вопроса о чистом понятии и необходимости удержать вечное противоречие, он касается конца политики вообще, если она (согласно Рансьеру) есть *допущение* о причастности непрichастных⁴⁵, которое – в противовес полиции – производит в тот момент, когда непрichастные причащаются *phone*, обобществляют его. Утопия же – это базово политический проект.

Иначе говоря, утопия перестает быть собой, быть утопией, когда возникает, когда переходит из идеи в бытие, когда «фантазия обретает коррелят в действительности»⁴⁶. Время работает на пользу утопии, поскольку именно оно, вероятно, позволяет мыслить утопию возможной и обеспечивает понятие его истиной (как актуальной перспективой): не-место, пульсирующее не-бытие, как предполагается, перестанет мерцать и обретет (в себе) тождество. И если время обеспечивает утопии необходимое разнесение (небытие – сегодня, бытие – завтра), то *вечное противоречие* обеспечивает ее вечное и чистое вещество, чистую возможность утопии, которая коренится в первую очередь в противоречии. Не обнаруживается в противоречии с безнравственностью (в негативной диалектике) – но *вообще*: противоречие вечно. Добавим два замечания к тезису.

Первое таково: мы имеем в виду, что утопия – а речь идет о *конкретной*, говоря языком Блоха, утопии, утопии, укорененной в объективной возможности – последовательно вычитает из себя наличное (в том числе всякую ложь принципов и законов, каковыми бы те ни были). Таким образом, она обращается в чистую возможность, что означает простое – в пластичный мир. Вечное противоречие полагает тотальную реконфигурацию сущего – всего сущего *и не только*: дискурсивных практик (где стабильный топос есть благо, не достающееся бедным; противоречие, таким образом, *не противоречит* тождеству) и, может быть, самого не-бытия: как в самом простом смысле – кто, кому, когда, насколько дозволяет существовать, так и в самом невероятном: речь идет о пульсирующих мирах – которые, предположим, пульсируют между бытием и не-бытием (и разносят вечное противоречие – не во времени, но в пространстве). Конец политики не означает конца веков. Конец политики означает, что ни один из благих миров а-топосов не

⁴⁵ РАНСЬЕР Ж. *Несогласие*. СПб.: Machina, 2013.

⁴⁶ БЛОХ Э. *Принцип надежды // Утопия и утопическое мышление*. М.: Прогресс, 1991. С. 49–79.

обладает преимуществом перед другими; что деконструкция гендерированной метафизики доведена до конца⁴⁷; что пластичность (в своей неравной битве с гибкостью) победила; что антиномия смерти – из-за которой *par excellence*, по мнению Адорно, утопия мыслится (в своем продуктивном изводе) *негативно* – разрешена (нам все еще не известно, *как это будет*, но потому, что мы исходим из смерти). Как старые русские космисты, мы возлагаем эту задачу на науку – и, строго говоря, не только эту задачу.

ЛОЛИТА АГАМАЛОВА
ОТ КАНТА К ФРАНКФУРТЦАМ
И *VICE VERSA*...

Время работает на пользу утопии, поскольку именно оно позволяет мыслить утопию возможной и обеспечивает понятие его истиной. И если время обеспечивает утопии необходимое разнесение, то *вечное противоречие* обеспечивает ее вечное и чистое вещество, чистую возможность утопии.

Из этого следует *второе замечание*: если утопии необходимо удерживать в себе вечное (онтологическое) противоречие, иначе говоря – если из чистой формы утопии производится противоречие, которое напрямую мешает *быть и только*, то мы обязаны найти способ обойтись именно с *такой ее формой*, согласуясь с историчностью ее безвременности и негативности и, таким образом, чистоты. Логически этот способ может быть найден. Это *разнесение*. Чтобы сконструировать невозможное утопии, которое подцепляется в диалектическом возвращении понятия «утопия» обратно к себе⁴⁸, мы можем сказать: нам строго необходимы как минимум два (утопических) мира, которые (ибо их два) могут пульсировать в не-бытии, обходя *lex contradictionis*, задействованный против самой утопии, ибо принцип ее основание.

Так вечное противоречие утопии может быть сохранено. Мы *переводим* логическую проблему (в ранневитгенштейнском изводе, где логический образ фактов есть мысль⁴⁹, а факт – все то, что имеет *место*, иначе: весь мир) в проблему физическую – миров, пульсирующих в не-бытии; утопических миров – как минимум двух. Природу, как известно, изменить гораздо проще, чем логику.

47 О метафизике, которую следовало бы также называть кодовым термином «делегация не-бытийности», не может быть ничего лучше, чем: Виттиг М. *Прямое мышление и другие эссе*. М.: Идея-Пресс, 2022. Один из тезисов: начиная с Аристотеля бытие – в таблице противоположностей – перемещается в один ряд вместе с разумом, солнцем, активностью, мужчиной и так далее. Сам апейрон оказывается в этом ряду.

48 Так как утопия обыденно мыслится как невозможная, мы возвращаем предикат в качестве чисто аналитического и указывающего на необходимость совершенно иных и, вероятно, фантастических уже сборок.

49 Витгенштейн Л. *Логико-философский трактат*. М.: Наука, 2009.

СТРОГАЯ И НЕСТРОГАЯ ОНТИЧЕСКИЕ ДИЗЪЮНКЦИИ

Но пока перейдем ко второму вопросу об «утопии» и утопии. Он будет касаться *онтической дизъюнкции*.

Под *строгой онтической дизъюнкцией* мы будем иметь в виду результат работы принципа непротиворечия в области сущего. Ее максима будет звучать так: *от любой вещи требуется быть ею и только ею самой – и никакой другой*. Это базовое требование к любой вещи. Обратное – *онтическое противоречие* – отрицает строгую онтическую дизъюнкцию и конкурирует с ней за сущее.

Онтическое противоречие обнаруживается, например, в бытии-возможности – у Николая Кузанского: «человек не отличен от льва, а небо не отлично от земли, и тем не менее каждая вещь есть истиннейшим образом она сама»⁵⁰, где *lex contradictionis* утрачивает действие, при этом (странным образом) сохраняется *принцип тождества*. В «О бытии-возможности» Кузанского также можно найти образец согласованной схемы, где бытие (то, что ёсть) и сущее (то, что ёсть), несмотря на противоречие в обоих же планах, – сомкнуты: онтологически – возможное (не-есть, но некое быть-может бытие) и действительное (строгое *есть*) сводятся через следующую аргументацию. Итак – в первой посылке: все, что есть (1), может быть (2), во 2-й: возможное (2) есть (1), следствие: есть абсолютная возможность (2) абсолютной действительности (3); онтически – это бытие-возможность предлагает сущему «единую простоту», где оно свернуто: и человек, тождественный льву, истинно он сам же. Этот согласованный трансфер обеспечивается тем, что само бытие – как бытие чего-то – снимает недиалектическое противоречие: так, допустим, солнце необходимо есть то, что оно есть (подчиняясь «земному» тождеству), но в бытии-возможности – боге – оно так же есть все свое возможное, где это «все свое» – абсолютно все; заданное бытие-возможность обеспечивает тождество⁵¹.

Как пример строгой онтической дизъюнкции оставим ту же формулу из Аристотеля – и человек, и стена, и триера, – он будет отправным.

Вопрос о необходимости строгой онтической дизъюнкции и ее ином – противоречии – вновь поднимает Мейясу⁵², под-

50 Кузанский Н. *О возможности-бытии* // Он же. *Сочинения: В 2 т.* М.: Мысль, 1980. Т. 2. С. 135–181.

51 Там же.

52 См.: Мейясу К. *После конечности...* И: «Я понимаю, что “контингентность такова, что может произойти все что угодно – даже то, что ничего не произойдет, – и все останется как есть» (с. 89). «Тем не менее я не понимаю отказа от “чего угодно” – почему инаковость, если она абсолютна, не может быть неизвестно чем. Почему контингентность не может быть ассимилирована к “чему угодно”?» (Малабу К. *Можем ли мы отказаться от трансцендентального?* // *Философский журнал*. 2018. № 1. С. 107). Вопрос, которым задается Малабу, коренится в трансцендентализме (от которого, по мнению Мейясу, следует избавиться): контингентность опирается на непротиворечие в своей структуре, превращенное в условие ее возможности.

вязывая его под общую тему – возможности онтологических перемен. Итак, в своей работе он формулирует истину *lex contradictionis* – тот обращается в трансцендентальное ограничение, обеспечивающее Совсем-Иное через вопрос, адресованный противоречивому существу: как некое сущее, которое не есть то, что оно есть, может обратиться в Совсем-Иное? Проблемы, которые будто возникают у подобного сущего с возможностью измениться, в его коллаборации со становлением: *x* не способно обратиться в *y*, поскольку и *x*, и *y* равно здесь, в единице сущего – и человек, и стена, и триера, – следовательно, такое сущее не может измениться. Но сущее обязуется быть собой, подчиняясь принципу тождества, чтобы изменение, фундированное строгой онтической дизъюнкцией, все же *обладало шансом*. Онтическое противоречие (как будто) требует контрадикторного: стать другим, но быть тем же. Гиперболизированное диалектическое противоречие будет, на первый взгляд, работать похожим образом – но у нас вновь возникает проблема со становлением, что означает: изменение не может быть резким (природа не делает скачков – и революция, если переводить на язык практик эту позицию, тоже невозможна) и изменение может произойти только внутри уже данного мира. Пафос Мейясу в том, что как-нибудь мы можем проснуться и не найти ничего онтологически привычного. Он, таким образом, фундирует революцию сверху. Может статься, в этом новом мире рыбки, играющие платоновскими идеями, производят эффект бабочки, благодаря которому гибнет частная собственность. Это неизвестно. (Но, однако, есть серьезный – и не беспочвенный – спор о том, является ли абсолют Мейясу новой «гегельянской угрозой»⁵³.)

Итак, пафос Мейясу – в необходимости обеспечить изменение. Изменение – базовая категория утопического мышления и базовое требование к миру, а также к тому, что как бы стоит над ним: капиталу, правительству. (И из требования – не исполненного ими – и рождается *настоящее изменение*). В общем, это базовое может быть выражено через максимум-убеждение – или, как мы обозначили выше, через негативный аргумент и любые его модуляции: *мир может быть другим*.

Следовательно, если *задача* – обосновать утопию через противоречие, то нам требуется обосновать и *изменение*, но без строгой онтической дизъюнкции.

Мы попробуем сформулировать аргумент от не-Всего противоречия – он также будет корректировать смежный закон, закон тождества. Попробуем – в качестве материала – взять концепт *ens rationis* (ментального сущего) – таких объектов *ума*,

ЛОЛИТА АГАМАЛОВА

ОТ КАНТА К ФРАНКФУРТЦАМ
И VICE VERSA...

53 Тоскано А. *Против спекулятивизма* // Логос. 2013. № 2. С. 81–93.

которые обладают проблематическим онтологическим статусом; в свое время к *ens rationis* прибегал и Декарт в рассуждениях о солипсизме и природе сенсительного, и Кант в рассуждениях о понятиях и их эмпирике⁵⁴.

Итак, *ens rationis* – это сущее, «объективно существующее в уме»⁵⁵, то есть *X*, что принимает свое «бытие от разума»⁵⁶, но различается в *модальных аспектах* – как, например, способное и неспособное к бытию сущее в таксономии Томаса Комплона Карлтона, представителя второй схоластики (кто наряду с Суаресом также проблематизировал *ens rationis* – в том числе как негативное бытие⁵⁷), состоящего в полемике, в частности, с Декартом. Нас же будет интересовать не столько проблема бытия подобного сущего (в средневековых терминах), но ее эвристический заряд. И он таков: ментальное сущее Томаса Комплона Карлтона есть *сущее невозможных соединений*, среди которых он очерчивает три базовые категории: 1) континуально объединенное в единую субстанциальную форму; 2) объединенное оформляющим соединением и 3) мнимое тождество; где первое – это кентавры и прочие фантастические твари, второе – к примеру, мир в форме кота, а третье – к примеру, Бриджит Бордо, тождественная колеснице Платона.

Конечно, и 2-й, и 3-й вид *ens rationes* есть сущее, *неспособное к бытию*. Но вопрос не в этом: и 2-й, и 3-й вид сущего упорядочены (различимы), что как минимум означает, что из противоречия *не следует* все что угодно (закон Псевдо-Скота), по крайней мере *с необходимостью*. Различие, о котором здесь идет речь – между тем, что есть *сейчас*, и тем, во что *может* нечто обратиться, – очевидно: это мыслимое различие и между сущими, попадающими в разные категории, и между иными мыслимыми сущими *внутри любой из категорий*. Кроме того, характерно, что эти противоречивые сущие могут быть помыслены из объектов разных порядков – как, например, в случае *оформляющей связи* – и, таким образом, в одном из мыслимых миров (если мы принимаем критику Райла, обрушившуюся на картезианского субъекта) он есть. Собственно, в уме. Отсутствии строгой онтической дизъюнкции не ведет ни к хаосу, ни ко Всему-Сразу (как утверждает Мейясу) (некому апейрону, из которого, «путем выделения противоположностей», и рождается все сущее). Не просто человек может быть по крайней мере *мыслим* в качестве себя самого, и стены, и триеры *разом*, но и этот (несчастный) человек-стена-триера может обернуть-

54 О Декарте: Койре А. *От замкнутого мира к бесконечной Вселенной*. М.: Логос, 2001. С. 100. Кант об *ens rationis*: Кант И. *Указ. соч.* С. 201.

55 Вдовина Г. *Химеры в лесах схоластики. Ens rationis и объективное бытие*. СПб.: Издательство СПбПДА, 2021.

56 Там же.

57 Вдовина Г. *Carentiae и спор о негативном бытии // История философии*. 2020. № 2. С. 16–28.

ся в мир в форме кота – или, на худой конец, в Бриджит Бордо, тождественную колеснице. Именно такую дизъюнкцию мы будем именовать *нестрогой онтической дизъюнкцией*, поскольку ее единицы не есть Все-Сразу, но нечто абсолютно конкретное, и координаты этих единиц могут быть заданы. Онтическое противоречие способно сосуществовать по крайней мере с нестрогой онтической дизъюнкцией – изменение может быть обеспечено в обход строгой. Сущее, не обязуясь быть больше собой, но при этом собой оставаясь (каждый противоречивый объект может быть *уникальным* – и самотождественным), способно обратиться в нечто совсем иное.

ЛОЛИТА АГАМалОВА
ОТ КАНТА К ФРАНКФУРТЦАМ
И VICE VERSA...

Изменение – базовая категория утопического мышления и базовое требование к миру, а также к тому, что как бы стоит над ним: капиталу, правительству.

Остается вопрос о неспособности к бытию. Мы сводим мыслимое и возможное, следуя их классической взаимообращенности, но вычитаем *представимое*. Проблема *ens rationes* – в их непредставимости, не в немыслимости. Следовательно, онтическое противоречие остается именно за ней: речь не о мышлении, но о воображении, которое *несоразмерно* понятию; которое не может подобрать образа – проблема и, может быть, благо утопии: ведь сконструировать образец, значит, ограничить, значит, не признать (или рискнуть не признать) базовой историчности и конечности разума, исходящего из множественных антиномий).

Таким образом, утопия предполагает полную онтическую реконфигурацию, которая (за вычетом блага) как минимум включает онтическое противоречие. Разве не об этом говорят бессознательные сказуемые, приписываемые утопии, – иначе что невозможного, немыслимого и непредставимого в мире без нищеты и отчуждения.

СТАРЫЙ НОВУМ: ДЕМАРКАЦИИ

Политика всегда *конкретна*. Об этом – Маркс, нападавший на абстрактную утопию, не завязанную на производственных отношениях, когда он – в своей, между тем, метафизической вере в *освобожденный труд* (вере, которую тем не менее следует фундаментализировать онтологически) – требует двигаться от, а не к утопии. Итак, кроме двух основных вопросов об утопии (не-

бытии утопии и ее *не-сущих*), мы сталкиваемся с политическим парадоксом. Каким образом она (утопия, к которой мы обращались из-за ее онто-политических обязательств, в отличие от строго модальных проблем миров) удерживает себя как момент политики, если ее понятие сказывается об *онтологически невозможном*? И как нам, автору этого очерка либо, предположим, политической партии, показать эту утопию? Как освободить утопическое благо – и освободить от чего? В поиске мы постараемся удержаться в сложной балансировке *синтетически необходимой* возможности и *аналитически необходимой* невозможности. Так, первое – *по идее* – будет отсылать к идеальному обществу без базового конфликта⁵⁸ (пока будем использовать словарное определение) и, может быть, к нарушению физических законов как отнюдь не-необходимых⁵⁹; второе – к *онтологически невозможному* (но как возможному предмету мысли – и, согласно *негативному аргументу* и его модуляциям, возможному) и непредставимому онтически (радикальное преобразование всех сфер жизни). Онтологически невозможное также может подразумевать, что могут существовать утопические миры, по которым возможны перемещения. Запомним этот тезис. Наряду с негативным аргументом и способностью мыслить предмет онтологически невозможной утопии – это наш ближайший возможный выход. Не будем (отметим отдельно) забывать про *аналитическое* благо утопии – *ei*. Все, что было нами перечислено, сходится в понятии новизны еще не-бывшего.

Последнее означает: утопия может быть левой и *только левой*. Не может быть никаких правых утопий, ибо утопия требует новизны.

Итак, имея в виду все это, мы ставим перед собой задачи:

1. *Секуляризировать* благо – и обосновать, почему утопическая максима «мир может быть другим» – простейшая форма негативного аргумента – именно утопическая, а не, к примеру, *религиозная*, которая может иметь конъюнктивную связь между ценностно-разными мирами – «другой мир [благой] есть» (наряду с этим); и шире – не эсхатологическая максима (в секуляризованном изводе: мотив, популярный со времен Блоха и Беньямина⁶⁰).

2. Разрешить политический парадокс: что можем мы пред(о)ставить? И, что имеет крайне важные следствия, – что можем

58 MORRIS J. M., KROSS A. L. *The A to Z of Utopianism*. Lanham: Scarecrow Press, 2004.

59 Об этом см., например: Мейясу К. *Метафизика и внеаучная фантастика*. М.: HylePress, 2021; а также основную, не раз уже упомянутую, работу Мейясу. Кроме того, отметим, что противоречие как таковое уже было переразмечено нами как физическая проблема (возможных миров).

60 Об этом см., например: Болдырев И. *Время утопии: проблематические основания и контексты философии Эрнста Блоха*. М.: Издательский дом ВШЭ, 2012.

мы пред(о)ставить против религиозной максимы, которая *как будто* может иметь похожую форму? – И это на фоне того, что *невозможное* религии намного более присуще; отсюда – попытки изобрести всевозможные религии труда и прочее, что опирались бы не на *common sense*, а на имманентное разуму желание ловли легкокрылых голубей, которых Кант предлагал отпустить на волю.

Попробуем обратиться к *политэкономическому* предварению к утопии⁶¹. Несмотря на то, что социализм обозначил себя идущим от утопии к науке и это следом подхватил Альтюссер, под конечной целью социализма мы будем иметь в виду коммунистическую утопию, подразумевая свободный – освобожденный – труд, упразднение частной собственности, отсутствие нищеты *et cetera*. И так, это предварение имеет две базовые характеристики: во-первых, оно обращено к конструированию или обнаружению *имманентных* условий в пользу утопии и, во-вторых, несмотря на то, что речь идет об этих условиях, утопия – как цель и проект – представляет собой неизвестный *X*. Так, чтобы утопия исполнилась, необходимо обеспечить ей *недостающее*: время и место – иначе: *разнесение*, о котором мы говорили выше. Добавим: утопия – это *политический проект*. Но Маркс и Энгельс критиковали ее за то, что ни Мор, ни Бэкон, ни Кампанелла – ни Фурье и Сен-Симон – никто не мог сообщить, *как туда попасть*. Несмотря на это, утопия по своей структуре имеет в качестве почти трансцендентального условия некоторое разнесение – либо по месту, либо во времени. Но переход – *принцип перехода* – необходим. Отчасти принцип перехода обеспечивает идею (любой *идее*) о будущем ее не-теологическую перспективу. И, в-третьих, базовой фигурой, ведущей к «утопии», является диалектическое противоречие; именно оно обеспечивает взрывное столкновение классов в пользу *X*, где *X* – это идеальное общество без базового конфликта, но ничего иного об этом *X* (кроме отсутствия бедности и наемной работы) опять же не известно: ни будущих потребностей, ни, следуя букве Маркса, будущих возможностей⁶². Но этот – назовем его так – *анклав*, неизвестный *X* (вспомним Адорно и историчность разума) *регулирует* общее движение наряду с базовой идеей о коммунизме как без экономического насилия (в первую очередь) и (во вторую) в свободном творчестве всех. Общее движение – это собрание волевых субъектов. «Помните, – сказал Ленин в 1917-м в обращении, будучи Председателем Совета Народных Комиссаров, – что *вы сами* теперь управляете государством. *Никто вам не поможет*, если *вы сами* не объединитесь и не возьмете все дела государства

ЛОЛИТА АГАМАЛОВА

ОТ КАНТА К ФРАНКФУРТЦАМ
И VICE VERSA...

61 Маркс К., Энгельс Ф. *Немецкая идеология* // Они же. *Собрание сочинений*. М.: Политиздат, 1955. Т. 3.

62 Там же.

в свои руки»⁶³, – таков его образец: вы сами – в свои руки – и никто. Принципиально в утопии то, что она рукотворна. Теперь мы можем обозначить два типа разнесения: *разнесение первого типа, которое осуществляет перевод логической проблемы в физическую*, и разнесение второго типа, *трансцендентальное условие* (самого понятия) утопии, где это последнее – принципиальная рукотворность *будущего* как части, точки *объективного времени*. Оба разнесения тем не менее негативны: коммунизм не может представить себе ни пролетарий, ни буржуа. К общей негативности утопии мы можем добавить запрет на ее образ. Любой ее образ будет ограничен адорнианским историческим (и, следовательно, *безнравственным*) разумом. Так, когда в 1892-м Кропоткин скажет: «революция не только сдержит свои обещания, но она сделает больше того»⁶⁴, – на любое обратное утверждение мы будем готовы ответить, имея в виду негативный аргумент и кольцо утопии: нельзя мыслить утопию, не мысля утопию: и сказал безумец в сердце своем: «Бога нет». Речь идет о революции – *и таково условие*: она может быть свершена только теми, кто взял дела в свои руки. Не богом и иными небесными силами.

Таким образом, утопию – о каком бы невозможном та ни сказывалась – будет отличать от любой другой идеи об ином ее *не-теологическая* – и даже не секулярная, но антитеологическая – перспектива, и это, несмотря на любую аналитику ее имени и фантазий об этом месте или не-месте. Неизвестное же как гносеологическое состояние субъекта по отношению к утопии как непредставимой, отвечающее вместе с идеальным обществом ценностному условию новизны – это по-прежнему полная онтологическая реконфигурация, включающая в себя – как минимум – онтическое противоречие. Несмотря на то, что на проблему *политического парадокса* мы можем ответить следующим образом: «чистое понятие утопии регулирует общее движение наряду с идеей об обществе без экономической нужды и в свободном творчестве и труде» – мы добавим кое-что напоследок, чтобы отмежеваться от религии и консерватизма.

Разговор о капитализме как о религии имеет давнюю историю. Вебер – с «Протестантской этики и духа капитализма» и в пик у Марксу – скажет, что этот своеобразный «дух» есть то, что воспитывал в пастве Кальвин: секуляризованный дух рачительной бережливости, умноженный на секуляризованное же призвание Лютера⁶⁵. В свою очередь Беньямин – в черновике «Капитализм как религия» – добавит, что капита-

63 Ленин В. *Обращение Председателя Совета Народных Комиссаров к населению* // *Декреты Советской власти* (www.hist.msu.ru/er/etext/dekret/k_nasel.htm).

64 Кропоткин П. *Хлеб и воля*. СПб.: Голос труда, 1919.

65 ВЕБЕР М. *Протестантская этика и дух капитализма*. М., 2021.

лизм *сам по себе* представляет религию, но другую⁶⁶. Концепт «невидимой руки рынка» найдет свой исток в Провидении⁶⁷. Список можно продолжить. Несмотря на все попытки секуляризации религии и религиозной веры – в частности, Беньямин в «О программе грядущей философии» будет призывать эту последнюю к, как казалось, обновлению кантианской мысли с тем, чтобы та вместила в себя или, точнее, нашла, к примеру, априорные формы религиозного опыта⁶⁸, – или Блох и другие о Томасе Мюнцере⁶⁹, Мангейм, который не мог не отметить – в своей концептуализации утопии как – в пику идеологии – трансцендирующей, против последней как стабилизирующей текущее – что утопии, как кажется, – в том числе религиозные⁷⁰. Но мы будем настаивать, что – нет. Противоречие – это родовое противоречие – которое несет в себе утопия, *вечное противоречие* – несмотря на то, что также утопия имеет в себе разнесение, но синтетическое – благо прибавляется к вечному противоречию как эквивокация, омофон – обеспечивая, кроме негативного аргумента, *кольцо утопии*: нельзя мыслить утопию, не мысля утопию и только утопию, – по сути своей антирелигиозно.

Но, чтобы утопия обрела плоть и не предала себя, будем разносить ее топосы по мирам. Противоречие должно быть удержано как вечное. Но и не будем забывать о разнесении утопии. Разнесение – как *синтетическое* – дело рук субъекта, согласно синтетической же *земной* ее направленности. Но космической, впрочем, тоже.

Но при этом – необходимо добавить заранее – мы *все же* будем условно называть утопиями фантастические миры, обитаемые теологическими сущими, – это потребует нам для того, чтобы использовать эвристическую силу всех.

Итоги

Попробуем очертить краткие итоги. Итак – утопия как *чистое понятие* сказывается об онтологически невозможном и онтически непредставимом; при этом утопия возможна как предмет мысли (иначе – мыслима, согласно любому аргументу от мыслимости: мы имеем *негативную репрезентацию* объекта под именем «утопия», где утопия есть то, что удерживает

66 Беньямин В. *Капитализм как религия* // Он же. *Учение о подобии. Медиаэстетические произведения*. М.: РГУ, 2012. С. 100–109.

67 Хиршман А. *Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность*. М.: Издательский дом ВШЭ, 2010.

68 Беньямин В. *О программе грядущей философии* // Он же. *Учение о подобии...* С. 31–52.

69 См.: Вершинин С. *Эрнст Блох – жизнь и творчество* // Блох Э. *Тюбингенское введение в философию*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1997.

70 МАНГЕЙМ К. *Указ. соч.*

в себе вечное противоречие) и согласно *негативному аргументу* и модуляциям (есть безусловное знание о том, что *мир может быть другим* – это знание *негативно* и только утопично – и противоречие есть рубеж концептуализации). *Кольцо утопии* (невозможно мыслить утопию, не мысля саму утопию), которое опирается на омофон *ea*, или на удвоение утопии, – обеспечивает четкий рубеж между утопией и ГУЛАГом.

Знание о возможности другого мира есть абсолютно чистое знание. Таким образом, утопия по-прежнему возможна. Как чистая и абсолютно негативная утопия. Как другой мир, *который не может быть невозможен*.

Противоречие – только форма *доступа* к нему. Непредставимое утопии (онтическое противоречие) может курсировать по категориям противоречивого сущего, и резкое изменение может быть обеспечено. Но непредставимое значит (в первую очередь) полную онтическую реконфигурацию. Кроме того – утопия может быть только антирелигиозной; это кольцо утопии *plus* необходимость удерживать вечное родовое противоречие. Это последнее может быть удержано в качестве вечного через пульсацию в бытии множественных миров – миров под знаком утопии, сохраняющих истину негативности и запрета на изображение. Мы попробуем сконструировать эти невозможные пульсирующие миры. Но в иной работе. Но утопия, как и революция, не единовременный слом – это решение.

Космотехника и космоопера «Mass Effect»: будущее, смерть и выход из капитализма

САМСОН
ЛИБЕРМАН

Существует традиция понимания негативности и смерти как моментов самой реальности, ее предельного выражения. Ромео и Джульетта, звезда рок-н-ролла, герой войны – все они должны умереть, чтобы их подлинная сущность (любовь, музыка, подвиг) реализовалась. Смерть как пиковое, предельное состояние подразумевает жертвенность: частное, повседневное, временное отбрасывается перед лицом всеобщего, абсолютного и вечного. Чтобы стать богом, нужно умереть.

В контексте проблемы будущего мотив смерти как предельного самовыражения соотносится с презентизмом как господствующим сегодня режимом историчности¹. Если смерть – это лишь экстремальное воплощение существующего, альтернатив настоящему не остается. Сбывающаяся через смерть реальность превращается в безальтернативную, рекурсивную, вечно возвращающуюся к себе тотальность. Капитализм, приручив свою смерть, стал вечным настоящим.

ВЫТЕСНЕНИЕ СМЕРТИ – ВЕЧНОЕ НАСТОЯЩЕЕ ПОЗДНЕГО КАПИТАЛИЗМА

Вытеснение смерти в эпоху позднего капитализма не раз становилось предметом как исследовательского², так и художественного критического интереса. Можно вспомнить роман Дона Делилло «Белый шум», который не так давно экранизировал Ноа Баумбах. В центре сюжета – профессор с идеальными (на первый взгляд) семьей/работой/достатком, мучимый, однако, еле заметной, но постоянной тревогой. Причиной последней оказывается страх смерти, постоянно присутствующий на периферии его сознания словно «белый шум». Вытесненная

- 1 См.: Артог Ф. *Порядок времени, режимы историчности* // Неприкосновенный запас. 2008. № 3(59). С. 19–38 (<https://magazines.gorky.media/nz/2008/3/poryadok-vremeni-rezhimy-istorichnosti.html>).
- 2 Кроме цитируемых ниже работ Филиппа Арьеса, Славоя Жижека, Жана Бодрийяра, Жан-Люка Нанси и Эммануэля Левинаса, необходимо вспомнить также и небольшой текст Вальтера Беньямина «Капитализм как религия», где он связывает вменяемые капитализмом долг/вину и «умерщвляющее» нас, «истребительное познание»: Беньямин В. *Капитализм и религия* // Он же. *Учение о подобии. Медиаэстетические произведения*. М.: РГГУ, 2012. С. 100–108.



Самсон Александрович
Либерман (р. 1993) –
доцент кафедры социальной философии Казанского (Приволжского) федерального университета,
автор телеграм-канала
«Локус» (@locus_vocis).

смерть становится заметной только при столкновении с реальной катастрофой – неподалеку случается утечка пестицида, и над городом, где живет главный герой, повисает облако токсичного газа.

Наряду с вытеснением смерти существуют формы ее одомашнивания и приручения. Славой Жижек, анализируя «Солярис» Тарковского и «Меланхолию» Ларса фон Триера, показывает это на примере разницы между классической трагедией и массовым кино³. Если трагедия – это попытка контролируемо пережить опыт смерти как опыт крушения реальности и привычных горизонтов (собственно катарсис), то массовое кино – это включение смерти в структуру привычной реальности. Жертвы всегда оказываются ненапрасными – они оправдываются некоторой абсолютной целью, например, победой над врагом или созданием устойчивой семейной пары. Приторный *happy end* вовсе не обязателен, но позитивное разрешение конфликта необходимо. В общем, в то время как трагедия (Иов, Эдип, Гамлет *and so on, and so on...*) мыслит смерть в качестве травматичного, но неизбежного вторжения радикально внешнего, то одним из ведущих мотивов культуры (пост)модерна оказывается элиминация внешнего, его доместикация. Смерть существует как некоторое малое зло, как цена, которую необходимо заплатить за реализацию абсолюта в существующем. Чтобы семья/народ/государство/человечество выжили, необходимо, чтобы кто-то пожертвовал собой.

Речь идет о своего рода фильтрации: все потустороннее и внешнее из смерти вытесняется, а то, что может принести пользу существующему, остается. Безальтернативное, бессмертное, вечное настоящее капитализма становится возможным благодаря способности последнего включать внешнее в свою структуру, «переваривать» собственную смерть.

При этом одомашнивание смерти не является специфической чертой (пост)модерна. Так, например, Филипп Арьес настаивал, что «прирученность» смерти – это характеристика именно традиционного отношения к последней и это отношение «противоречит нашему [современному] восприятию, где смерть внушает такой страх, что мы уже не осмеливаемся произносить ее имя»⁴. В некотором смысле культуру в целом можно считать «проработкой» травмы смерти – археологи определяют, являются ли найденные стоянки человеческими, в том числе по наличию погребений. Актуальная и сегодня метафорика смерти, отсылающая к сельскохозяйственным практикам сбора урожая (серп, коса), имеет докапиталистический исток. Мифопоэтические традиции самых разных культур об-

3 Жижек С. *Событие. Философское путешествие по концепту*. М.: РИПОЛ Классик, 2012. С. 30.

4 АРЬЕС Ф. *Человек перед лицом смерти*. М.: Прогресс-Академия, 1992. С. 59.

наруживают общие мотивы циклической смены умирания и воскрешения (растений, природы, богов, мира в целом). Идею жертвоприношения также можно трактовать как попытку торговать со смертью, откупиться от нее. Наконец, стремление сделать смерть понятной и даже плодоносящей можно заметить и в философских рассуждениях древних.

Однако капиталистические отношения со смертью принципиально иные, модерн склонен представлять смерть исключительно как постороннее событие, отфильтровывая все внешнее. Традиция пыталась регламентировать смерть, дать ей имя, сделать ее заметной и узнаваемой. Это было нужно, чтобы ограничить ее влияние, отделить от обыденной жизни, «свернуть» в ритуал и символ, с которыми можно впоследствии работать. Однако эти символы и ритуалы оставались на виду, они присутствовали в жизни, пусть молчаливо и отстраненно. Модерн же скорее пытается стереть это символическое измерение, переплавить колокола в пушки, построить на костях жилой комплекс и так далее.

Филипп Арьес приводит большое количество исторических свидетельств близких и интимных отношений со смертью в до-модерном прошлом – человек традиционной культуры не боится смерти, он к ней готов и целиком принимает ее. Смерть приручается через (условно христианскую) концепцию личного спасения или (условно мифологическую) концепцию посмертного существования. Модерные же отношения со смертью более противоречивы и травматичны: смерть больше не является переходом к некоторому внешнему – наоборот, она является инструментом реализации постороннего абсолюта. Как иронично замечает Жан-Люк Нанси:

«Со времен Лейбница нет больше смерти в нашей Вселенной: так или иначе, абсолютная циркуляция смысла (или ценностей, целей, истории...) заполняет и поглощает всякую предельную негативность, извлекает из каждой единичной законченной судьбы прибавочную стоимость человечества или бесконечного сверхчеловечества. Точнее, допускает смерть всех и каждого в бесконечной жизни»⁵.

Таким образом, (пост)модерная форма приручения смерти парадоксальным образом связана с вытеснением, с невозможностью личной смерти, с превращением ее в ресурс, необходимый для существования некоторого постороннего абсолюта. Явленный в этом мире, а потому хрупкий абсолют нуждается в постоянной подпитке человеческими (в том числе и посмертными) усилиями.

5 Нанси Ж.-Л. *Непроизводимое сообщество*. М.: Водолей, 2011. С. 41.

Популярная трилогия компьютерных игр «Mass Effect» неплохо иллюстрирует все вышесказанное. Смерть здесь предстает в образе вторгающихся из «темного космоса» разумных машин, внешне напоминающих то ли треножники из «Войны миров» Герберта Уэллса, то ли водяных клопов. Персонажи игры почти сразу начинают называть их Жнецами или Пожирателями (*Reapers*), что и позволяет нам считать их образ как метафору смерти.

{ (Пост)модерная форма приручения смерти парадоксальным образом связана с вытеснением, с невозможностью личной смерти, с превращением ее в ресурс, необходимый для существования некоторого посюстороннего абсолюта.

Целью игры является победа над Жнецами. Прохождение имеет три возможные концовки: «подчинение», «уничтожение» и «синтез». В первом случае вы подчиняете Жнецов галактическому сообществу, а смерть – разумной жизни. Во втором – просто «выключаете» смерть. В третьем – технология и жизнь берутся за руки и живут долго и счастливо. Последняя как будто бы должна быть самой интересной (достичь ее сложнее всего). На сюжетно-игровом уровне это выглядит как демократическое сосуществование органиков и синтетиков, роботы включаются в галактическое сообщество на равных. Однако на метафорическом уровне сосуществование со смертью подменяется ее подчинением и включением в настоящее – опция «отпустить смерть восояси» игроку не предоставляется. То есть третья, «синтетическая» концовка по своей сути очень напоминает первую с «подчинением», отличие только в форме власти: в первом случае она реализуется через прямое насилие, во втором – через принципы либеральной демократии.

Во всех вариантах смерть выводится из темного космоса на солнечный (и других звезд) свет. Этот мотив расколдовывания и прояснения свойствен научной фантастике в целом, где, по аналогии с детективом, нечто необъяснимое и загадочное в итоге оказывается объяснимым и профанным, а в пределе – поставленным на службу науке и человечеству (галактическому сообществу). Если классический нарратив – это путешествие туда и обратно, а герой непременно возвращается из царства мертвых, то тут мы скорее имеем дело с колонизацией этого царства.

Главной отличительной особенностью «Mass Effect» является персонажность Смерти. ТехноСмерть в лице Жнецов ак-

тивна, разумна; она в буквальном смысле является внешней и чужой человечеству. Вторжение внешнего – это не просто фон, на котором разворачиваются эндогенные межличностные конфликты, столкновения элит и расовые войны. Внешнее здесь опознается в качестве одной из сторон базового антагонизма. В этом отношении трилогия ближе к жанру ужасов, в котором всегда есть место персонифицированным Другому и Чужому; тогда как в научной фантастике неизвестное почти всегда оказывается безличной силой, системой или контингентным сбоем – в любом случае оно является предметом научного интереса, а не экзистенциальным переживанием личной встречи. Хотя здесь этот Чужой в конце оказывается побежден или даже подчинен существующим порядком.

Такая двойственность смерти (она потусторонний активный персонаж, но ее друговость покоряется и заземляется) может дать нам представление об основном противоречии, содержащемся в идее будущего. Будущее – так же, как и смерть, – является некоторым фронтиром, пограничьем. С одной стороны, оно, по определению, отличается от настоящего, с другой, – является его прямым порождением и следствием. Смерть в этом смысле можно считать предельным выражением этой двойственности будущего как границы между внутренним и внешним, существующим и другим.

Бодрийяр объясняет это различие между (пост)модерным и традиционным отношением к смерти экономически, на примере отношений дара и обмена⁶. Экономика дара подчеркивает различие, отношения выстраиваются в некотором смысле случайно. На дар необходимо отвечать, однако ответ никогда не может быть полностью соразмерен первоначальному дару – поэтому, например, кровная месть не может быть завершена окончательно, но только временно приостановлена соглашением. Обмен же работает в логике эквиваленции, когда один товар полностью может быть выражен в денежной форме и приравнен к другому товару.

Логика всеобщего обмена позволяет калькулировать на единой доске подсчетов прежде несовместимое и несводимое друг к другу. Единственное, что сопротивляется такому обмену, по мнению Бодрийяра, это смерть. Поэтому она «вытесняется» из обыденной жизни: теперь следует просто ловить момент, без неприятных «тементо». Именно этим вытеснением французский философ объясняет шок от 9/11, когда западному миру смерть предстала во всей своей символической мощи. Дело тут не столько в количестве жертв и не в продемонстрированной уязвимости западного образа жизни (как было у Делилло),

САМСОН ЛИБЕРМАН

КОСМОТЕХНИКА
И КОСМООПЕРА
«MASS EFFECT»...

6 Бодрийяр Ж. *Дух терроризма. Войны в заливе не было*. М.: РИПОЛ Классик, 2016. С. 105–107.

сколько в готовности террористов идти на смерть ради неочевидного и негарантированного результата.

Показательны обвинения в трусости, которые американские власти предъявляли террористам, о чем подробно пишет Бодрийяр⁷. Вряд ли эти террористы умерли потому, что испугались наказания. Наоборот, это мы испугались их готовности умереть ради своих идеальных, неизмеримых посюсторонним целей. Именно поэтому смешными кажутся попытки представить их действия как практичный расчет и стремление «увеличить число девственниц, которые будут их обслуживать на небесах»⁸. Напротив, шок от 9/11 связан с символическим измерением события, с непросчитываемой абсурдностью действий террористов.

Традиция работала со смертью как с границей между этим миром и тем. Переход в иной, альтернативный настоящему, мир был возможен только через смерть. Модерн – попытка перехода в иной мир в обход собственной смерти (реализация утопии, царства божьего на земле), попытка – в результате которой мы оказались живущими на самой этой границе. Живые мертвецы – расхожий образ массовой культуры, призванный показать ущербность подобной формы существования.

Именно поэтому, мотив вторжения потусторонних Жнецов в «Mass Effect» кажется таким необычным. Несмотря на неизбежность победы межгалактического разума над внешней угрозой, персонажность смерти выбивается из общей парадигмы приручения/вытеснения. Помимо расхожего сюжетного хода с неверием окружающих (половину игрового времени мы пытаемся убедить остальных в реальности угрозы), важно, что смерть здесь еще и вполне разумна, у нее есть лицо, мотивы и цели. И самая интересная часть игрового процесса связана с попытками разгадать их, наладить контакт с потусторонним.

ТЕХНОСМЕРТЬ, ТЕХНОКАПИТАЛ И КОСМОТЕХНИКА

В ходе развития сюжета мы узнаем, что Жнецы регулярно (примерно каждые 50 000 лет) вторгаются в нашу галактику для истребления разумной жизни. Чтобы облегчить «сбор урожая», машины создали особую сеть ретрансляторов, которая позволяет мгновенно перемещаться между ними. Эта сеть остается и после ухода машин и каждый раз заново открывається очередными формами разумной жизни. Поэтому развитие цивилизаций в некоторой степени предопределено этой

⁷ Там же. С. 113.

⁸ Фукуяма Ф. *Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия*. М.: Альпина Паблишер, 2019. С. 37.

доставшейся в наследство космической технологией, мощь которой полностью раскрывается только с появлением Жнецов.

Смерть здесь накрепко сцеплена с технологией, инструментальность которой является только прикрытием ее подлинной смертоносной сущности. На самом деле не люди (или другие инопланетные расы) управляют технологией, но, наоборот, технология ведет пользователей к своим подлинным хозяевам. Эта сцепка характерна для киберпанка в целом, но техноалармизм последнего всегда сопровождается утопическими ожиданиями. ТехноСмерть в киберпанке вторгается не просто из глубин космоса или параллельной вселенной, а из будущего. Например, в «Терминаторе» Джеймса Кэмерона ТехноСмерть буквально создает своим вторжением возможность собственного существования, создает сама себя⁹. Киберпанк переворачивает привычные капиталистические отношения жизни и смерти, настоящего и будущего. Именно последнее теперь одомашнивает настоящее, а не наоборот. В киберпанке Смерть – внешний захватчик и колонизатор. При этом, как показывает Ник Ланд, этот внешний захватчик одновременно является и внутренней функцией самого капитала. В «Вытворяя это со смертью» Ланд пишет:

«Тайна капитала-как-процесса состоит в его несоизмеримости с задачей сохранения буржуазной цивилизации – цивилизации, вскакивающей на него, как карлик на дракона. [...] Если капитал – общественная машина суицида, то лишь потому, что он сам благоприятствует своим убийцам»¹⁰.

В общем, вторжение ТехноСмерти Ланд рассматривает не как возможность преодоления капитализма, но, наоборот, как его окончательное пришествие и свершение. «Капитализм еще не наступил», то есть существующий миропорядок является только протокапитализмом. Радикализуя концепт утопии (и/или антиутопии), Ланд понимает конец истории буквально как конец света, совпадение желаемого и действительного, рождение посюстороннего машинного бога. Полная актуализация ТехноКапитала – это тепловая смерть, своеобразная версия бытия-шара Парменида, в котором все едино, неподвижно и неизменно.

9 Главная миссия Терминатора, как мы узнаем из второй части франшизы, не убийство Сары Коннор, но забрасывание технологии из будущего в настоящее. Именно благодаря оставшейся от первого робота руке, ученые смогли разработать «Skynet», тот самый смертоносной искусственный интеллект, ответственный за восстание машин. Он же принимает решение о заброске первого терминатора, то есть буквально создает сам себя, запуская свою невидимую виртуальную «руку рынка» из будущего в настоящее. На кадре с ползущей автономной рукой, пытающейся зацепиться за Сару Коннор, заканчивается первая часть. На кадре с рукой, показывающей большой палец, заканчивается вторая.

10 Ланд Н. *Вытворяя это со смертью: заметки о Танатосе и желающем производстве* // Он же. *Сочинения. Т 2: Киберготика*. Пермь: Гилей Пресс, 2018. С. 11.

САМСОН ЛИБЕРМАН

КОСМОТЕХНИКА
И КОСМОопера
«MASS EFFECT»...

Такая идея имманентного абсолюта может напомнить гегелевский проект философии. Как и в случае с немецким классиком, нам важен здесь не столько консервативный мотив оправдания существующего миропорядка, сколько революционный – овнешнение смерти, техники, капитала и будущего. Правда, у самого Ланда (как в определенном смысле и у Гегеля) смерть как движение и революционность подчинена смерти как финальному совпадающему с собой абсолюту, тепловой смерти. Различие является моментом тождества. Последнее разворачивается как некоторое линейное (пусть и направленное у Гегеля и Ланда в разные стороны) движение, приводящее к некоторому финалу (пусть и виртуальному). Однако такое – условно диалектическое представление о тождестве – дает простор для иных интерпретаций, в том числе тех, что представлены, например, в «Негативной диалектике» Теодора Адорно. Здесь претензии на финальный синтез объявляются необоснованными¹¹. Для франкфуртца скорее тождество является моментом абсолютного различия, чем наоборот. Хорошую иллюстрацию такому пониманию тождества и различия можно найти в размышлениях Клода Леви-Стросса о близнецах: тождество последних не абсолютно, оно пронизано минимальным различием¹².

Также и понимание капитализма как виртуального, «еще не случившегося» почти сразу же рождает альтернативные левые версии ландовского акселерационизма. Прежде всего тут необходимо вспомнить манифест Ника Срничека и Алекса Уильямса. Согласно их взгляду, делёзовский жест детерриторизации, то есть дестабилизации и радикализации противоречий, существующих сейчас в некотором «обезвреженном» виде, приводит не к утверждению некоторой абсолютной тотальности, тепловой смерти, но, наоборот – к неопределенности и всевозможности. Этот мотив открытости неизвестному и отказ от утопического как предопределенного присутствует и в «Вопросе о технике в Китае» Юка Хуэя.

Вторжение Жнецов удобнее интерпретировать именно через концепт космотехники последнего, чем через ландовский ТехноКапитал. Несмотря на очевидные параллели – сцепка техники и смерти, субъектность (божественность) технического, – в трилогии отсутствует эсхатологический (гегельянский) мотив необходимости и предрешенности линейного прогресса. Жнецы скорее являются пробудившимся древним злом, чем пришельцами из будущего. Неизбежность смерти, неотвратимость вторжения «Древних машин» здесь обосновывается скорее традиционалистски, чем прогрессивистски, то есть скорее

11 Адорно Т. *Негативная диалектика*. М.: Научный мир, 2003.

12 LÉVI-STRAUSS C. *Histoire de Lynx*. Paris: Plon, 1991.

через вечность и цикличность, чем через будущее и прогресс (хотя в концовке эта цикличность снова вписывается во вполне линейный нарратив с началом и концом).

Во многом это связано с жанром: «Mass Effect» (так же, как и «Терминатор» Кэмерона) является продуктом массовой культуры, где герой всегда так или иначе призван защитить настоящее, восстановить нарушенный *status quo*. Поэтому, в отличие от классики киберпанка, с которой работал Ник Ланд (трилогия Уильяма Гибсона «Киберпространство»), смерть так или иначе должна быть отложена, побеждена или просто проигнорирована. И зачастую в самом «Mass Effect» это выглядит почти неубедительно и нелепо.

Однако, кроме возможности прикрутить концовку с приручением/вытеснением смерти, такое отсутствие линейной эсхатологии позволяет мыслить ТехноСмерть вне рамок необходимости прогресса и капитализма. И здесь концепция космотехники Юка Хуэя оказывается, как никогда, кстати.

Юк Хуэй развивает положение Хайдеггера о технике как о таком – специфически современном – отношении к миру, которое определяет этот последний в качестве «состоящего-в-наличии», то есть в качестве ресурса и инструмента. И так же, как и Хайдеггер, он настаивает, что такая техника не является единственно возможной формой мировоззрения, мало того – она вредна и неполноценна. Но если немецкий философ предлагает вернуться к единственному подлинному древнегреческому «техне», то Юк Хуэй настаивает на существовании множества разных техник как форм деятельного отношения к миру (то есть собственно космотехник). Именно в техноразнообразии, в раскрытии возможностей собственных космотехник разными культурами он видит путь преодоления существующего капиталистического кризиса.

Космотехника – это способ деятельного отношения к миру, включающий в себя моральный и космологический аспекты. Хайдеггеровский постав (ресурсное капиталистическое отношение) – только одна из космотехник, европейская, которая в силу ряда причин стала доминирующей в мире. Капитализм как космотехника основан на особой космологии и онтологии, в том числе на специфическом представлении о времени. Это представление Юк Хуэй связывает с геометризованным пространством, то есть с линейностью¹³.

Именно представление о времени как промежутке между точками позволяет мыслить историю как нечто однородное и направленное и порождает логику приручения/вытеснения

САМСОН ЛИБЕРМАН

КОСМОТЕХНИКА
И КОСМООПЕРА
«MASS EFFECT»...

13 Хуэй Ю. *Вопрос о технике в Китае. Эссе о космотехнике*. М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. С. 187. (См. рецензию на эту работу: ЛИБЕРМАН С. *Китайская космотехника и русский космизм* // Неприкосновенный запас. 2023. № 4(150). С. 188–202. – Примеч. ред.)

смерти. С этой точки зрения, ландовский акселерационизм (равно как и его левый извод) страдает от того же недуга: от стремления вписать случайное, контингентное, событийное в единый гомогенный нарратив. Трагедия и ужас, став моментами эпоса, то есть линейного повествования о похождениях и победах героя, заземляются и теряют возможность говорить о смерти как о потустороннем. Вечное настоящее (пост)модерна связано не только с вытеснением смерти и будущего, но и с представлением о них как о частных моментах некоторого линейного движения. В традиционном представлении смерть – прекращение движения и выход из этого мира, тогда как в капиталистическом – любая негативность вписана в посюстороннюю тотальность. Как пишет Александр Кожев, гегелевский проект философии уникален тем, что мир в нем понимается не как субстанция, а как субъект. Смерть же – форма существования такого мирового субъекта, последний вечно отрицает сам себя и возвращается к себе, умирает и воскресает. Именно благодаря этому включению негативности в посюстороннее никакого внешнего у имманентного гегелевского абсолюта не остается¹⁴.

Вечное настоящее (пост)модерна связано не только с вытеснением смерти и будущего, но и с представлением о них как о частных моментах некоторого линейного движения. В традиционном представлении смерть – прекращение движения и выход из этого мира, тогда как в капиталистическом – любая негативность вписана в посюстороннюю тотальность.

Таким образом, Жнецы в «Mass Effect» интересны именно своей хоррор-составляющей, способностью разрывать посюстороннюю субъектную тотальность. Юк Хуэй объясняет связь техники и времени как событийную и контингентную, линейное время – это элемент только одной из множества космотехник. Тогда как в киберпанке наоборот: техника вписана в линейный прогресс, пусть и в качестве главного действующего лица. Вторжение Жнецов не просто вторжение ТехноСмерти из будущего – это к тому же ее восстание из прошлого. Эволюция, прогресс и прочие линейные представления о времени оказываются вписанными в цикл жизни и смерти. Последний детерминирован технически и периодически перезапускает-

¹⁴ Кожев А. *Идея смерти в философии Гегеля*. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 1998. С. 131–201.

ся, подобно тому, как из технических соображений время от времени приходится чистить и «перезапускать» домашний аквариум. Цикл – это, конечно, тоже тотальность, но теперь эта тотальность окончательно овнешнена. Так как «выход из аквариума» для нас затруднен, то наши спекуляции о природе Жнецов и Смерти всегда остаются только домыслами; такими спекуляциями-домыслами мы и занимаемся на протяжении всего развития сюжета игры. Именно поэтому, когда в конце третьей части ТехноСмерть оказывается побеждена и объяснена, то есть приручена (буквально через синтез), мы испытываем разочарование.

САМСОН ЛИБЕРМАН

КОСМОТЕХНИКА
И КОСМООПЕРА
«MASS EFFECT»...

ВТОРЖЕНИЕ БУДУЩЕГО И ЛОГИКА СОБЫТИЯ

Для Юка Хуэя очень важно искать иные, нелинейные формы концептуализации времени. В этих поисках он обращается не только к традиционной китайской космотехнике, но и к концепции случайности у Аристотеля. Последний вводит различие между двумя ее формами – *automaton* (самопроизвольность) и *tychē* (собственно случай, судьба, событие):

«Самопроизвольность имеет более широкий охват: все случайное [в то же время] самопроизвольно, а последнее не всегда случайно. [...] Мы говорим “самопроизвольное” [или “само собой”], когда среди [событий], происходящих прямо ради чего-нибудь, совершается нечто не ради случившегося, причина чего лежит вовне; а “случайно” – о [событиях], происходящих самопроизвольно, но по выбору у [существ], обладающих способностью выбора»¹⁵.

В общем, самопроизвольность-*automaton* господствует в природе, она вполне обыденна, может быть описана и даже предсказана, например, статистически. Человек же иногда оказывается во власти *tychē*, случая, который не может быть предсказан, поскольку он нарушение любых предсказаний и ожиданий.

Парадокс события и судьбы сильно занимал древних греков. С одной стороны, судьба, по определению, неведома, и это незнание делает судьбоносное событие возможным. Как описывает это сам Юк Хуэй: если бы мы знали, что самолет упадет, мы на него не сели бы. С другой стороны, *post factum* событие оказывается возможным, благодаря предположению или неполному/ошибочному знанию. Чтобы пророчество исполнилось, оно должно быть 1) произнесено и услышано; 2) превратно понято. Главным условием вторжения внешнего рока являются попытки предотвратить его, одомашнить.

¹⁵ АРИСТОТЕЛЬ. *Физика* // Он же. *Сочинения: В 4 т.* М.: Мысль, 1981. Т. 3. С. 94–95.

Однако показательна психоаналитическая трактовка «Эдипа», где трагичность, столкновение с внешним и неизвестным, со смертью вытесняется конфликтом вокруг подавленных внутренних желаний. Главный пафос классического психоанализа – интерпретация внешнего, особенно повторяющегося и навязывающегося как проявление внутренних неконтролируемых желаний и страстей. Например, «Чужой» Ридли Скотта в «Киногиде извращенца» (2006) предстает как метафора внутренней монструозности и самочуждости человека: «мы сами и есть наши чужие, контролирующие наше тело», – говорит нам Славой Жижек на 21 минуте первой части фильма.

Схожий «солипсизм» в интерпретации события присутствует и в феноменологии. Когда Мартин Хайдеггер говорит об открытости Событию (*Ereignis*) и бытию-к-смерти, он скорее склонен их трактовать как манифестацию человеческого. Событие для него – прежде всего событие человека, открытие его заброшенности и бездомности¹⁶. От такого героического, экзистенциального понимания события и смерти, как сбывания-раскрытия человека и посястороннего, остается всего один шаг до фашистской интенсификации настоящего, понимания жизни как борьбы за жизнь. И несколько раз Хайдеггер этот шаг совершает.

Таким образом, даже смерть, понимаемая как событие, также может быть приручена и встроена в настоящее. Яркими примерами тому являются психоанализ и феноменология. И, может быть, именно поэтому в рамках этих двух направлений разрабатываются альтернативные интерпретации события и смерти, нацеленные на то, чтобы сохранить их двойственность, то есть связь с внешним. Речь прежде всего идет о развитии психоанализа у Жана Лакана и постфеноменологии Эммануэля Левинаса.

Левинас критикует предшествующую феноменологию за игнорирование темы «друговости». Если для Рене Декарта и Эдмунда Гуссерля первая очевидность – это сомневающееся «Я», то для французского феноменолога – существование Другого. Выход из декартовской «загроможденности собой»¹⁷ возможен благодаря доступности переживания Смерти как опыта собственной ограниченности, как опыта существования внешнего.

16 Часто можно встретить возражения против таких обвинений Хайдеггера в антропоцентричности. Действительно, более поздний концепт «Ereignis» гораздо меньше содержит в себе антропоцентрических коннотаций, чем более раннее «Dasein», и именно в этой разнице между ранним и поздним Хайдеггером многие склонны видеть «антиантропологический поворот». Мы готовы согласиться с тем, что приводимая дальше критика Хайдеггера Левинасом относится именно к раннему периоду творчества первого. И именно поздним Хайдеггером вдохновляется, например, Грэм Харман и многие другие современные мыслители. Однако темы друговости и инаковости, являющейся ключевой для Левинаса, мы не найдем и в позднем творчестве немецкого философа.

17 Левинас Э. *Время и другой. Гуманизм другого человека*. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. С. 63.

Событием Левинас будет называть не манифестацию субъекта, а его преодоление. Событие – это столкновение с Другим, в глазах которого всегда сквозит безразличное и анонимное бытие *il y a* (безличная форма глагола «есть»)¹⁸.

САМСОН ЛИБЕРМАН

КОСМОТЕХНИКА
И КОСМООПЕРА
«MASS EFFECT»...

Определяющим для конституирования «Я» является именно столкновение с Другим, а не декартовская рефлексия. Смерть – это не форма самовыражения и самосбытия абсолюта (как у Гегеля и – с некоторыми оговорками – у Хайдеггера), а открытие Другого и столкновение с Другим. Абсолют, бытие находятся на стороне Другого, тогда как мое «Я» всегда оказывается в некотором смысле определенным ими, застигнутым врасплох. Такую захваченность бытием, обнаружение собственной беспомощности перед лицом Другого Левинас и называет Событием.

Другой Левинаса – это, в конечном счете, бог. Но, в отличие от христианской эсхатологии, онтологический разрыв между этим миром и тем не преодолевается первым и вторым пришествием. Бог-бытие Левинаса безучастен и анонимен, и именно его сверхъестественная холодность интригует и вынуждает человека реагировать при столкновении. Он скорее тьма, чем свет, скорее смерть, чем жизнь. И эта смерть не может быть движущей или целевой причиной линейного поступательного движения из прошлого в будущее – она случается событийно и беспричинно.

Онтологию времени как события подробно разбирает Клод Романо. Обращаясь все к тому же *tychē* Аристотеля, он также акцентирует внимание на способности *tychē* нарушать личные ожидания – подлинное событие является катастрофой для субъекта. Однако в этом смысле французский феноменолог ближе к экзистенциализму Хайдеггера, чем к холодному мистицизму Левинаса. Внешняя катастрофа – всегда личный вызов для человека.

Для Романо человеческое «Я» также конституируется вторжением Другого – он настаивает на понимании человека не как устойчивого субъекта, существование которого предшествует рефлексии (или как субъекта находящего себя таковым в рефлексии), но только как «приходящего-к-себе». Однако на катастрофический вызов События с необходимостью должен быть дан ответ, дыра в символическом порядке должна быть

18 К сожалению, мы не можем позволить себе здесь детальный анализ хайдеггеровского «Ereignis», которое тоже имеет схожие коннотации обезличенности. Скажем только, что левинасовский разворот темы обезличенного бытия важен нам возможностью концептуализировать «инаковость» как некоторую приостановку субъектности, необходимую для контакта с Другим, тогда как у Хайдеггера, даже у позднего, подлинное переживание бытия будет связано с собственной аутентичностью и одиночеством. Также мы можем отослать к книге Клода Романо, который подробно анализирует хайдеггеровскую концепцию времени и вскрывает ряд противоречий, с ней связанных: Романо К. *Авантюра времени*. М.: РИПОЛ Классик, 2017. С. 54–64.

закрыта. Если же этого не происходит, то человек оказывается сломлен травмой. Романо считает такие случаи патологией и отклонением, тогда как для Левинаса подобная открытость внешнему является нормой или этическим предписанием.

Линейные представления о времени Гуссерль связывал с работой сознания по упорядочиванию опыта, когда память не просто пассивное хранилище впечатлений, но постоянная их переработка, увязывание с текущим, выстраивание нарратива. Так как работа сознания никогда не прекращается, «подлинные» впечатления из прошлого нам недоступны – мы помним не прошлое в чистом виде, а предыдущие нарративы этого прошлого. Такой механизм постоянной переработки впечатлений он называет первичной и вторичной ретенциями. Точно так же это работает и с будущим: там тоже есть первичные ожидания (протенции) от будущего (также связанные с текущим положением дел) и их последующая корректировка и вписывание в изменяющийся нарратив настоящего.

Поэтому для Гуссерля прошлое – это всегда нечто, что было когда-то настоящим, так же, как и будущее – это нечто, что было ожидаемо в настоящем. Гуссерль всерьез прорабатывает феноменологию презентизма: любое прошлое или будущее укоренены в настоящем. Романо критикует эту позицию. Событие для него – это то, что не может быть адекватно воспринято в настоящем, равно как и не может быть ожидаемо, но может быть освоено только «задним числом» как уже случившееся. Он использует формулу «прошлое, которое никогда не было настоящим»¹⁹.

Таким образом, исток первичных и вторичных ретенций/протенций не нынешнее положение дел или внутреннее когито (как у Гуссерля), но исключительное и внешнее Событие. И только впоследствии, при «проработке» этой травмы мы оказываемся способны включить его в какие-то рамки, которые, однако, задаются уже самим событием. То есть не событие вписывается в ту или иную нарративную схему, но, наоборот – нарратив порождается тем или иным событием. Событие не просто ломает предшествующие ожидания и горизонты возможного – оно само создает собственную возможность²⁰.

19 Там же. С. 149.

20 Примечательно, что Юк Хуэй также обращается к гуссерлевскому концепту вторичных протенций/ретенций. Однако для него выход из линейности разворачиваемого в прошлое и будущее настоящего будет связан не с внешним сознанию событием, а с множественностью техник письма (представленности прошлого в настоящем) и предвосхищения (представленности будущего), которые он называет «третичными ретенциями» и «протенциями» соответственно. Именно неоднородность и несводимость друг к другу различных техник работы со временем подрывают тотальность гуссерлевского «здесь и сейчас» и дают возможность предполагать внешнее как некоторый фон, который (тут он использует выражение Жюль Делёза) «неопределенен, но прилипает к всякому определению, как земля к ботинку» (Хуэй Ю. *Рекурсивность и контингентность*. М.: V-A-C Press, 2020. С. 309).

Также и очередное вторжение Жнецов перезапускает эволюцию живых организмов, схлопывает в точку предыдущий линейный прогресс и порождает его заново через предустановленные технические артефакты. Отношения между прошлым и будущим здесь не укладываются в линейную схему, даже такую сложную, как у Гуссерля, или такую неочевидную, как у Ланда. Да, практически сразу нам предлагают циклическую схему интерпретации поведения Жнецов («каждый 50 000 лет...»), однако по сути своей эта схема ничего не объясняет. Игрок практически до конца трилогии не понимает, кто такие Жнецы и каковы их цели, при этом сам факт осмысленности их действий не вызывает сомнений. Но такая номинальная цикличность позволяет увязать будущее, настоящее и прошлое в некоторое единое событие ТехноСмерти, и игрок оказывается захваченным им врасплох. Именно поэтому, например, главным помощником героя является археолог, а не ученый-футуролог или военный стратег.

САМСОН ЛИБЕРМАН

КОСМОТЕХНИКА
И КОСМООПЕРА
«MASS EFFECT»...

Овнешнение и онтологизация техники в образе древних космических богов смерти дает нам совершенно специфическое чувство времени. В нем линейные жизнь, эволюция, история и экспансия оказываются вписанными в технический цикл смерти.

Характерный для поздней массовой культуры сплав научной фантастики и киберпанка (восстание машин) с хоррором (древнее зло пробудилось) в случае с «Mass Effect» дает интересный результат. Овнешнение и онтологизация техники в образе древних космических богов смерти дает нам совершенно специфическое чувство времени. В нем линейные жизнь, эволюция, история и экспансия оказываются вписанными в технический цикл смерти. В первой части мы действительно имеем дело с классическим циклом рождения и смерти под надзором верховного божества, которое здесь называется Властелин или Предвестник. Однако в последующем выясняется, что ТехноСмерть имеет множество лиц и форм, которые могут даже конкурировать друг с другом. Эти лица Жнецы наследуют от тех форм жизни, что они пожирают. Каждый Жнец является технической квинтэссенцией одного из предшествующих циклов, техническим выражением его смерти. Смерть здесь – уже не просто космическая гомогенная сила, проявляющаяся циклически, но множество разных смертей и техник, своего рода космотехник Хуэя.

Этот образ времени настолько интересный и сильный, что концовка трилогии с линейной историей создания Жнецов и

возможностью управления и подчинения Древних Машин кажется неубедительной. Согласно фанатским теориям, протагонист или умирает в ходе финального сражения со Жнецами, или оказывается под их внушением. Неубедительность финала заставляет нас считать эту концовку с привычным «приручением смерти» галлюцинацией главного героя, вызванной принципиальной невозможностью до конца принять и проработать событие смерти. Концовку можно считать той самой искусственно порожденной линейностью «задним числом», о которой говорит Клод Романо, то есть попыткой субъекта удержать свою субъектность перед лицом невозможного события.

КАК НЕ БРОСИТЬСЯ ПОД ПОЕЗД? КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫХОДУ ИЗ КАПИТАЛИЗМА

Таким образом, трилогия компьютерных игр «Mass Effect» содержит интересную концепцию времени, связанную с образом вторгающихся извне древних богов ТехноСмерти. Основанное на этом образе Жнецов представление о будущем как внешнем событии может послужить альтернативой привычному (пост) модернистскому вечному настоящему капитализма, основанному на приручении/вытеснении смерти.

Такое приручение заставляет вспомнить поттериану, а именно так называемых Пожирателей смерти, организацию темных магов, основанную Волан-де-Мортом. Помимо крестражей – артефактов, хранящих часть души волшебника на манер иглы Кощея, – в книгах Джоан Роулинг фигурируют также «Дары смерти», за которыми охотится орден: плащ, способный спрятать от смерти; камень воскрешения мертвых и смертоносная волшебная палочка. В финале последней книги Роулинг иллюстрирует стремление Волан-де-Морта победить смерть образом полуживого ребенка, застрявшего на железнодорожной платформе в ожидании поезда в будущее, который не придет. Эта метафора оказывается интересной еще и в силу ее технологичности: в мире магии можно было бы найти и другие, не менее интересные, образы для перехода между мирами. Образ вечного ожидания на железнодорожной платформе (чаще платформе метро) перекликается и с метафорикой зомби-апокалипсисов, в которых так любят давить живых мертвецов внезапно появляющимися поездами.

У Славы Жижекa есть пассаж о свете в конце туннеля, который оказывается мчащимся встречным поездом²¹. Он исполь-

21 Zizek S. *Addressing the Impossible* // *Socialist Register*. 2017. Vol. 53.

зует этот образ, чтобы подчеркнуть безальтернативность настоящего и необходимость отчаяния. Но в этой истории тоже прослеживается стремление представить смерть не как конечную точку нашего движения, но как самостоятельное и встречное движение. Ну, и, конечно, важно, что (как и в «Mass Effect») смерть представлена техническим объектом, событийность и самостоятельность которого находится вне контроля человека.

В целом метафора поезда как прогресса очень характерна для пост(модерна). В ней содержатся все необходимые ингредиенты: линейность, техника, инфраструктура и так далее. Но ключевая черта железнодорожного сообщения – способность игнорировать внешнее. Путешествие в поезде позволяет перемещаться, сохраняя комфорт и избегая столкновений с непредвиденным. Поезд создает *собственное пространство*, которое вполне устойчиво и независимо от внешнего. Мало того, пространство поезда вытесняет внешнее, подменяет его собой так же, как карта метрополитена подменяет собой карту города.

В отличие от родных и приятных поездов, Жнецы в «Mass Effect» предстают принципиально чуждой нам технологией (хотя карта Млечного Пути, созданная благодаря не-человеческим ретрансляторам, выглядит очень уютно и знакомо). Технический прогресс как паразитирование на оставленных артефактах чужой техники, в конечном счете, оказывается ловушкой, в которую попадает разумная жизнь. Такое овнешнение (отчуждения в смысле «Чужого» Ридли Скотта) технического позволяет нам допустить возможность иной техники, не связанной напрямую с Жнецами²².

Поэтому застрявшим на платформе капитализма (или в платформенном капитализме), где поезда ведут только на другие точно такие же платформы, «Mass Effect» советует искать другие технические решения. Выход из вечного настоящего не может быть связан ни с превращением в живых мертвецов, жаждущих столкновения с поездом, ни с акселерационистским захватом поезда или пересцеплением вагонов, предлагаемым Йозлем Регевом²³. Однако стоит ли верить привычным надписям «Выхода нет»?

Нам необходимо изобретать другие формы работы с внешним, не закатывая его в асфальт или железнодорожное полотно

22 Хотя в самом «Mass Effect» тоже есть сюжетные ответвления про древние создания и культуры, способные противостоять Жнецам (Торианин, Левиафаны, протеане), но по своим повадкам и собственно космотехнике они все очень похожи: это захватчики-эксплуататоры, строящие галактическую моноимперию. Интерес в этом смысле представляет только синтетическая раса гетов, искусственный интеллект, существующий в качестве сообщества единичностей-программ. На протяжении всего сюжета они предстают практически единственной расой, лишенной тяги к экспансии и подчинению других.

23 РЕГЕВ Й. *Введение в исчисление сред* // Логос. 2020. № 5. С. 9.

и не прячась от него в подземных переходах. Открытость внешнему (в духе «Циклопедии» Резы Негарестани), открытость смерти, предположение существования Другого – единственный шанс выбраться из тюрьмы (пост)модерна, избежав соблазна прыгнуть под поезд или разогнать его в самоубийственной попытке сойти с рельс.

Но выход из пещеры – это не всегда выход на свет, это шаг во тьму неизвестного и непознаваемого.

Николай Заболоцкий и Дзига Вертов: архетип быта и экологическая революция в изображении поэта¹

ИГОРЬ
СМИРНОВ

Памяти Анатолия Александрова (1934–1994).

1

Фон, на который была спроецирована ранняя поэзия Николая Заболоцкого и который ее, во многом загадочную, объясняет, как будто подробно изучен (сюда относятся: отечественное стихотворное искусство XVIII–XIX веков от Ломоносова до символистов и философия русского космизма, аналитическая живопись Павла Филонова и изобразительный примитив, оккультные учения и мифоритуальная традиция, «Фауст» Гёте и творчество Велимира Хлебникова). Все же наши представления о заднем плане «Столбцов» (1929) и последовавших за ними стихотворений и поэм пока не полны. Одна из зияющих здесь лакун – авангардистская кинодокументалистика.

Судя по воспоминаниям Заболоцкого, ему с подростковых лет было свойственно активное восприятие киноискусства. В бытность учеником Уржумского реального училища он, чтобы не быть пойманным на нарушении строгих правил поведения, запрещающих школьникам вечерние прогулки, посещал кинематограф «Фурор» в девичьем платье. «Картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина»² смотрел тот, кто принимал движение навстречу актерству и киноактерам.

В 1930 году Заболоцкий сотрудничал с Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом, написав для их первой звуковой ленты «Одна» текст песенки, которая не вошла в окончательную редакцию фильма³. Причастность Заболоцкого к киноэкспери-



Игорь Павлович Смирнов (р. 1941) – автор многочисленных статей и книг гуманитарного профиля, основной научный интерес сосредоточен на теории истории. Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

- 1 За помощь в работе над статьей благодарю Надежду Григорьеву, Игоря Лощилова и Станислава Савицкого.
- 2 Заболоцкий Н.А. *Ранние годы // Воспоминания о Н. Заболоцком*. М.: Советский писатель, 1984. С. 15. О позднейшем интересе Заболоцкого к кино см. воспоминания его сына Никиты: Заболоцкий Н. *Об отце и о нашей жизни // Там же*. С. 269.
- 3 Козинцев рассказывает об этой совместной работе в книге «Глубокий экран» (1971): Козинцев Г.М. *Собрание сочинений: В 5 т.* Ленинград: Искусство, 1982. Т. 1. С. 192–195. О возможной поэтической реакции Заболоцкого на фильм «Одна» в стихотворении «Самовар» см.: Лощилов И.Е. *О работе Н. Заболоцкого в кино // «Странная» поэзия и «странная» проза. Филологический сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Н.А. Заболоцкого / Под ред. Е.А. Яблокова, И.Е. Лощилова*. М.: Пятая страна, 2003. С. 324–326.

менту с музыкой и речью, которым занялись бывшие организаторы Фабрики эксцентрического актера (1921–1926), вряд ли была случайной. В переключку с фэксами Заболоцкий вступил уже в замкнувшем «Столбцы» стихотворении «Народный Дом» (1927–1928), изображавшем тот же ленинградский локус, что послужил местом для завязки действия в фильме Козинцева и Трауберга (по сценарию Адриана Пиотровского) «Чертовое колесо (Моряк с “Авроры”»)» (1926). Существенно, что пересечения «Народного Дома» с «Чертовым колесом» не затрагивают игровой перипетии авантюрной кинокартины (повествовавшей о невольном пособничестве краснофлотца налетчикам), обнаруживая себя относительно только тех частей фильма, которые имели документальную основу. И в фильме, и в стихотворном тексте одинаково фигурируют – в соответствии с городской реальностью – американские горки, кривые зеркала, качели, пивная. О том, что сцены массовых развлечений были у Заболоцкого не просто списаны с натуры, а имели в виду также фильм Козинцева и Трауберга, свидетельствуют в стихотворении мотив толпящихся перед Народным Домом красноармейцев (в «Чертовом колесе» показаны матросы, разглядывающие афиши при входе в это увеселительное заведение) и именование строений на Петроградской стороне «пеклом» (глава налетчиков в «Чертовом колесе» (курсив мой. – И.С.) – инфернальный фокусник, стилизованный под беса-соблазнителя из эпохи романтизма).

Перед тем, как перейти к сопоставлению «Столбцов» с негровыми лентами Дзиги Вертова, стоит упомянуть еще о том, что переработка кинофактографического материала входила в круг задач, решавшихся киносекцией Объединения реального искусства. Во время выступления обэриутов, в том числе Заболоцкого, на театрально-литературном вечере «Три левых часа» в ленинградском Доме Печати (24 января 1928) Климентий Минц и Александр Разумовский продемонстрировали свой фильм «Мясорубка», в котором использовалась кинохроника. Вначале на экране возникали надолго затягивавшиеся кадры с поездом, отправлявшимся на фронт, затем видеообразы перемешивались в стремительном монтаже, а в концовке «Мясорубки» восстанавливались в своей исходной монотонности⁴. Можно думать, что понятийным стержнем этого пацифистского (в духе Николая Федорова?) фильма была метафора «пушечное мясо», которая реализовалась так, что семантика изображения оказывалась не отдифференцированной от средств ее передачи, от медиума, превращавшегося в крошево на монтажном столе, как если бы война рвала на части не тела людей, а киноленту. Медиум

⁴ См. подробно: КИСЕЛЕВ А. О. «Мясорубка» К. Минца и А. Разумовского. Реконструкция и анализ фильма обэриутов // Вестник ВГИК. 2015. Т. 7. № 2. С. 32–40.

в «Мясорубке» совпадал при этом не только с ее концептом, но и с референтной средой, предъявлял зрителям вещь, не переведенную в знак, коль скоро знакомил их с хроникальной съемкой.

Поэтическая техника «Столбцов» зиждется на том же различении медиума (в данном случае вербального) и транслируемого им смысла, какое организовало фильм Минца и Разумовского. С неустранимой дефектностью изображаемого предмета – дисгармоничного, уродливого быта – коррелирует в «Столбцах» расстроенное стихотворное письмо⁵. Здесь не место разбирать в деталях чрезвычайно разнообразные приемы порчи поэтического слова, к которым прибегал Заболоцкий. Несмотря на вариативность, они, однако, сводимы к общему знаменателю. В совокупности они являют собой пародирование формалистского «остранения». Необычное видение объектов делается у Заболоцкого не мотивированным, не объяснимым рациональным путем. Мы вряд ли сможем найти ответ на вопрос, почему «конь» в стихотворении «Движение» (1927) противоречиво уподобляется сразу и человеку, и рыбе (он «руками машет» и вытягивается, «как налим»⁶). Сходным образом дисфункционально «остраняется» в «Столбцах» и лексика. Так, в «Бродячих музыкантах» не подведено основание под употребление для обозначения городского пространства церковнославянизма, заимствованного из высокой поэзии XVIII – начала XIX века: «На *стогнах* солнце опускалось» (с. 139). Если «остранение» не имеет смысла, то – в обратном порядке – в заведомо известном обнаруживается информационная значимость: «на службу вышли Ивановы / в *своих штанах и башмаках*» (с. 131). Знаменательно, что этот плеоназм соседствует в «Ивановых» (1928) с «остранением», не выбивающимся из нормы поэтического взгляда на мир, словно бы еще не изведенного: «герои входят, покупают / *билетов хрупкие дощечки*» (там же). Заболоцкий «обнажает» компрометацию «остранения», проводя ее по контрасту с конститутивной для художественных текстов подачей знакомого как нового. Становясь пародийным симулякром, «остранение» все же сохраняет в стихах Заболоцкого релевантность, будучи *самоотрицанием* искусства, а не его опровержением извне, из неэстетического ряда. «Столбцы» – поврежденная поэзия, а не отказ от нее. Представитель второго авангардистского поколения, Заболоцкий по-гегелевски «снимает» выработанное ближайшими предшественниками-формалистами представление о функционировании художественной

ИГОРЬ СМИРНОВ

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

5 Как отвечающая неполноценному устройству человеческого общежития стилистика Заболоцкого родственна имеющим ту же идейную подоплеку языковым аномалиям в прозе Андрея Платонова – ср.: Яблочкин Е. А. «Безумный волк» Н. Заболоцкого и «волчьих» мотивы в литературе 1920-х годов // «Странная поэзия и «странная» проза... С. 275–288.

6 Заболоцкий Н. А. *Огонь, мерцающий в сосуде...* / Сост. Н. Н. Заболоцкого. М., 1995. С. 128. В дальнейшем ссылки на это издание – в тексте статьи с указанием страницы.

речи, обесмысливает «остранение», но так, что его опустошенность получает свой смысл (соответствия увечной реальности повседневного прозябания). Вместо «остраняющей» мир поэзии Заболоцкий предлагает читателям погрузиться в «остранение» ее самой.

Уравниванию слова об обыденщине со своим предметом сопутствовал у Заболоцкого протест против пущенных в обращение знаковых средств, имеющих не только референтную отнесенность, но и образующих собственный универсум значений. В традиции предпринятого Фрэнсисом Бэконом в канун Новейшего времени обличения идолов рынка (речевого обихода) и театра (веры в авторитеты) Заболоцкий был исполнен семиотического скепсиса, наиболее отчетливо сформулированного в стихотворении «Лодейников» (1932):

Я различаю только знаки
домов, растений и собак.
Я тщетно вспоминаю детство,
которое сулило мне в наследство
не мир живой, на тысячу ладов
поющий, прыгающий, думающий, ясный, –
но мир, испорченный сознанием отцов,
искусственный, немой и безобразный (с. 309).

В пике адамизму раннего авангарда Заболоцкий возводит в «Прогулке» (1929) языковой произвол, отгораживающий сознание от реалий, к деяниям первочеловека, которому Творец поручил дать имена всякой земной твари (Бт. 2: 19–20): «У животных нет названья – / кто им зваться повелел?» (с. 170). Недовольство семиозисом сцеплено у автора «Столбцов» с антропологической критикой. В программном заявлении обэриутов (1928) Заболоцкий требовал от поэзии созерцания вещей такими, какими они являются нашему зрению без опосредования речевым узусом: «Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства [...] Посмотрите на предмет голыми глазами»⁷. Наглядность – доминанта его стихов, предпочитающих визуальный код ориентации поэтического слова на музыку:

Где древней музыки фигуры,
Где с мертвым бой клавиатуры,
Где битва нот с безмолвием пространства –
Там не ищи, поэт, душе своей убранства.
(«Предостережение». 1932. С. 307)⁸.

7 «Декларацию» группы цитирую по: *Ванна Архимеда* / Сост. А.А. Александрова. Ленинград, 1991. С. 458.

8 О мотивах видения, чрезвычайно частых в стихотворных текстах Заболоцкого, см. подробно: ГЕРАСИМОВА А. *Подымите мне веки, или Трансформация визуального ряда у Н. Заболоцкого* // *Н.А. Заболоцкий: pro et contra* / Сост. Т.В. Игошева, И.Е. Лоцилов. СПб.: РХГА, 2010. С. 661–673.

Сказанное о себя опровергающей эстетике в произведениях Заболоцкого и о предпочтении им прямого подхода к описываемой в них действительности, схватывающего вещь в ее очевидности, раскрывает предпосылки его пристального внимания к творчеству Вертова, призывавшего в манифесте «Мы» (1922) «ускорить смерть» игровой кинематографии⁹, стремившегося использовать киноаппарат «для исследования хаоса зрительных явлений»¹⁰ («Киноки. Переворот», 1923), желавшего передать на экране и «разъяснить мир, как он есть»¹¹ («Ответ на пять вопросов», 1924). «Столбцы» и примыкавшие к сборнику стихотворения (так называемые «Смешанные столбцы») такая же субверсия в области поэтической речи, какой документализм Вертова был в рамках киноэстетики. «Киноправда» (1922–1925), «Кино-Глаз» (1924) и другие ленты Вертова подали Заболоцкому пример того, как ниспровержение фикциональности художественного произведения может в то же самое время претендовать на то, чтобы превзойти ее. С этой точки зрения не слишком важно, присутствуют или нет в текстах Заболоцкого, параллельных съемкам Вертова, сигналы, оповещающие нас об интермедиальной работе поэта с киноисточниками. Существенно же прежде всего то обстоятельство, что ситуации во многих стихотворных текстах, вошедших в «Городские» и «Смешанные столбцы», имеют прецедентами сюжеты, уже бывшие выбранными Вертовым для запечатления на киноплёнке «жизни врасплох».

Образцом для стихотворения «Новый быт» (1927) послужил эпизод из «Киноправды» № 18 (1924) под названием «Октябрины. Обряд введения в гражданство нового человека» (илл. 1). Заголовок стихотворения цитирует одну из надписей, сопровождавших презентацию советских крестин («Слово о новом быте имеет товарищ...»), – за ней следует показ крупным планом безымянного партийца, выступающего с приветственной речью (ср. у Заболоцкого «красный спич»). Интермедиальная зависимость стихотворного текста от кинохроники в «Новом быте» маркирована. Фильм исподволь дополняет стихи, образуя совместно с ними диадическую конструкцию. Мотив быстрого «мужания» младенца («и вдруг, шагая через стол, / садится прямо в комсомол») становится вполне ясным, только если учесть, что изображавшийся Вертовым ритуал состоял в передаче новорожденного от матери пионеру, комсомольцу и, наконец, коммунисту, от которого тот снова попадал в материнские руки (ср.: «ему назад не близок путь»). Действие

9 Вертов Д. *Из наследия. Т. 2. Статьи и выступления* / Сост. Д.В. Кружкова. М.: Эйзенштейн-центр, 2008. С. 15.

10 Там же. С. 38.

11 Там же. С. 61.

ИГОРЬ СМИРНОВ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

в «Новом быте», в отличие от прочих текстов в «Столбцах», локализовано не в Ленинграде, а в Москве – там, где обосновался Вертов. Соположенный «Киноправде» тематически «Новый быт» противоположен ей в ценностном плане. Вертовская апологетика «октябрин» сменяется у Заболоцкого тайной насмешкой над советской обрядностью – противоестественной, в восприятии поэта. Ребенок в «Новом быте» не более чем искусственное существо, деревянный человечек из сказки Карло Коллоди¹²: «Младенец наглядко *обструган*» (с. 126–127)¹³.

Илл. 1. «Но новый быт
несется вскачь – / мла-
денец лезет окарачь»
(«Киноправда». 1924.
№ 18).



Илл. 2. «Лопаты ходят
тяжело, / и теста ров-
ные корчаги / плывут
в квадратное жерло»
(«Кино-Глаз»).



12 См. также: Вайскопф М. *Две заметки о Заболоцком // Хармс – авангард* / Под ред. К. Ичин. Белград, 2006. С. 430.

13 В том же 1927 году, когда было написано стихотворение Заболоцкого, ученик Павла Филонова и член товарищества «Мастера аналитического искусства» Евгений Кибрик, создает живописное полотно, названное им «Новый быт (Первое мая)». Оно было выполнено в технике киномонтажа и подхватывало образы празднично-карнавальных шествий из «Киноправды» (см., например, пятнадцатую за 1922 год). Трудно

Опора на кинопретекст просигнализирована и в «Пекарне» (1928), восходящей к кадрам выпечки хлебов в «Кино-Глазе» (илл. 2). Кот, как будто беспричинно появляющийся в стихах о «младенце-хлебе» («И кот в трубу засунул хвостик [...] И кот, в почетном сидя месте, / усталой лапкой рыльце крестит», с. 137), перебрался в текст Заболоцкого из «Кино-Глаза», где путался в ногах лошадей, впряженных в телеги с мукой. Этот фильм Вертова и в целом, и в том его куске, где перед нами предстает изготовление хлеба, проникнут идеей техномагического господства над временем, которое пускается вспять благодаря обратному ходу киноленты. Кинокамера, вглядывающаяся в мясо на торговых прилавках в отрывке об обследовании пионерами рынка, ведет нас отсюда (под титрами: «Кино-Глаз отодвигает время назад») в скотобойню, к тушам животных, превращающимся в быков, которые пасутся на лугу; хлеб в сценах, снятых в пекарне, возвращается из печи в чаны с тестом, становящимся затем мукой в мешках на подводах; эту линию завершают у Вертова кадры колосющегося поля. В поэзии Заболоцкого, напротив, темпоральный переверт и восстановление изначального порядка вещей невозможны. Мир в «Столбцах» несовершенен постольку, поскольку он не поддается реанимации, однолинейно развертываясь от появления к исчезновению, от рождения в смерть: в «Пекарне» стихотворный рассказ о выделке хлеба упирается в ничто: «Кот [...] / Сидит-сидит и улыбнется, / и вдруг исчез. Одно бо-лотце / осталось в глиняном полу» (с. 138). Заболоцкий потому и перенимает из «Кино-Глаза» несущественную там деталь (кот, невзначай попавший в кадр), делая ее метатекстовым указанием на кинематографический генезис своего текста¹⁴, что незначимое и случайное имеют для него такой же ценностный вес, как и исполненное смысла (как и рождение хлеба, подобное появлению на свет человека¹⁵). Преодоление времени у Заболоцкого не реверсирует, а уничтожает его и вместе с ним саму нашу мыслительную способность:

ИГОРЬ СМIRНОВ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

сейчас сказать, кому принадлежит первенство в усвоении кинодокументального материала – художнику или поэту. Во всяком случае в «Новом быте» Кибрика нет «младенца», переживающего посвящение в граждане Советской страны.

- 14 Вообще говоря, коты и кошки в качестве загадочных животных (см. особенно «Бессмертие») ведут у Заболоцкого свое происхождение из вошедшего в «Цветы зла» сонета Шарля Бодлера «Les Chats», где они были уподоблены «сфинксам». В «Пекарне» кот связывает этот текст не только с «Кино-Глазом», но и с «Цветами зла»: он источает «зловоние», а его присутствие в стихах о хлебе само по себе таинственно. Вместе с тем улыбающийся и внезапно пропадающий из виду кот у Заболоцкого – это, по замечанию Надежды Григорьевой (устное сообщение) и «Чеширский кот» из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Как известно, «Чеширский кот» в тексте Кэрролла – сигнатура автора; возможно, ту же функцию имеет улыбающееся животное и в «Пекарне».
- 15 Ассоциирование Заболоцким хлебной печи с утробой матери отправляет нас к восточнославянским обрядам «додельвания» («перепекания») ребенка – см. о них: БАЙБУРИН А.К. *Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов*. СПб.: Наука, 1993. С. 53–54.

ИГОРЬ СМИРНОВ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

Тогда встает безмолвный Лев [...]
И в середину циферблата
Стреляет крепкою рукой [...]
И все растенья припадают
К стеклу, похожему на клей,
И с удивленьем наблюдают
Могилу разума людей.
(«Время», 1932; с. 321)

Необратимая темпорально реальность «Столбцов» допускает, однако, в пространстве изменение движения по вертикали на противоположное физически закономерному, отмену гравитации – ср. хотя бы: «парит на женщине герой, / стреляя в воздух пистолетом» (135). В стихотворении «Фокстрот» (1928), откуда была извлечена только что приведенная цитата, легко распознаются пародия на Вознесение Христово (не случайно в текст закрадывается мотив Иуды) и экфразис, подразумевающий оторвавшиеся от земли фигуры в живописи Марка Шагала. Но отдельные дешифровки недостаточны, чтобы объяснить частый у Заболоцкого обмен между верхом и низом¹⁶. В своем инвариантном плане их перестановка обнаруживала, что оказавшийся изотропным мир находится в хаотическом состоянии. Целеположенные во времени, текущем к небытию, существа и предметы в этом мире произвольны в занятии ими пространственных позиций, которые могут быть какими угодно. Со взятым назад в кино временем, погружающим зрителей в не перестроенную человеком первозданность жизни, в «Столбцах» контрастирует энтропия, завлекающая человека в словно бы еще не преобразованную Творением материю (*hyle*).

Перекличка с кинофактографией Вертова, более или менее ощутимо заявленная в «Новом быте» и в «Пекарне», во многих других произведениях Заболоцкого не оставила отчетливых отметин, обязывающих толкователя к непременно прочтению этих текстов как вырастающих из фильмических претекстов. В большинстве подобных случаев наличествуют, однако, косвенные показатели, удостоверяющие тот факт, что картинки быта у Заболоцкого адресуют нас не напрямую к сырой действительности, а к уже пропущенной через кинопоказ. Открывающее «Столбцы» стихотворение «Красная Бавария» (1926) совпадает по изображаемому предмету с эпизодами в питейном заведении Моссельпрома из «Кино-Глаза» (илл. 3), но Заболоцкий не тематизирует пивную так, как это сделал Вертов, у которого ее завсегдатаев увещевают борцы за здоровый быт – пионеры, собирающие деньги на борьбу с туберкулезом. Несмотря на от-

16 К соотношению этих координат в поздней поэзии Заболоцкого ср.: Лотман Ю.М. *Анализ поэтического текста*. Ленинград, 1972. С. 256–270.

сутствие в «Красной Баварии» явных следов интермедиального обращения Заболоцкого к фильму Вертова, можно с уверенностью говорить о том, что пивная в «Кино-Глазе», где ее сменяет санаторий для страдающих туберкулезом, не прошла мимо внимания поэта, посвятившего защите от грудных заболеваний стихотворение «Сохранение здоровья» (1929): «О полезная природа, / исцели страданья наши, / дай частицу кислорода / или две частицы даже! // Дай сознанию удивиться / и тотчас передо мной / отвори свою больницу – / холод, солнце и покой!» (с. 168). Заболоцкий распределяет смысловое содержание вертовской «Пивной Моссельпрома» между двумя своими, на первый взгляд, никак не сопряженными, текстами и тем самым затемняет прецедент, которому следовала «Красная Бавария».

ИГОРЬ СМИРНОВ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...



Илл. 3. «В глуши
бутылочного рая»
(«Кино-Глаз»).

Под аналогичным углом зрения следует трактовать «На рынке» (1927) и «Обводный канал» (1928). Уже одно то, что Заболоцкий дважды сосредотачивает внимание на базарной площади, заставляет вспомнить «Кино-Глаз», где ее изображение было также продублировано: один раз оно появляется на экране во фрагменте о проверке пионерами мясных рядов, а во второй – к концу фильма в сюжете под названием «На Сухаревке». Многие базарные подробности в двух текстах Заболоцкого (продажа мяса, безногий инвалид и калека с изуродованной рукой, попрошайки) – те же самые, что и у Вертова (илл. 4, 5), либо равносильны ситуациям, увиденным «Кино-Глазом»: мужчина, развертывающий там над собой на продажу кусок материи (шаль?), сопоставим с барышником, торгующим у Заболоцкого штанами:

Маклак штаны на воздух мечет,
ладонью бьет, поет, как кречет [...]
Кричи, маклак, свисти уродом,
мечи штаны под облака! (с. 138)

Но, даже если «маклак» из «Обводного канала» и допускает сравнение с персонажем «Кино-Глаза», основной подтекст здесь – иронический намек Заболоцкого на метаморфозу Маяковского (впрочем, соратника Вертова по Лефу¹⁷), «крикогубого» автора «Облака в штанах», ставшего составителем торговой рекламы в стихах¹⁸. Общие для Заболоцкого и Вертова детали рыночной рутины не имеют в стихотворных текстах интермедийной нагрузки – они могли бы быть почерпнуты поэтом и из непосредственного наблюдения жизни. В стихотворениях «На рынке» и «Обводный канал» нет сигналов, вызывающих в своей загадочной гетерогенности относительно окружающего их контекста (таковы, например, кот и хлебобулочное производство) к поиску их мотивированности чужим творчеством¹⁹. И все же эти тексты Заболоцкого нужно читать в проекции на «Кино-Глаз». К этому нас побуждает стихотворение «Купальщики» (1928), кажущееся чужеродным на фоне преобладающего в «Столбцах» сатирического бытописания. У Вертова поход пионеров на рынок смежается с купанием их отряда в реке, очищающем их от буржуазной скверны. Ту же катарсическую функцию имеют в «Столбцах» «Купальщики», в которых наличествует явная реминисценция из фильма Вертова, демонстрирующего поначалу ныряющих как попало с обрыва в реку детей, а затем правильно прыгающих в воду взрослых:

Все, впервые сняв одежды
и различные доспехи,
выплывают, как невежды,
а затем идут успехи (с. 141).

Пусть сами по себе «На рынке» и «Обводный канал» не дают нам достаточного основания для выведения этих стихотворений из кинодокументалистики Вертова, можно тем не менее не сомневаться в том, что они были созданы с ее учетом, раз Заболоцкий включил их в ассоциативную сеть, отсылающую нас к той, которая была сплетена в «Кино-Глазе».

Заболоцкий отреагировал и на фильмы Вертова, выпущенные после «Киноправды» и «Кино-Глаза». Уже упомянутый «Фокстрот» из «Столбцов» вторит сценам под тем же названием, начинающим «Шестую часть мира» (1926). В этом отрезке своей пропагандистской ленты Вертов развенчивал образ жизни Запада, монтируя картины буржуазного досуга с изоб-

17 О Маяковском и Вертове см. подробно: Пронин А. *Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский*. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 169 след.

18 Ср. разбор еще одной аллюзии на раннюю поэзию Маяковского в «Свадьбе»: Сироткин Н.С. *Поглощение и извержение: еда, женщины, музыка и смерть // «Странная» поэзия и «странная» проза...* С. 70–85.

19 О функционировании интертекстуальных сигналов см. подробно: Смирнов И.П. *Порождение интертекста (элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака) // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 17. Wien, 1985. С. 59–77.*



ИГОРЬ СМИРНОВ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

Илл. 4. «И мясо властью
топора / лежит, как
красная дыра» («Кино-
Глаз»).



Илл. 5. «Росток руки
другой нам кажется»
(«Кино-Глаз»).

ражением колонизаторской практики белого господина, которой в дальнейшем ходе фильма был противопоставлен свободный труд на окраинах Советского Союза, поставляющих сырье для внешней торговли страны. «Фокстроты» Заболоцкого и Вертова не имеют ничего общего, но в стихотворении «Меркнут знаки Зодиака» (1929) *dance macabre* в гротескно-абсурдистской манере соединяет в пару «дикаря» и человека империи («Людоед у джентльмена / неприличное отгрыз. / И смешались в общем танце, / и летят во все концы / гамадрилы и британцы» (с. 174), а «Начало осени» (1928) содержит мотив избыточной «периферии», снабжающей своими дарами метрополию: «Приходит соболев из Сибири / и представляет яблок Крым» (с. 157)).

ИГОРЬ СМЕРНОВ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

«Подводный город» (1930) адресует читателей на манифестном уровне к мифу об Атлантиде, развернуто изложенному в диалоге Платона «Критий», и к космогонии ацтеков²⁰, но, весьма вероятно, что, кроме явных претекстов, у стихотворения есть также скрытый источник, каковой расположен в фильме Вертова «Одиннадцатый» (1928), рассказывающем о строительстве Днепрогэса и показывающем (с помощью наложения друг на друга разных кадров с водной поверхностью на переднем плане) город, которому предстоит вскоре быть затопленным (илл. 6). На водохранилище у Вертова в стихотворении о погибшем платоновском царстве Посейдона намекает неожиданное здесь упоминание о техническом покорении водной стихии: «Мы машиной воду роём». Бренные останки человеческих тел у Заболоцкого («Море! Море! Морда гроба!», с. 295) находятся в том же сочетании с оказавшимся под водой миром, что и в «Одиннадцатом», лейтмотив которого – двухтысячелетний скелет скифа, откопанный на месте стройки гидросооружения.



Илл. 6. «И над круглыми домами [...] / только море, только сон, только неба синий тон» («Одиннадцатый»).

Итак, отразившее в себе начинания Вертова раннее творчество Заболоцкого – это видеопоззия, положившая в свою основу наряду с живописью также злободневное киноискусство. Если в том, что касается живописи, Заболоцкий был всеяден²¹,

20 См. комментарий в: Заболоцкий Н. *Собрание сочинений: В 3 т.* М., 1983. Т. 1. С. 609–610.

21 В число antecedентов стихотворений, помещенных в «Столбцах» и близких к ним, входят и современная поэту авангардистская живопись, и фламандский натюрморт эпохи барокко (см. сравнение «Рыбных лавок» Заболоцкого и Франса Снейдерса: Злыднев Н. В. *Визуальный нарратив. Опыт мифопоэтического прочтения.* М.: Индрик, 2013. С. 105–116), и, возможно, искусство русских передвижников: ряд мотивов в «Свадьбе» («окна в каменной рубахе»; «балки лезут в потолок»; «поп»; «Мясистых баб большая стая / сидит вокруг, пером блистая, / и лысый венчик горностая / венчает груди»; «жених, приделанный к невесте / и позабывший гром копыт. [...] Его лицо *передвижное* / еще хранит следы венца» (с. 132–134)) направляет нас к полотну Константина Маковского «Боярский свадебный пир» (1883).

то в кинематографической сфере релевантным для него был в первую очередь документальный фильм. Подобно тому, как «фабрика фактов» Вертова, отказавшегося от актеров, декораций и сценария, конкурировала с игровым кино, оглядывавшаяся на нее поэзия Заболоцкого вступала в состязание с чрезвычайно популярным в мировой литературе 1910–1920-х жанром киноромана – «Доногоо-Тонка» (1919) Жюлья Ромена во Франции, «Месс-Мэнд, или Янки в Петрограде» (1924) Мариэтты Шагинян в Советской России, «Манхэттен» (1925) Джона Дос-Пассоса в США, «Берлин-Александрплац» (1929) Альфреда Дёблина в Германии и другие²². Внутри литературы Заболоцкий предпринимал ту же инновацию, каковая характеризовала претензию Вертова взять верх над фикциональным киноповествованием. Парадокс намерения, осуществленного Заболоцким в «Столбцах», заключался в том, что их вторичный, интермедийный документализм давал вертовской деэстетизации художественного сообщения задний ход. Вместе с тем: как «кино-вещи» Вертова родились из протеста против искусства, развлекающего буржуазную публику («Мы не для того пришли в кинематографию, чтобы кормить сказками нэпманов»²³), как они осведомляли зрителей о внушающем отвращение прозябании человека, так и «Столбцы» бросали вызов поэтическому созерцанию прекрасного – они погружают нас в безобразное. И все же Заболоцкий подходит к быту иначе, чем Вертов. Для создателя «Кино-Глаза» существовала положительная альтернатива к отталкивающему и падшему: ею были индустриальное производство и машиноподобный (в духе Жюльена Офре де Ламетри) человек, аналог кинематографического техномедиума – скорее рационально организованный механизм, нежели наделенный Духом организм. Хотя на горизонте набросанных в «Столбцах» очерков неполноценного и жуткого быта также проступает образ иной реальности («А там – молчанья грозный сон, / нагие полчища заводов, / и над станочьями народов – / труда и творчества закон» («Свадьба», 1928; с. 134)), ее очертания лишь бегло намечены Заболоцким, а *l'homme machine* советского образца в его первой стихотворной книге и вовсе никак не представлен. Обыденщина устремлена к тому, чтобы стать тотальной: «Весь мир обоями оклеен» («Народный Дом», с. 143); «сомненья нету – замкнут мир, / и лишь одни по-мои плещут / туда, где мудрости кумир» («Бессмертие», с. 156). Инерционная ординарность мертвит человека. «Столбцы» не проводят твердой границы между живым и мертвым. В центральном в этом отношении тексте «Столбцов» «Офорт» (1927)

ИГОРЬ СМИРНОВ

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

22 О киноромане см. подробно: Смирнов И. П. *Видеоряд. Историческая семантика кино*. СПб.: Петрополис, 2009. С. 291–376.

23 ВЕРТОВ Д. *Указ. соч.* С. 81.

по улицам шествует беглый покойник²⁴, в «Белой ночи» (1926) в небеса возносится «недоносок» в «спиртовой банке» (с. 121), в «Футболе» (1926) фигурирует безголовый «форвард», в стихотворении «На рынке» – обрубок человеческого тела, «брюхо с головою» (с. 129), в «Фокстроте» – «помертвельный» Иуда (с. 135), впавший в беспробудный сон. По преимуществу танатологичным «Столбцам» была чужда идея жизнестроения, которая стала важной составляющей в лефовской программе фактографического художественного творчества²⁵, разделявшейся Вертовым.

2

Отвлечемся на короткое время от «Столбцов». Всякий образ в социокультуре должен отвечать прообразу, потому что она отрывается от природы и вынуждена, чтобы не потерять конституирующее ее качество, поддерживать в дальнейшем суверенное развитие не столько как репрезентация внеположной ей действительности, сколько как автопрезентация. Наполненная архетипами, высокая социокультура не позволяет выломиться из их рамок и собственному Другому – своим вырожденным проявлениям, своему обытовлению. Архетипически быт являет собой царство *неразличения*, оппонируя тем самым отграничивающей себя от естественной среды человеческой созидательности. Застывая в каждодневной рутине, Дух лишается способности к дифференциации реалий, которой он обладает, разнясь с самим собой, делаясь в историческом движении до того небывалым.

Очень часто исчезновение различий выражается в текстах, имеющих дело с повседневной практикой, в такой ее театрализации, которая преследует не эстетическую цель, а служит обману простаков, декорирует удовлетворение физиологических потребностей, оказывается прискорбным недоразумением и тому подобное. Быт устойчиво преподносится нам на сцене, на которой происходит ложное преобразование жизни. Доксальное сознание в платоновском мифе о пещере производно от игры теней на ее стенах, принятой ее узниками за подлинную реальность. На пиру Трималхиона в «Сатириконе» Петрония Арбитра в триклиний, где гости вольноотпущенника вкушают экзотические яства, вносят на блюде непотрошенного каба-

24 О связи «Офорта» с верованиями в «заложных покойников» и с выраставшими из этих мифопредставлений литературными текстами см. подробно: ЮНГРЕН А. *Обличья смерти: к интерпретации стихотворения Н. Заболоцкого «Офорт»* // Н.А. Заболоцкий: *pro et contra*. С. 734–741.

25 См., например: Чужак Н. *Литература жизнестроения // Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа* / Под ред. Н.Ф. Чужака. М.: Федерация, 1929. С. 31–65.

на, который, как выясняется, когда заблуждение рассеивается, фарширован колбасами. Луций в «Метаморфозах» Апулея оборачивается ослом из-за того, что были перепутаны волшебные мази. Будучи жертвой неразличения, человек повседневности утрачивает свободу воли – ему не дано выбирать между альтернативами. Закрепощенные в ложном воображении обитатели пещеры у Платона убивают того, кто возвращается к ним, познав свет истины; они дорожат своим пленом. Трималхион не случайно вольноотпущенник – его социальное положение призвано оттенить то обстоятельство, что, какое бы место в обществе человек ни занимал, он может остаться данником своей низко-консюмеристской природы, рабом желудка. После ошибочного перевоплощения Луцию приходится стать вьючным животным, которым распоряжается шайка разбойников. В библейской Книге Екклесиаста, обытовившей всю человеческую деятельность, представившей ее как *vanitas*, архетипическая несвобода повседневного существования приняла вид невозможности выломиться в процессе истории из прообраза как такового: «Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Ек. 1: 10)²⁶. Смешения, господствующие в изображениях быта, отнимают у него смысл и делают его абсурдным. Можно сказать, что абсурд проник в искусство в тот момент, когда оно бросило взгляд на будничную обиход. (Я не буду останавливаться здесь на положительном контрархетипе повседневного житейского уклада, бывающего представленным – в домостроях начиная с «Экономики» Ксенофонта, в буколиках и иных идиллических жанрах – в качестве укромного хронотопа, защищенного – надежно или ненадежно – от опасностей, которые исходят из его окружения²⁷. Но раз об этом зашла речь, то следует сказать, что бытовой парадиз – результат той же нейтрализации различий, которая порождает и образ абсурдной обыденщины. Быт может рассматриваться и извне, и тогда он отчуждается от высокой социокультуры, и изнутри, и тогда он выступает спрятанным от причиняющей беды, проникнутой рознью среды).

Как в «Кино-Глазе», так и в «Столбцах» быт был увиден – в соответствии с вековой традицией – инсценированным и наполненным нелепостью. *Theatrum mundi* варьируется в «Кино-Глазе» в сюжетах, в которых зрители встречаются с церковным

ИГОРЬ СМЕРНОВ

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

26 С наступлением постмодернистской эры неразличение вторгается также в план выражения художественных произведений, тематизирующих общество потребления и массовой коммуникации. В поп-арте Энди Уорхола, например, в цикле «Банки с супом Кэмпбелл» (1961–1962), такая экспрессивная установка породила сериальный повтор изображения и его совпадение с торговой рекламой, с искусством, пошедшим в услужение конюмеризму.

27 Этот хронотоп был наиболее подробно исследован в трехтомных «Сферах» (1999–2004) Петера Слотердайка; ср. бахтинскую концепцию идиллического мира в «Формах времени и хронотопа в романе» (1937–1938): Бахтин М. *Вопросы литературы и эстетики*. М., 1975. С. 373–384.

праздником, с китайцем-фокусником, завораживающим своим иллюзионистским искусством детей, с привезенным в Москву и собравшим на ее улицах толпы зевак слонем, с разыгрывающими разные роли сумасшедшими в съемках «Канатчиковой дачи», с затевающими «темное дело» жуликами на Сухаревке. Эпизоды в больнице для умалишенных (вообще говоря, отправляющие нас к финалу фильма Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920) эквивалентны у Вертова прочим бытовым сценам, выявляя их абсурдную подоплеку²⁸. В «Столбцах» *homo quotidianus* – это зиддитель зрелища, из которого удалено духовное содержание. Оно отсутствует у участников пиршеств и возлияний, у рыночного зазывалы и уличных артистов, у выставленного напоказ эротического женского тела и губящего себя в спортивных состязаниях мужского, у исполнителей модного танца и посетителей народных гуляний²⁹.

Несходство в использовании одного и того же архетипа кинорежиссером и поэтом в том, что для первого из них застойная повседневность поддается трансцендированию, тогда как для второго она изнутри не преобразуема (заводы в «Столбцах» позиционированы вдали от зарисовок быта, за его границами – где-то «там»). Обновлять быт Вертов поручает в «Кино-Глазе» подрастающему поколению – пионерам, борющимся с рыночной торговлей, помогающим крестьянам, подчиняющим себя групповой дисциплине. В стихотворении Заболоцкого «Незрелость» (1928) детство – такой же сугубо физиологический феномен, как и бездуховное времяпрепровождение, которому предаются взрослые. Предвосхищая Мишеля Лейриса, прочитавшего в январе 1938 года на заседании парижского Коллежа социологии доклад «Сакральное в повседневной жизни», Заболоцкий обнаруживает в как будто сплошь профанной действительности имманентные ей святыни.

Ужели там найти мне место, [...]
где горка – словно Арарат, [...]
где стол стоит и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?
(«Ивановы», с. 132)

28 Документальное кино Вертова конкурировало с игровым за счет того, что было наделено, даже и схватывая «жизнь врасплох», эстетическим качеством. Художественной ценностью его фильмы, начиная с «Кино-Глаза», обладают в той степени, в какой они являют собой не просто набор эпизодов, а некую целостность, имеющую общий смысл, который рождается из того, что взятые из жизни (отчасти инсценируемые) сюжеты сочетаются друг с другом – благодаря гипермонтажу – по сходству или контрасту. Надо думать, что вертовский принцип гипермонтажа скрепляет и композицию текстов в «Столбцах», которую еще предстоит исследовать.

29 К проблеме «Заболоцкий и театр» ср.: Лоцилов И. *Феномен Николая Заболоцкого*. Helsinki, 1997. С. 234–235.

Чтобы попасть в зону сакрального, не нужно прерывать и преодолевать распорядок будничных дел; «бутылочный рай» (с. 118) бытиен, а не инобытиен. Обыденщина и не была никогда пересилена человеком, навсегда оставшимся Адамом:

В тесном торжище природы,
в нищете, в грязи, в пыли,
что ж ты бьешься, царь свободы,
беспокойный прах земли?
(«Меркнут знаки зодиака», с. 174)

В мировосприятии Заболоцкого мы не в силах распорядиться собой не только плененные ущербным бытом, но и помимо него. Согласно записям Леонида Липавского, датированным 1933–1934 годами, Заболоцкий отрицал возможность выбора субъектом самоопределения («Свободы воли ведь нет») и усматривал на манер Книги Екклесиаста в экзистенциальной ситуации человека одну безнадежность: «все люди, неудачники и даже удачники, в глубине души чувствуют себя все-таки несчастными»³⁰. Совершенное Заболоцким радикальное преобразование архетипического взгляда на повседневность состояло в том, что *Dasein* был отождествлен им, как и Мартином Хайдеггером в «Бытии и времени» (1927), с социокультурой во всем ее охвате. *Dasein* имеет у Заболоцкого антитезой не столько сферу производства ценностей, которая подана в «Столбцах» плакативно-насмешливо («Ура! Ура! – заводы воют, / картошкой дым под небеса» («Новый быт», с. 127)) и неопределенно удаленной от наблюдателя, сколько *das Sein*, «пространство бытия», куда в «Свадьбе» улетает тот «огромный дом» (с. 134), где обыватель справлял свой праздник. Тупиковый быт можно победить лишь одним способом – разрушив его:

О, штык, летающий повсюду,
холодный тельцем, кровавой,
о, штык, пронзающий Иуду,
коли еще – и я с тобой
(«Пир», 1928; с. 130)

О, мир, свинцовый [т.е. подобный пуле. – И.С.] идол мой,
хлещи широкими волнами
и этих девок упокой
на перекрестке вверх ногами!
(«Ивановы», с. 132)

Созерцание предметов «голыми глазами», декларированное Заболоцким, онтологично и апокалиптически, коль скоро предпо-

30 Липавский Л. *Разговоры* // Логос. 1993. № 4. С. 68, 62.

лагает их, вполне по Хайдеггеру, «бытие-к-смерти». С ординарностью нельзя справиться иначе, чем насильственным путем. В агрессивности Заболоцкого относительно быта проглядывает желание, как и у многих его современников, например, биокосмистов, еще одной революции³¹, более решительной, чем та, что уже произошла, но в дальнейшем застыла в период НЭПа, выдвинувшего на передний план повседневные человеческие нужды³². Задумываться о том, чем должна стать эта новая революция, Заболоцкий принялся уже во время работы над «Столбцами», в стихотворениях «Лицо коня» и «Деревья» (оба текста были написаны в 1926 году), но подробно изложил свою позитивную программу в позднейших поэмах «Торжество земледелия» (1929–1930) и «Безумный волк» (1931), а также в других произведениях 1930-х.

Раз социополитические возмущения исчерпывают себя тем, что подытоживаются регрессивным обытовлением порыва к небывалому («На какое страшное крушение / наша движется культура!» («Падение Петровой», 1928; с. 165)), возможность подлинного обновления сущего (его «другого начала», о котором размышлял и Хайдеггер³³) следует искать не в человеческой истории, а в природе, в которой есть резерв для совершенствования. Не полагаясь на субъекта и его социокультурные инициативы, развернутые в истории, Заболоцкий переносил чаяние перемен с него на мир объектов, делая ставку на второй виток эволюции в окружающей нас среде. Там, где Вертов идеализировал машину, подменяя человека его же техническими изобретениями, Заболоцкий переименовывал – в глубоком антропологическом скепсисе – природное развитие, ожидая от него иного шага, чем тот, какой привел к формированию людского сообщества. Если техника и апологетизировалась Заболоцким в альтернативном «Столбцам» «Торжестве земледелия»,

31 См. подробно: Смирнов И.П. *Быт и инобытие*. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 256–286. Заголовок первого стихотворного сборника Заболоцкого ведет нас к спискам генеалогий дворянских семейств, известным в допетровской Руси под названием «столбцы». От этого названия пошло именование старинных русских родов «столбовым дворянством». Обыватель, центральная фигура в ранних текстах Заболоцкого, был зачислен им в привилегированный класс пореволюционного общества, захвативший место низложенной политическим переворотом аристократии и в свой черед долженствующий быть ниспровергнутым. Но у «Столбцов» Заболоцкого есть и второе тайное значение. Отправляя нас к родословным книгам XVI–XVII столетия, они противопоставляют своего автора «чинарям», соответственно ассоциированным с росписью гражданских и военных чинов в позднейшей петровской «Табели о рангах» (1722), откуда бы в действительности ни происходило это обозначение литературного союза (1925–1927), сплотившегося вокруг Александра Введенского и Даниила Хармса (скорее всего оно имело в виду ангельские ранги, подробно обсуждавшиеся в трактате Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии»).

32 Знаменательно, что хайдеггеровский анализ здесь-бытия (*Dasein*) также был осуществлен в пору относительной стабилизации жизни в Веймарской республике, наступившую после лишений, понесенных Германией в военные и послевоенные годы. Вскоре после выхода в свет «Бытия и времени» в Германии началось вслед за философским и научное исследование быта – в работе Зигфрида Кракауэра «Служащие» (1930).

33 HEIDEGGER M. *Gesamtausgabe*. Bd. 70. *Über den Anfang* [1941]. Frankfurt am Main, 2005.

то в той мере, в какой избавляла тварь от страданий, выполняя ее работу: «железный конь привозит жито, / чугунный вол привозит квас» (с. 259).

По почину Хлебникова, положенному в «Зверинце» (1909, 1911) и в «Ладомире» (1920, 1921)³⁴, Заболоцкий строил свой утопический расчет на том, что животные и растения таят в себе пока еще не реализованную потенцию стать разумными существами. Природе и культуре предстоит поменяться местами: первая должна очеловечиться, вторая – натурализоваться не в переносном, а в буквальном смысле, ср.:

Я закрываю глаза и вижу стеклянное здание леса.
Стройные волки, одетые в легкие платья,
преданы долгой научной беседе.
(«Безумный волк», с. 280)

Лишь одного ему не доставало –
спокойствия. О, как бы он хотел
быть этой яблоней, которая стояла
одна, вся белая среди туманных тел
(«Лодейников в саду», 1934; с. 324; тот же мотив – в «Деревьях»)

Вслед за Хлебниковым Заболоцкий возрождает в модифицированном виде анимистические верования, но, в отличие от него, требовал не просто устранения экологической несправедливости, которую учредил *homo sapiens*, угнетающий природу, а компенсационного принесения человеком себя в жертву искаженной им естественной среде. Равенство всего витального (превосходящее социально-политический эгалитаризм, провозглашенный Великой французской революцией, и равноправие полов, обещанное после нее утопией Шарля Фурье) достижимо для Заболоцкого лишь при том условии, что человек добровольно откажется от Логоса (запечатленного поэтом в реализованной синекдохе) и передаст его прочей твари:

И если б человек увидел
лицо волшебное коня,
он вырвал бы язык бессильный свой
и отдал бы коню. Поистине достоин
иметь язык волшебный конь.
(«Лицо коня», с. 149).

- 34** В диалог с «Ладомиром» Заболоцкий вступает уже в «Столбцах», в стихотворении «Офорт», в начальных строках которого («И грянул на весь оглушительный зал: / – Покойник из царского дома бежал!» (с. 123)) на волю выпускается один из тех сильных мира сего, кто был в хлебниковской поэме о планетарной революции заключен в свои господские палаты, сделавшиеся гробовыми: «*Гуляйте ночью, костяки, / В стеклянных просеках дворцов, / И пусть чеканят остряки / Остроты звоном мертвецов*» (Хлебников В. *Творения*. М., 1986. С. 286). Если догадка об исходном пункте чрезвычайно темного стихотворения Заболоцкого верна, то «Офорт» следует читать как актуально политический текст о реставрации, сменяющей революционный террор.

ИГОРЬ СМИРНОВ

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

В «Торжестве земледелия» автор «Досок судьбы» и выставлен тем, кто своей смертью искупил урон, причиненный людьми природному порядку:

И мир животный с небесами
тут примирен прекрасно глупо [...]
Так человек, отпав от века,
зарытый в новгородский ил,
прекрасный образ человека
в душе природы заронил (с. 257).

Если второй авангард во Франции ставил в позицию ранне-авангардистского «я»-субъекта, покоряющего все кругом, «я»-объект, заявляющий себя в «автоматическом письме», в художественной обработке сновидений, в критике рациональности, во «внутреннем опыте» (эстетически значимое видение вещей начинается в «Андалузском псе» (1929) Луиса Бунюэля тогда, когда нас ослепляют и мы погружаемся в воображение, свободное от чувственного восприятия), то сопоставимая с сюрреализмом поэзия Заболоцкого доводила такого рода десубъективирование до логического предела, виктимизируя человека, обрекая его на уход с исторической сцены³⁵. Мышление от объекта заходит у Заболоцкого столь далеко, что в «Ночных беседах», не вошедших в окончательный текст «Торжества земледелия», в своих – попраных социокультурой – правах жаждет восстанавиться не только органика, но и неодушевленное вещество:

Также и я хочу сказать, –
произнес камень, лежа на дороге, –
приходит время погибать,
люди стали – словно боги. [...]
В пустыню дальнюю хочу –
дайте крылья, и улечу³⁶.

Иная, чем имевшая место, до того неудачная, история, становится столь же иной, чем была, эволюцией био- и геосферы, увенчивается, по формулировке из тех же «Ночных бесед», образованием «собора животных», включающего в себя в «Торжестве земледелия» людей, а в «Безумном волке» обходящегося и без них. Не исключено, что самозаклание человека ради возник-

35 Сказанное об «я»-объекте у сюрреалистов во многом приложимо и к творчеству Хармса и Введенского – поэзию последнего Заболоцкий знаменательным образом не принял, назвав ее – в предвосхищении «Андалузского пса» – изделием «слепого мастера» («Мои возражения А.И. Введенскому, авто-ритету бессмыслицы», с. 183). В отличие от соратников по группе ОБЭРИУ, Заболоцкому была важна традиция Века Разума (в том числе и русского XVIII столетия) – без стремления обрести интеллектуальную способность, утрачиваемую человеком быта, природа не могла бы пуститься в развитие во второй раз (в антидарвинистскую, неприспособительную эволюцию).

36 Заболоцкий Н.А. *Ночные беседы. Публикация, подготовка текста и вступительная заметка Самуила Лурье* // Звезда. 2003. № 5. С. 62.

новения «собора животных», то есть сообщества, имеющего экклесиологический смысл, восходило у Заболоцкого к положениям доклада «Русская идея» (1888), в котором Владимир Соловьев определил историческую миссию своего отечества как жертвенную, предвидя отречение России от «национального эгоизма», чем будет заложено основание Вселенской церкви и окончательного осуществления всеединства.

Мысль Заболоцкого о том, что человек должен поступиться своей историей в пользу перерождения природы, прямо противоречила «философии общего дела» Николая Федорова, обязывавшего род людской возвести в максимум свою власть над биофизической реальностью:

«Только регуляция естественного процесса, или слепой силы природы, есть истинное отношение разумного существа к неразумной силе; регуляция же – это значит обращение рождающей и умерщвляющей силы в воссоздающую и оживляющую»³⁷.

Призванное, по Федорову, отменить рождение и смерть «объединение сынов (братство) для воскрешения отцов»³⁸ поразительно напоминает – *mutatis mutandis* – заговор братьев, которые в фантастической гипотезе Зигмунда Фрейда («Тотем и табу», 1913) о происхождении авторитета убивают главу семьи, чтобы затем, испытывая чувство вины, обожествить родителя. Культ предков, возрождавшийся в радикализованной форме Федоровым и объяснявшийся Фрейдом в качестве психически обусловленного начала социального порядка, ниспровергается Заболоцким, перефразирующим в «Торжестве земледелия» Евангельскую заповедь «предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8: 22):

Мертвецам – лежать в могиле,
марш в могилу и не лезьте!
Пусть попы над вами стонут,
пусть над вами воют черти,
я же, предками не тронут,
буду жить до самой смерти!
(«Торжество земледелия», с. 262)

Мужик стоял и говорил:
«Холм предков мне не мил» [...]
От мужика все дале отступал
дом прадедов с его высокой тенью,
и чувство нежности к живому поколенью
влекло его вперед на много дней.
Мир должен быть иным.
(«Осень», 1932; с. 314, 316)

37 Федоров Н.Ф. *Супраморализм, или Всеобщий синтез* // Он же. *Собрание сочинений: В 4 т.* / Сост. А.Г. Гачева, С.Г. Семенова. М., 1995. Т. 1. С. 393.

38 Там же. С. 59.

Вместе с «философией общего дела» Заболоцкий оспаривал и ее продолжения, ставшие интеллектуальной модой в 1910–1920-е. Одним из изводов федорианства было учение Константина Циолковского о живой (*in actu или in potentia*) вселенной («Монизм вселенной», 1925), возвращающее нас к образу одухотворенного космоса в платоновском диалоге «Тимей». Для Циолковского (как и для Анри Бергсона) небытия нет, есть только движение атомов, соединяющихся в органическую форму и рассеивающихся после ее смерти в мироздании, чтобы вновь сделаться сгустком рефлексирующей материи. В этом приращении платонизма к «философии общего дела» воскрешение отцов оказывается ненужным, регенерация распадающихся атомарных композиций совершается сама собой, главной задачей человека становится поэтому не превозмогание смерти, а правильная организация его бытия-в-мире. В письме к Циолковскому (18 января 1932 года) Заболоцкий объявлял свое несогласие с отрицанием небытия и с панпсихизмом³⁹:

«Мне неясно, почему моя жизнь возникает после моей смерти. Если атомы, составляющие мое тело, разбредутся по вселенной, вступят в другие, более совершенные организации, то ведь данная-то ассоциация их уже больше не возобновится и, следовательно, я уже не возникну снова. [...] Атом при известных условиях разрушается точно так же, как разрушаюсь (умираю) я. С каждой из составляющих его частиц происходит то же, что и с моими атомами после моей смерти» (с. 231).

Смерть для Заболоцкого конечна, необорима. С ней нельзя справиться техническим, операциональным путем, о котором мечтал Федоров, провидя «воскрешение отцов». Тот, кто, подобно Циолковскому, вовсе устраняет в своем онтологическом мировидении смерть из природы, противоречит себе, не замечая, что он сам – как автоидентичное существо – навсегда исчезает в том новом сочетании биофизических элементов, из которых было составлено его тело, пока оно не подверглось разложению. Заболоцкий был солидарен с Лукрецием Каром, изложившим в третьей книге философской поэмы «О природе вещей» учение о полноте смерти, истребляющей не только плоть, но и душу. По Лукрецию, душа материальна, как и плоть, отличаясь от той лишь особо малым размером атомов, которые ее образуют. Спор Солдата с крестьянами в «Торжестве земледелия» воссоздает утверждение Лукреция о том, что в бранных останках тел душа отсутствует:

39 К полемике Заболоцкого с Федоровым и Циолковским ср.: GOLDSTEIN D. *Nikolai Zabolotsky. Play for Mortal Stakes*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 123–148.

«Так! – сказал пастух лениво, –
вон – среди кладбища могил
их душа плывет красиво,
описать же нету сил. [...]»
А душа пресветлой ручкой
машет нам издалека,
ее тело словно тучка,
платье, вроде как река» [...]»
«Ах, вот о чем разговор! –
воскликнул радостно солдат. –
Тут суевериям большой простор. [...]»
Теперь же я скажу иначе,
предмета нашего касаясь:
частицы фосфора маячат, / из могилы испаряясь» (с. 253–254).

В «Прощании с друзьями» (1952) Заболоцкий подтвердит неизменность своего понимания смерти как необратимого события:

Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.
Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито (с. 650).

Раз регенерация невозможна, будучи не более чем спасительной иллюзией, вынашиваемой социокультурой, вторую жизнь нужно искать в природе, возлагая надежду на ее так сказать ресапиентизацию.

Разногласия Заболоцкого с Федоровым затрагивали как главный тезис «философии общего дела», так и следовавшие отсюда отдельные ее идейные слагаемые. Тогда как для Федорова (как и для Михаила Бакунина) вертикальное положение нашего тела означало восстание против *ordo naturalis*, что служило в «философии общего дела» доводом в пользу дальнейшего «самоустроения человека»⁴⁰, которому предстоит победить Танатос, у Заболоцкого подъем над землей таит в себе опасность падения. Даже в преображенном, ставшем разумным природном царстве устремление ввысь обещает, как гласит концовка «Безумного волка», не отмену смерти (полет завершается в поэме гибелью нового Икара), а только расширение пространства обитания:

Лежи смирно в своей могиле,
Великий Летатель Книзу Головой.
Мы, волки, несем твое вечное дело
туда – на звезды – вперед! (с. 281)⁴¹

40 Федоров Н. Ф. *Горизонтальное положение и вертикальное – смерть и жизнь* // Он же. *Собрание сочинений*... Т. 2. С. 256.

41 Ср.: Лощилов И. «Соединив безумие с умом...» *О некоторых аспектах поэтического мира Н. А. Заболоцкого* // *Семиотика безумия* / Под ред. Н. Букс. Париж; М., 2005. С. 150–151, 158–159.

Музей, в котором Федоров усматривал промежуточный этап в движении человечества от «небратского состояния» к воскрешению отцов, снижается в «Столбцах» до коллекции аномалий и уродств, намекающей в «Белой ночи» на петровскую Кунсткамеру⁴².

Нужно, впрочем, подчеркнуть, что прения Заболоцкого с «философией общего дела» не просто отбрасывают доктрину Федорова, а учитывают его отправные посылки, чтобы вывести из них иные, чем уже бывшие предпринятыми, умозаключения. Заголовок поэмы «Торжество земледелия» повторяет с незначительным расхождением одно из двух названий сочинения Тимофея Бондарева «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца», выдержки из которого Лев Толстой опубликовал вместе со своим предисловием в 1888 году. Спустя шесть лет Федоров откликнулся на эту публикацию, критикуя народную утопию крестьянина-сектанта Бондарева и – того пуще – суждения принявшего ее Толстого. Согласно Бондареву, всем «потомкам Адама» следует, исполняя ветхозаветную заповедь, заниматься «хлебным трудом», если и не регулярно, то по меньшей мере 30 дней в году. Так будет достигнуто вселенское единство, установлению которого мешает множественность вероучений. По убеждению Федорова, Бондарев и Толстой легкомысленно недооценивают умственный труд. Только вкупе со знанием «слепая» производительность станет «целесообразной» и претворится в воскрешение отцов. Рознь в людском общежитии нельзя прекратить посредством толстовского непротivления злу. Способом объединения человеческого рода служит не отказ от воинской повинности, а переименование задачи, стоящей перед армиями, которые будут призваны направить свою технику на покорение природы:

«Войско со всеми орудиями войны, будучи обращено в естествоиспытательную силу, не в смысле только наблюдения, но и в видах воздействия на слепую силу, может сделаться оружием и средством спасения. И тогда именно поступление в войска будет переходом к хлебному труду, [...] необходимым для села»⁴³.

Несущий знание крестьянам Солдат в поэме Заболоцкого олицетворяет собой эту федоровскую программу:

Председатель многополя
и природы коновал –
он военное дреколье
на серпы перековал (с. 270).

42 О мотиве кунсткамеры в «Столбцах» см.: GOLDSTEIN D. *Op. cit.* P. 57; Лоцилов И. *Феномен Николая Заболоцкого*. С. 68.

43 Федоров Н.Ф. «Не-делание» или же отеческое и братское дело? // Он же. *Собрание сочинений...* Т. 2. С. 351.

Как и Федорова, видевшего в воскрешении усопших замену прокреативности, Заболоцкого не удовлетворяет родовая воспроизводимость – не более чем *regressus ad infinitum*. Солдат заявляет в «Торжестве земледелия» Предкам: «не пойдем ли мы обратно, / если будем лишь рожать?» (с. 262). Но в разительном отличии от Федорова Заболоцкого манит не бессмертие, а искоренение зла неравенства, существующего между сознающим себя человеком и эксплуатируемыми им животными: «Воспряньте, умные коровы, / воспряньте, кони и быки» (с. 266). Если Федоров отрицал социалистическую идеологию как явление ресентимента, считая, что в ней «под сокрушением о бедных [...] скрывается зависть к богатым»⁴⁴, то Заболоцкий делает обновление природы аналогом социально-политической революции и условием для возведения совершенного порядка в человеческом мире.

ИГОРЬ СМIRНОВ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...



Илл. 7. Племенной жених
(«Старое и новое»).

Документалистика Вертова, для которого киномедиум, переворачивающий умирание в оживление, был техническим шагом в направлении исторического движения, предсказанном Федоровым, уходит в интермедиальном построении «Торжества земледелия» на второй план. Единственный пассаж в поэме, позволяющий подозревать оглядку Заболоцкого на творчество Вертова, – тот, что содержит в себе мотив Днепрогэса: «Сквозь битвы, громы и труды / я вижу ток большой воды – / Днепр виден мне, в бетон зашитый» (с. 259). Как и в «Одиннадцатом», где, по уже сказанному, фигурирует извлеченный из древнего

⁴⁴ Там же. С. 361.

ИГОРЬ СМIRHOV
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...



Илл. 8. Колхозная невеста («Старое и новое»).

захоронения прах скифа, сооружение будущей электростанции совмещено у Заболоцкого с проникновением в толщу времен: «Рычаг плугов и копыя борон / вздымают почву сотен лет» (там же). На передний план в «Торжестве земледелия» выдвигается интермедийальный контакт со «Старым и новым» («Генеральной линией») Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова (1929), фильмом, стирающим грань между игровым и документальным кино и противопоставляющим вертовскому реверсу Танатоса эротизацию машины (сепаратора) и природы⁴⁵. Заболоцкий переносит из этого фильма в свой текст сепаратор, приводящий сельских жителей в восторг («Там, сепаратор, медленно кружа, / смеялось множество крестьянок», с. 269)⁴⁶; сон Марфы Лапкиной о быке, вздымающемся над миром («Коровы, мне приснился сон. / Я спал, овчиною закутан, / и вдруг от-

45 Эйзенштейн и Александров издевательски заменяют оживших быков Вертова на стадо свиней, бросающихся в воду, – (словно бы в них вселились бесы, как в евангельском рассказе об Иисусе в стране Гергесианской (Мф. 8: 32), но эти кадры пародируют также один из киносюжетов братьев Люмьер, в котором конница переплывает реку) и затем разделяемых на мясокомбинате. Отрывок «Старого и нового» о свиньях завершается кадром с игрушечной фигуркой веселого поросенка; по всей вероятности, он потешается над создателем «Кино-Глаза».

46 Ср. замечания об эйзенштейновском сепараторе также в стихотворении «Отдых» (1930): Лощилев И. *Феномен Николая Заболоцкого*. С. 129.

крылся небосклон [...] / и посреди большого зданья / стояла стройная корова / в венце неполного сознания. / Богиня Сыра, Молока, / главой касалась потолка», с. 263–264); сцену с коровой-невестой в цветах и бантах («Корова в формулах и лентах / пекла пирог из элементов», с. 264) (илл. 7, 8); вереницу телег, которые тянет за собой трактор («И тяжелые, как дома, / закачались у межи, / медным трактором ведомы, / колесницы крепкой ржи», с. 270). Борьба крестьян с бюрократией, знаменовавшая в «Старом и новом» их превращение в хозяев земли, не оставила в «Торжестве земледелия» никаких следов. Социально-политический аспект фильма не интересовал Заболоцкого, для которого сталинская коллективизация крестьянских дворов была не более чем поводом, чтобы завязать диалог с мирообъемлющими утопиями Федорова, Хлебникова и Циолковского.

ИГОРЬ СМИРНОВ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ
И ДЗИГА ВЕРТОВ...

ЕЛИЗАВЕТА
ПРОНЯКИНА

«Арктические сны» России: Арктика и Север в академическом и общественно-политическом дискурсе



Россия – часть Арктики. Это утверждение давно уже стало аксиомой российского и общемирового политического дискурса. То, что Россия является одним из восьми арктических государств, обладающих суверенитетом над северными территориями и акваториями, а также широкими правами на освоение, развитие и исследование Арктики, не вызывает сомнений даже сегодня, в эпоху тотального пересмотра существующего миропорядка. А вот осмыслению того, что Арктика – часть России, в российском общественном мнении и медиа уделяется куда меньше внимания. Причины такого подхода к восприятию «русской» Арктики и будут рассмотрены в этой статье.

Северные земли всегда обладали для России особым значением и смыслом. Это обусловлено географическими, экономическими и демографическими факторами: Арктическая зона Российской Федерации занимает около 18% национальной территории, в северных регионах производится свыше 10% ВВП страны, а население русской Арктики составляет 2,4 миллиона

CASE
STUDY



человек – то есть больше половины населения Арктики в целом¹. Для российского государства высока и стратегическая значимость Арктики: по ней проходят масштабные транспортно-логистические артерии Северного морского пути, а кроме того, здесь расположены системы противоракетной обороны и военные базы. Однако ценность Арктики для русского человека не исчерпывается ее материальными богатствами. По этой причине Юрий Лукин справедливо отмечает:

«Значимость арктического пространства со временем не уменьшается, а возрастает, приобретая даже преимущественно не экономически прагматическую сущность как нового арктического макрорегиона, а какую-то совершенно иную метафизическую, сакральную ценность»².

«Многомерность» Арктики, ее многозначность была и остается своеобразным вызовом для географов, экономистов, этнографов, культурологов и, конечно, политологов, превращая изучение этого региона в сложный междисциплинарный процесс. Если же говорить не об ученых, то в глазах большинства российского населения Арктика предстает чем-то удивительным и далеким, непостижимым и недостижимым. О «вхождении» Арктики в общественно-политический дискурс современной России, о противоречиях, связанных с этим таинственным регионом, пойдет речь далее.

ЕЛИЗАВЕТА ПРОНЯКИНА
«АРКТИЧЕСКИЕ СНЫ»
РОССИИ...

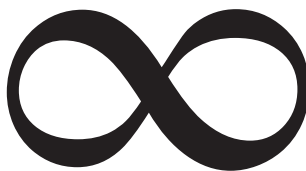
Елизавета Дмитриевна Пронякина – доцент кафедры международных отношений РАНХиГС (Санкт-Петербург), научный руководитель студенческого научного коллектива по исследованиям Арктики и стран Северной Европы.

БЕСКРАЙНИЙ И КРАЙНИЙ СЕВЕР ВО ВРЕМЕНА МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Арктика притягивала и продолжает притягивать и вдохновлять путешественников, ученых, искателей приключений. Суровый климат делал ее местом искупления и духовного очищения, полюсом религиозного притяжения, «краем мира» и концом всех мирских страданий. Сюда начиная с XV века шли «Божьи люди»; сюда же ссылали заговорщиков, раскольников и «обычных» каторжников. Государство считало, что суровая природа сама покарает их, а потому и тюрем как таковых на Крайнем Севере не было – вплоть до советского периода, когда в июне 1923 года на территории Соловецкого монастыря был создан один из самых страшных лагерей ГУЛАГа: Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). «На Соловецких островах любое

1 См.: *Прошлое и будущее Северного морского пути: специальный проект ТАСС* (<https://icebreakers.tass.ru/>); *Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России* // РИА «Новости». 2022. 21 мая (<https://ria.ru/20200521/1571761572.html>).

2 Лукин Ю.Ф. *Многомерность пространства Арктики*. Архангельск: САФУ имени М.В. Ломоносова, 2017. С. 8.



явление возрастает в значении, укрупняется, приобретает знаковую форму», – пишет историк Василий Матонин³. И это утверждение применимо не только к Соловкам, но и к Северу в целом. В освоении Арктики индивидуальные усилия всегда имели огромное значение.

Государственные структуры подключились к этому процессу заметно позже пионеров-подвижников. Освоение русского Севера начиналось с его европейской части. В значительной мере оно диктовалось необходимостью обеспечить безопасность северных торговых маршрутов. Большую роль в познании арктических территорий сыграли монахи, шедшие на Север за спасением. В 1436 году был основан Соловецкий монастырь, а почти столетие спустя, в 1533 году, – Трифонов Печенгский монастырь, ставший первой православной обителью за Полярным кругом. Фактически именно монастыри сделались двигателями технологического прогресса на Крайнем Севере – например, в их кельях была разработана специальная система ведения сельского хозяйства в условиях Арктики. Кроме того, они выполняли и функции пограничных крепостей.

Первое постоянное русское поселение, основанное великокняжеским указом (то есть светской властью) – Пустозерск, – появилось в 1499-м, в самом конце XV века. Однако к середине XVII столетия торговая жизнь в городе постепенно затухает, а через несколько десятилетий он и вовсе превращается в тюрьму – место ссылки политических преступников и раскольников, прежде всего старообрядцев. Эта история способствует закреплению за Севером мрачного и несправедливого образа «ледяной тюрьмы»; в действительности же регион в то время был таковой в гораздо меньшей степени, чем вся остальная Россия. Многочисленные раскольники, сосланные на Мезень и в Пустозерск, основывая скиты, способствовали развитию этих территорий: старообрядчество пустило здесь глубокие корни и существует до сих пор. Николай Окладников пишет:

«На Мезене и на Печоре есть Протопоповы, которые считают себя потомками протопопы Аввакума. Насколько это так, судить трудно, но мезенские старообрядцы, в том числе мезенские купцы Протопоповы, чтят память протопопы Аввакума»⁴.

Пожалуй, из всех северных городов европейской Арктики, заложенных на заре освоения этого региона, в полной мере оправдал себя только Архангельск, который и сегодня остается неформальной столицей российской Арктики, ее научным и

3 Матонин В. *Соловки. От монастыря к лагерю* // GoArctic.ru. 2021. 11 января (<https://goarctic.ru/society/solovki-ot-monastyra-k-lageryu/>).

4 Окладников Н.А. *Пустозерские страдальцы: из истории пустозерской ссылки в XVII–XVIII вв.* Нарьян-Мар: АН СССР; Географическое общество СССР, архангельский филиал, 1992. С. 69.

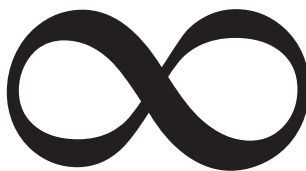
университетским центром. Следующий большой город арктической зоны, существующий по сей день, Мурманск, был основан только в 1916 году, когда царская Россия, озаботившись на исходе своего существования комплексным освоением Севера, решила создать здесь портовый и железнодорожный узел. (До 1917 года этот населенный пункт назывался Романов-на-Мурмане.) Как известно, эти попытки были прерваны революцией, а затем – еще более ощутимо – гражданской войной и интервенцией. В результате социально-политических катаклизмов Русский Север снова станет ассоциироваться с тюрьмой, страданием, искуплением. Интересно, однако, что научный интерес к Арктике не ослабевает даже в период гражданской войны; среди прочего об этом свидетельствует тот факт, что в 1919 году сибирское правительство адмирала Александра Колчака, который, как известно, был полярным исследователем, учредило Комитет Северного морского пути («Комсеверопуть»), призванный способствовать продолжению исследовательских работ в Арктике и «осуществлению товарообменных экспедиций из стран Европы и Европейской части России в Западную Сибирь»⁵. Позже советская власть продолжила и расширила дореволюционные планы и проекты, касающиеся исследования и освоения Арктики.

Первые одиночные исследователи русского Севера были движимы скорее страстью путешественников-первопроходцев, нежели прагматизмом коммерсантов и честолюбием политиков. Получаемые ими сведения о Крайнем Севере, несмотря на свою обрывочность и неполноту, имели немалую ценность для организации последующих экспедиций. В частности, казачьего атамана Семена Дежнева, достигшего восточной оконечности Евразии и побережья Тихого океана, считают если не первооткрывателем, то провозвестником Северного морского пути. Действительно, именно после его экспедиции (хотя вернее было бы сказать «странствия») 1648–1660 годов «стало примерно понятно, как выглядит арктическое побережье Евразии, оставалось лишь изучить его и нанести на карту»⁶.

К XVIII веку сформировалось довольно четкое представление об огромном ресурсном, экономическом и логистическом потенциале Русского Севера, которое дополнялось весьма приблизительным представлением о его масштабах и границах. Тем не менее недостаток информации не мешал современникам высказывать надежды на то, что «России могут существовать

5 Великанова И. *Почему Россия претендует на Арктику?* // РИА «Новости». 2021. 26 мая (<https://ria.ru/20160209/1371776014.html>).

6 *История освоения русской Арктики: от поморских кочевий к атомным ледоколам* // Arctic Russia. 2020. 5 февраля (<https://arctic-russia.ru/article/istoriya-osvoeniya-russkoy-arktiki-ot-pomorskikh-kochey-k-atomnym-ledokolam/>).



будет прирастать Сибирью и Северным океаном». Еще более весомым подтверждением крепнущего интереса государства и его ученых к Северу можно считать полярные экспедиции, снаряженные в то время. Между 1728-м и 1765 годами – менее, чем за сорок лет – были подготовлены три масштабные экспедиции: Первая Камчатская и Великая Северная, которыми руководил Витус Беринг, а также Арктическая во главе с Василием Чичаговым. Великую Северную экспедицию историографы нередко называют «бесконечной»: действительно, в той или иной мере все последующие российские, а затем и советские экспедиции на Север выступали ее продолжением, основываясь на ее открытиях и восполняя ее пробелы⁷. По собранным ею материалам в 1746 году была составлена «Карта генеральная Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному океанам с частью вновь найденных через морские плаванья западных американских берегов и острова Япона» – первая подробная и достаточно точная карта российского побережья Северного Ледовитого океана и прилегающих к нему территорий. Михаил Ломоносов, который сам был уроженцем Русского Севера, не только снаряжал арктические экспедиции, но и систематизировал полученные ими данные, а также внимательно следил за изысканиями ученых из Европы. Таким образом, XVIII век можно считать началом если и не полномасштабного освоения, то уж точно систематического исследования российской части Арктики.

Труды Ломоносова и его сподвижников были продолжены исследователями и путешественниками XIX века – Фердинандом Врангелем, Федором Матюшкиным, Федором Литке. Последний подробно описал результаты своих арктических экспедиций в книге «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан в 1821–1824 годах». Объемы знаний как о самом Северном Ледовитом океане, так и о его побережье, накопленные русскими мореплавателями и учеными к завершению столетия, в конце концов, позволили сделать освоение Арктики одним из важных государственных дел. В 1894 году министр финансов Сергей Вите разработал первую государственную программу социально-экономического развития Крайнего Севера. Как уже говорилось, революция и гражданская война лишь приостановили арктические проекты государства, но не исключили Крайнего Севера ни из научного, ни из общественно-политического дискурса.

7 *Вторая Камчатская экспедиция. Документы. 1730–1733. Ч. V: Морские отряды / Сост. Н. Охотина-Линд, П. У. Меллер. М.: Памятники исторической мысли, 2001. С. 9–10.*

СОВЕТСКАЯ АРКТИКА, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ГЕРОИЧЕСКАЯ И ЛАГЕРНАЯ

ЕЛИЗАВЕТА ПРОНЯКИНА
«АРКТИЧЕСКИЕ СНЫ»
РОССИИ...

Молодое советское государство практически сразу приступило к активному изучению и освоению своих северных территорий. Этому отчасти способствовал повышенный интерес, проявленный западными державами к Арктике в годы Первой мировой и гражданской войн. В XX веке Арктика начинает приобретать важное военно-стратегическое значение; это было связано в первую очередь с появлением и быстрым развитием ледокольного флота. Впервые за всю историю Арктика становится относительно доступной для человека, что приводит к резкому всплеску международной конкуренции за регион.

С 1920-х стартовали регулярные Карские, а с 1923 года Северо-восточные экспедиции, которые к 1927-му достигли устья реки Лены. С 1929 года в исследованиях высоких широт началось систематическое применение ледоколов: именно тогда экспедиция во главе с Отто Шмидтом на ледоколе «Георгий Седов» отправилась к Земле Франца-Иосифа. На следующий год новая экспедиция на «Седове» под тем же руководством впервые прошла вдоль западного побережья Северной Земли, открыв несколько неизвестных островов. После удачного прохождения Шмидтом Северного морского пути за одну навигацию Совет народных комиссаров СССР постановлением от 17 декабря 1932 года учредил Главное управление Северного морского пути – Главсевморпуть, ведомство, которое под другим названием функционирует и сегодня. С этого момента советская власть провозглашает освоение Арктики важной государственной задачей, напрямую затрагивающей не только социально-экономическое развитие «страны победившего пролетариата», но и ее безопасность. В годы Второй мировой войны, а затем и на протяжении «холодной войны» советская Арктика играла роль военного плацдарма и коммуникационного узла, через который снабжалась территория СССР. Утверждение арктического суверенитета и расширение присутствия в регионе стало для Советской страны важной внешнеполитической задачей.

Власти СССР уделяли большое внимание не только непосредственному освоению Арктики и Сибири, но и информационному обеспечению этого процесса. Спасение потерпевшей крушение итальянской экспедиции Умберто Нобиле ледоколом «Красин», состоявшееся летом 1928 года, способствовало привлечению международного внимания к арктической проблематике. Казалось, весь мир следил за сложнейшей спасательной операцией. А после открытия в 1937 году дрейфующей станции «Северный полюс-1» первой высокоширотной экспе-



дицией под руководством Ивана Папанина в советской и мировой прессе утвердился настоящий культ героев-полярников.

Стратегия развития Арктики, реализуемая в то время, была комплексной и затрагивала почти все сферы жизни региона. Среди прочего советский период был отмечен существенным приростом населения Арктической зоны – прежде всего за счет вахтовиков, заключенных и вынужденных переселенцев. Обживаясь на территориях Крайнего Севера и смешиваясь с коренным населением, эти люди, большая часть которых были насильственно выслана сюда советской властью, постепенно сформировали достаточно широкую социальную группу с собственной локальной идентичностью; ее представители предпочитали именовать себя «северянами».

«Если в начале XX века этнические различия между разными “приезжими” были для местного населения безразличны, и все они назывались “русскими”, то сегодня, в начале XXI века точно так же начинают стираться этнические различия между жителями Сибири и Севера, и на фоне “русских” – то есть всех жителей европейской части Российской Федерации – они все больше осознают себя “сибиряками” и “северянами”»⁸.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что к началу XXI века произошло обособление Арктики как самобытной и самодостаточной территории внутри России, причем не только в экономическом плане, но и в перспективе формирования региональной идентичности. Параллельно происходил процесс отмирания традиционных жизненных укладов коренных народов Крайнего Севера. Насильственная ассимиляция, начавшаяся еще в имперские времена и продолженная коммунистической властью, жесткая по отношению к малым группам национальная политика, строительство крупных промышленных комплексов в местах традиционного проживания и хозяйствования северных народов привели к необратимым социально-демографическим и экологическим последствиям⁹. Многие элементы культуры коренных жителей Русского Севера сегодня существуют исключительно в форме музейных экспонатов.

С распадом Советского Союза масштабные исследовательские проекты в Арктике были временно остановлены или просто заброшены, поскольку похудевший государственный бюджет не мог поддерживать их финансирование. Это привело к тому, что Арктика почти полностью ушла из информационного пространства страны – ее начали воспринимать как безнадежно периферийный и проблемный регион. Правда, даже в то

⁸ *Население Сибири и Севера* / Ответ. ред. А.М. Пиир. СПб.: Нестор-история, 2016. С. 33.

⁹ Подробнее см.: Слезкин Ю. *Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера*. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

трудное время продолжали свою работу российские полярные станции, а с 2002 года лагерь «Борнео», расположенный на российской дрейфующей ледовой базе в Арктике, даже начал принимать арктических туристов – преимущественно богатых иностранцев. Вместе с тем, хотя социально-экономическое развитие региона за счет местных ресурсов в силу обстоятельств было отодвинуто на второй план, Россия по-прежнему продолжала развивать свои северные территории – в основном благодаря участию в региональных международных проектах, подобных «Северному измерению» или программе Совета Баренцева / Евроарктического региона¹⁰.

ЕЛИЗАВЕТА ПРОНЯКИНА
«АРКТИЧЕСКИЕ СНЫ»
РОССИИ...

С распадом Советского Союза масштабные исследовательские проекты в Арктике были временно остановлены или просто заброшены, поскольку похудевший государственный бюджет не мог поддерживать их финансирование.

Это, кстати, повлекло за собой два значимых для национального восприятия Арктики следствия. Во-первых, российское руководство все чаще позиционировало Арктику именно как международную зону, «регион сотрудничества» и «территорию международного согласия», сознательно уходя от любых негативных коннотаций и упоминаний соперничества. Во-вторых, заметно увеличился разрыв между европейской частью Арктической зоны Российской Федерации, которая, собственно, и была охвачена упомянутыми интернациональными проектами и рассматривалась как «международная Арктика», и восточной, сибирской ее частью, которая оставалась менее доступной для внешних акторов. Этот разрыв, несмотря на активизацию усилий государства по его ликвидации, заметен и сегодня. Таким образом, в 1990-е Россия была вынуждена на время умерить свои арктические амбиции, согласовывая свою политику в регионе с другими арктическими странами. Можно сказать, что распад СССР ознаменовал собой новый этап в развитии как «русской» части Арктики, так и региона в целом – этап «открытой» Арктики.

10 «Северное измерение» – инициатива регионального сотрудничества на проектной основе, в которой на равных правах с 2006 года участвовали Европейский Союз, Исландия, Норвегия и Россия. Совет Баренцева / Евроарктического региона – орган межправительственного взаимодействия Норвегии, России, Финляндии и Швеции, функционирующий с 1993 года. В 2021-м участие России в этих структурах было приостановлено.



ПОСТСОВЕТСКАЯ АРКТИКА, ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ

Полномасштабное «возвращение» России в Арктику началось только в 2007 году и совпало с попытками восстановить международные позиции страны. В августе 2007 года состоялось первое в истории погружение человека на дно Северного Ледовитого океана – с помощью глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Спуск прошел успешно: на дне у Северного полюса установили флаг России, изготовленный из титана, а также взяли пробы грунта. Фотографии этой акции быстро облетели земной шар, возбудив дискуссию в мировой прессе. Оценки западных партнеров – прежде всего Дании и Канады – концентрировались на притязаниях России на континентальный шельф и морское дно Арктики; в них преобладало нескрываемое беспокойство. Тем не менее британская газета «The Guardian», подчеркивая символический характер водружения российского триколора на Северном полюсе, одновременно отмечала, что амбиции страны едва ли будут реализованы. Газета цитировала министра иностранных дел Канады Питера Маккея: «На дворе уже не XIV век. Вы не можете просто так приехать, водрузить свой флаг и сказать: “Мы объявляем эту территорию своей!”»¹¹. Тревоги канадской стороны относительно желания России расширить свои арктические владения, как оказалось позже, были небезосновательными: в августе 2015 года Россия повторно направила в подкомиссию ООН заявку на расширение своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров, дополнив ее данными, полученными при погружении аппаратов «Мир» в 2007 году. По сообщениям прессы, в начале 2023-го комиссия ООН по границам континентального шельфа предварительно вынесла положительное решение по российской заявке, что существенно увеличивает шансы Российской Федерации на включение этих территорий в свои арктические владения¹². Таким образом, Россия не просто подтвердила свой статус арктической державы, но и напомнила самой себе о том, что Арктика остается одной из приоритетных сфер ее национальных интересов.

В последующие годы активность России в Заполярье только нарастала. В 2013-м и 2020 годах были приняты две Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации: до 2020-го и до 2035 года соответственно. В арктической повестке страны

11 PARFITT T. *Russia Plants Flag on North Pole Seabed* // The Guardian. 2007. August 2 (www.theguardian.com/world/2007/aug/02/russia.arctic).

12 См.: ВЕСЕЛОВА П. *Комиссия ООН одобрила заявку России на морское дно Северного Ледовитого океана* // Мурманский вестник. 2023. 22 февраля (www.mvestnik.ru/news/ent/komissiya-oon-odobrila-zayavku-rossii-na-morskoe-dno-severnogo-ledovitogo-okeana/).

долгосрочное планирование – с акцентированием вопросов безопасности – снова вышло на первый план. Так, в тексте «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» в качестве фундаментального национального интереса в этой зоне провозглашается именно «обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации» и лишь после этого говорится о важности международного сотрудничества и поддержании мира в регионе¹³.

Государственные стратегии и программы, посвященные развитию Арктической зоны Российской Федерации, начали широко обсуждаться на площадках различных международных арктических форумов, проводимых российской стороной с привлечением иностранных партнеров из числа как арктических, так и неарктических государств. Наиболее известные из них – международные арктические форумы «Арктика – территория диалога» и «Арктика: настоящее и будущее». Здесь организуются дискуссии с участием чиновников, бизнесменов, ученых. Символично, что в последнее время на этом поле активизировались неправительственные профессиональные ассоциации, созданные еще в советский период. Так, Ассоциация полярников России, основанная в 1990 году как профессиональное сообщество, существенно расширила спектр своей деятельности: теперь она уделяет особое внимание образовательным проектам, действуя под девизом «Арктика – дело каждого»¹⁴. Большинство российских организаций, занимающихся арктической проблематикой, позиционируют себя в качестве сетевых структур, цель которых – сделать Арктику «видимой» и значимой для людей, проживающих не только в ней, но и в других регионах страны.

К моменту полномасштабного «возвращения» России в Арктику существенно изменились как сам регион, так и его восприятие мировым сообществом. Глобальное потепление, буквально открывающее доступ в арктические широты неарктическим игрокам – прежде всего Индии и Китаю, – а также многократно возросшая за последнее десятилетие геополитическая напряженность, превратили ее территорию в зону повышенной конфликтности. И, хотя Россия (вероятно, по инерции) время от времени продолжает позиционировать Арктику как регион беспрецедентного международного сотрудничества, в правящих кругах страны все чаще звучит тревога относительно ее интернационализации. Так, выступая на V Международном форуме «Арктика – территория диалога» в апреле 2019 года, министр

13 См.: Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2020 года «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» (www.kremlin.ru/acts/bank/45255).

14 См. официальный сайт этой организации: <https://aspolf.ru/about/general-information>.



иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что Россия, имеющая самую большую арктическую зону, неизменно рассматривает Арктику как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства, добавил: «Устойчивое развитие [региона] возможно только при ответственном и бережном подходе, при безусловном отказе от архаичных геополитических игр с “нулевой суммой”»¹⁵. Разумеется, на фоне подобной риторики в официальном политическом дискурсе все чаще упоминается и «арктический суверенитет» России.

Хотя Россия время от времени продолжает позиционировать Арктику как регион беспрецедентного международного сотрудничества, в правящих кругах страны все чаще звучит тревога относительно ее интернационализации.

Соответственно, любые попытки «выдавить» Россию из Арктики или подвергнуть сомнению ее арктические притязания рассматриваются ею как экзистенциальная угроза национальной безопасности. Так, в январе 2023 года, реагируя на намерения других арктических государств изолировать страну в Арктике, исключив ее из региональных советов, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил:

«То, что они [западная пресса. – *примеч. ТАСС*] пишут, что России надо мешать, они что-то сильно активно работают в Арктике – это оценка работы правительства со стороны наших недоброжелателей. Мы же с вами видим, какую позицию занимает президент Российской Федерации, я не думаю, что нас от чего-то куда-то можно “отжать”»¹⁶.

В свете геополитических сдвигов последних двух лет российские власти были вынуждены признать, что разговоры о равноправном партнерстве в Арктике придется оставить, а акцент при выборе партнеров следует сместить в сторону тех стран, которые «позитивно» относятся к Российской Федерации. Однако если подходить к поиску партнеров реалистично, то становится ясно, что все они будут внерегиональными игроками. Ведь на данный момент все арктические государства, кроме Швеции – да и то ее наверняка скоро примут в альянс, –

15 Глава МИД России Сергей Лавров выступил на V Международном форуме «Арктика – территория диалога» // Международная жизнь. 2019. 9 апреля (<https://interaffairs.ru/news/show/22160>).

16 Трутнев: Западные недоброжелатели не смогут помешать плану России по развитию Арктики // ТАСС. 2023. 26 января (<https://tass.ru/ekonomika/16889941>).

являются членами НАТО, так что говорить об их «позитивном» отношении к России не приходится. Самым очевидным и пока безальтернативным арктическим партнером для нашей страны на данный момент выступает Китай. Оказавшись под санкциями со стороны западных стран и будучи *de facto* исключенной из всех региональных арктических советов, Россия в своей арктической политике вынуждена совершать «разворот на Восток», открывая для Китая беспрецедентные возможности в Арктике¹⁷. В этом есть определенный парадокс: чтобы отстоять в трудное время свой арктический суверенитет, России приходится делиться им с Китаем. И если в краткосрочной перспективе столь тесное сотрудничество позволяет решить ряд конкретных задач по развитию Арктической зоны Российской Федерации, то в долгосрочном плане оно способно поставить под вопрос статус России как великой арктической державы.

ЕЛИЗАВЕТА ПРОНЯКИНА
«АРКТИЧЕСКИЕ СНЫ»
РОССИИ...

АРКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БУДУЩЕГО

Несмотря на многовековую историю исследований и развития Крайнего Севера, «русская» Арктика по-прежнему остается территорией не до конца проговоренных и отрефлексированных намерений России. В силу этого обсуждение ее проблем на всех уровнях, включая экспертный, порой может показаться эклектичным, лишенным четкого направления и осязаемой цели. Но, оценивая этот факт, важно помнить, что отношение к Арктике в российском обществе не раз менялось – в зависимости от исторических событий, политических трансформаций, экономических потребностей государства. Увлеченность жителей Московского царства, Российской империи и СССР Арктикой во многом сдерживалась нехваткой материально-технических ресурсов: ведь северные территории были и до сих пор остаются труднодоступными и требующими больших государственных вложений. Вместе с тем за Арктику никогда не приходилось бороться с воинственными соседями – в этой зоне их у России практически не было, если не считать немногочисленных племен, проживавших севернее Уральских гор. На это обстоятельство стоит обратить особое внимание, поскольку именно оно позволяло в разные эпохи откладывать арктический вопрос «на потом» и не спешить с хозяйственным освоением региона. Сегодня, однако, эпоха безмятежного господства России на Севере закончилась: свое эксклюзивное право на Арктику ей придется отстаивать перед лицом как арктических, так и неарктических государств.

17 FILIPPOVA L. *China's New Role in the Arctic* // BRICS Information Portal. 2023. July 3 (<http://infobrics.org/post/38753>).



Еще одна актуальная проблема российской Арктики – народонаселение, а точнее, его нехватка. После завершения активной индустриализации Арктической зоны, отличавшей советский период, число жителей региона стало стремительно сокращаться, а бывшие промышленные центры начали умирать. Попытки государства удержать людей на северных территориях с помощью больших зарплат и дополнительных социальных гарантий не увенчались успехом. В последние годы правительство Российской Федерации уделяет большое внимание поиску альтернативных стратегий развития арктических населенных пунктов; среди них, например, стратегия «управляемого сжатия» городов¹⁸. Однако для национального менталитета, веками отождествлявшего оседлость с развитием и защитой территорий, «кочевой» образ жизни для Арктики кажется неорганичным и небезопасным.

Эпоха безмятежного господства России на Севере закончилась: свое эксклюзивное право на Арктику ей придется отстаивать перед лицом как арктических, так и неарктических государств.

Немаловажными в контексте описываемых проблем остаются и особенности образа жизни и мировоззрения населения современной российской Арктической зоны. Арктика очень требовательна к тем, кто живет в ней. В первую очередь она настаивает на компетентности: житель Севера априори должен быть специалистом по выживанию в трудных условиях, причем даже сейчас, когда, казалось бы, высокие технологии позволяют минимизировать многие имеющиеся риски. Здесь уникальное традиционное знание коренных народов причудливо переплетается с передовыми наработками. Как подчеркивают специалисты, несмотря на все впечатляющие инновации, на Севере по-прежнему не меньше значат традиции длительного человеческого сосуществования с суровой северной природой: их назначение в том, «чтобы современный человек, представитель урбанистического мира, смог удержаться и не разрушить бесповоротно эту хрупкую вселенную, пытаясь просто привнести свое “городское” представление о ее устройстве»¹⁹. Арктика, таким образом, одновременно представляется и самым передовым, и самым традиционалистским регионом

18 Подробнее см.: ЗАМЯТИНА Н.Ю. *Пульсирующие города. Почему Арктику не получится осваивать только вахтой, какими должны стать северные города в будущем* // Кислород.Life. 2020. 14 июля (https://kislород.life/opinions/pulsiruyushchie_goroda/).

19 Мизин И. *Традиционные знания, белый медведь и современность* // GoArctic.ru. 2023. 24 апреля (<https://goarctic.ru/priroda/traditsionnye-znaniya-belyy-medved-i-sovremennost/>).

России. Этот парадокс наглядно демонстрируют населенные пункты российского Заполярья, где можно встретить и роскошные современные города вроде Якутска, и вымирающие, заброшенные, безжизненные поселки, и стойбища оленеводов, в которых уклад не менялся на протяжении веков. Стоит также отметить, что, несмотря на подобные перепады, государственная политика в отношении этих населенных пунктов остается примерно одинаковой.

Многие исследователи Арктики отмечают высочайший инновационный и научный потенциал северных территорий, основанный на синтезе традиционного и инновационного подходов. Так, в одном из своих интервью Надежда Замятина, географ, специалист по Арктике, заместитель директора Института регионального консалтинга, утверждает:

«Арктика – это не только белые медведи, нефть и газ. Это огромная сфера, где можно себя проявить. И речь не только о технологиях, которые, безусловно, помогают. Это еще и обустройство: социальное, медицинское, сохранение жизни и здоровья в широком смысле, цифровизация, развитие интернета, которого катастрофически не хватает. Это и дизайн. Кстати, дизайнеры видят в Арктике непаханое поле для разработки одежды, транспортных средств, жилищ. С точки зрения творчества, исследования, реализации проектов Арктика – это открытое поле, интересное для экспериментов»²⁰.

Вместе с тем потенциал этот далеко не всегда можно реализовать. На протяжении почти всей истории освоения Русского Севера требование компетентности было важным сдерживающим фактором его развития: лишь единицы обладали навыками, достаточными для того, чтобы отправиться в Арктику и связать с ней свою жизнь и судьбу. Хотя эти немногие – ученые, писатели, исследователи, общественные деятели – были людьми, для которых Север всегда оставался неотъемлемой и важной частью национальной и государственной идентичности, решать многочисленные проблемы сугубо за счет их энтузиазма было невозможно. Именно поэтому совсем иначе обстояло дело с комплексным, промышленным освоением северных территорий России. И хотя на долю «арктических» субъектов России сегодня приходится более десятой доли ВВП, поддержание их жизнеспособности и социально-экономического развития требует огромных затрат из федерального бюджета. Арктика, таким образом, оказывается одновременно и самой прибыльной, и самой затратной частью России.

Суровые климатические условия и географическая удаленность от крупных экономических и политических центров де-

20 Н.Ю. Замятина: «Арктика – это открытое поле» // Научная Россия. 2021. 8 июля (<https://scientificrussia.ru/articles/arktika-eto-otkrytoe-pole-intervyu-s-n-yu-zamyatinoj>).



лают популяризацию Арктики в российском общественном сознании почти такой же дорогостоящей задачей, как и ее освоение. Тем не менее сегодня реализуются научные, туристические и экологические проекты, призванные привлечь внимание к Заполярью, запущены государственные программы по привлечению кадров в северные субъекты федерации – например, «Арктический вызов». Несмотря на технологический и научный прорыв, произошедший за последние десять лет, Арктика по-прежнему остается труднодоступным регионом мира. А следовательно, в ее освоении и развитии сохраняют свою значимость разнообразные героические нарративы. Государственного финансирования (пусть даже более системного и структурированного, чем десять лет назад) все же недостаточно для полномасштабного освоения ее территорий. Привлечение в российскую Арктику инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и представителей гражданского общества остается сегодня первоочередной задачей для государства. «Популяризация» арктического нарратива позволит вдохнуть в регион новые силы, наиболее полно раскрыть его огромный потенциал.

{ Арктика оказывается одновременно и самой прибыльной, и самой затратной частью России.

Однако для этого необходимо сделать Арктику *привлекательной* для обычных россиян, а не только для отдельных ученых или политических деятелей. Учитывая тот огромный запас знаний, который был накоплен русскими исследователями Арктики начиная с XVII века, у России есть все ресурсы, позволяющие стать одной из ключевых арктических держав. Следует, впрочем, оговориться: все, кроме самого важного, – человеческого. Недостаточно просто позиционировать себя на мировой арене тем или иным образом – нужно еще и ощущать себя соответственно во внутринациональном плане. Достижение этой цели предполагает и работу с системой образования (начиная со школьного), и уточнение национальной идентичности, и концептуально продуманную культурную политику. В противном случае «арктические сны» России останутся всего лишь снами.

«Держи вора»:

о путешествии одного киносюжета с Запада на Восток и о неоромантическом переосмыслении детства в послевоенной Европе

Владимиру Глейзеру

Давным-давно, когда мы только начинали заниматься школьным кино в СССР, этим воистину неоценимым культурно-антропологическим источником, один добрый знакомый, человек пожилой, в меру циничный и весьма критически настроенный в отношении советской власти, по-дружески порекомендовал нам перестать анализировать всякую пропагандистскую муру вроде «Педагогических поэм» и «Аттестатов зрелости» и посмотреть, вместо этого, фильм, который когда-то, в 1961 году, произвел на него действительно сильное впечатление. Речь шла о картине Алексея Салтыкова и Александра Митты «Друг мой, Колька!», нам вполне знакомой – и, в нашем понимании, пропагандистской ничуть не в меньшей степени, чем перечисленные выше осколки сталинского большого стиля. Наш знакомый в первый и в последний раз видел этот фильм в начале 1960-х и потому сохранил впечатление от него – насколько это вообще возможно – в том первоизданном виде, в котором неглупый выпускник оттепельных времен решил для себя запомнить, чем «настоящий» фильм о школе отличается от привычной советской кинопродукции. Посмотри он его еще хоть раз на протяжении по-

Вадим
Михайлин,
ГАЛИНА
БЕЛЯЕВА



Вадим Михайлин (р. 1964) – историк культуры, социальный антрополог, переводчик, профессор Саратовского государственного университета.

Галина Беляева (р. 1975) – старший научный сотрудник саратовского Государственного художественного музея имени А.Н. Радищева, научный сотрудник Лаборатории исторической, социальной и культурной антропологии.

КУЛЬТУРА ПОЛИТИКИ

следующего полувека, уже взрослым, разочарование было бы неизбежным. А мы... мы лишились бы возможности оценить ту силу воздействия на аудиторию, уже успевшую выработать иммунитет против (условно) сталинских моделей пропагандистского воздействия, которой в начале 1960-х обладало далеко не самое радикальное высказывание, сформулированное на новом языке «искренного» оттепельного кино. Поскольку не только для современного зрителя, но даже и для более или менее рефлексующего советского зрителя 1970-х или 1980-х «Друг мой, Колька!» и рядом не стоял бы с такими действительно радикальными и новаторскими высказываниями, как «Три дня Виктора Чернышева», «Спасите утопающего» или «Личная жизнь Кузьева Валентина». Да что там, даже с точки зрения той самой – фирменной – оттепельной искренности картина балансирует где-то на полпути от сугубо сталинского овнешняющего взгляда на проблемного подростка ко взгляду оттепельному, имитирующему интроспекцию. Юлий Райзман в том же, 1961, году уже снял «А если это любовь?». Пройдет еще год, потом еще несколько лет, и подвисящие в кадре героини Галины Польских и Елены Прокловой зададут новый мейнстрим, «развидеть» который будет уже невозможно. И тем не менее в 1961 году «Колька» явно стал свежим словом. Советский человек умел читать между строк, и для него даже минимальных отступлений от жестко заданного канона было достаточно, чтобы провидеть тектоническое движение незыблемых, казалось бы, континентальных плит. В «Кольке» он угадал крайне любопытный симптом грядущих изменений: серьезные сдвиги в том, как именно советский ребенок был показан на экране. И будоражащая свежесть этого впечатления напрочь закрыла для него вполне очевидное, казалось бы, и вполне «сталинское» по духу пропагандистское задание фильма.

На самом деле, «Колька» был не один. Помимо уже упомянутого фильма Юлия Райзмана, практически одновременно, в том же 1961 году, вышли еще несколько игровых картин, с которых можно начинать отсчет новой для советской культуры модели экранной репрезентации ребенка и детства: «Человек идет за солнцем» Михаила Калика, «Мишка, Серега и я» Юрия Победоносцева, «Аленка» Бориса Барнета и «Приключения Кроша» Генриха Оганесяна. Еще более радикальный пересмотр этой модели был сделан даже чуть раньше – в короткометражке Андрея Тарковского «Каток и скрипка» (1960)¹. Но ее, как и по-

1 Подробный разбор этого кейса см. в: Михайлин В. *Знаки на стене: первый фильм Андрея Тарковского и советский New Age* // Неприкосновенный запас. 2021. № 2(136). С. 131–161. Расширенный вариант того же текста: Он же. *Проект моста между землей и небом: символический лексикон Андрея Тарковского в «Катке и скрипке» / Конструирование предсказуемости. Строители и руины*. Саратов: Научная книга, 2022. С. 16–48.

следовавшую за ней короткометражку Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь» (1961), широкий советский зритель видеть не мог – курсовые и дипломные проекты студентов ВГИКа на большой экран попадали далеко не всегда. Но зато их видели профессионалы, уже успевшие до этого ознакомиться с первоисточником – тоже снятыми в коротком метре, но уже успевшими произвести фурор на европейских кинофестивалях фильмами Альбера Ламориса «Белая грива» (1953) и «Красный шар» (1956). А уже через год, в 1962-м, на экраны выйдут и «Дикая собака динго» Юлия Карасика, и «Трамвай в другие города» Юлия Файта, товарища Андрея Тарковского по курсу Михаила Ромма, и дети на советских экранах начнут мутировать в другой антропологический тип, со сталинскими экранными школьниками мало совместимый. Если в двух словах, то советский кинематографический ребенок получит в начале 1960-х два права, которых у него не было в фильмах сталинских: право на удивление и право на травму, причем и то и другое будет переведено в режим базовых, *самоценных* характеристик детского опыта.

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

СТАЛИНСКИЙ КИНОДИСКУРС О РЕБЕНКЕ И ДЕТСТВЕ И ЕГО ОТПЕПЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

Сталинский воспитательный проект при всей способности оперировать элементами романтического и даже авангардного дискурсов в основе своей оставался проектом сугубо просветительским. Обе ключевые задачи воспитания, по большому счету, решаются здесь на просветительский манер². Первая задача связана с проработкой границы между «присвоенными» индивидом проективными реальностями, которые выстраиваются как на основе собственного опыта, так и на основе сигналов, поступающих из любого сколько-нибудь значимого внешнего источника, – и реальностью актуальной. В сталинской модели воспитания эта граница максимально стирается: в актуальной реальности нет и не может быть ничего принципиально непонятного, неподконтрольного и чужого – есть только недоосвоенное, подлежащее пониманию, классификации, нормализации и утилизации. Вторая связана с управлением травмой взросления и в сталинской модели решается предельно просто: за счет отказа от решения этой задачи как таковой. Травма взросления формально отменяется – за очевидной ненадобностью, поскольку речь идет о бесконфликтной реальности, – но, по сути, растягивается на неопределен-

2 Как и любой другой модернистский проект, исходящий из представления о возможности сконструировать идеальный человеческий тип.



ный срок, закрепляя подростковый кризис в качестве едва ли не пожизненной характеристики советского человека.

Несовершенство человеческого материала воспринимается и подается (в том числе и в фиктивных репрезентациях – литературных, кинематографических и прочих) как та же «недоосвоенность». Ребенок как недосформированный советский человек являет собой фигуру, «притягивающую» удивление, будучи естественным носителем несовершенства и неадекватности – поэтому он удивляется сам, поэтому он может быть удивительным для зрителя³. Но это удивление не является предметом самостоятельного интереса. Оно сугубо инструментально, связано с необходимостью дополнительно привлечь зрительское внимание к дидактическому месседжу, и сюжет проективного текста строится на его исчерпывании, а девиация, ставшая поводом к удивлению, служит для укрепления незыблемого социального порядка. К концу рассказанной истории ребенок должен понять то, чему он был неадекватен, и перестать себя вести так, что это удивляет зрителя и диететических персонажей. Удивление представляет собой аномалию, оно конечно и ведет к очередному подтверждению единственно возможной, истинной картины мира; травма также ситуативна, эксклюзивна и дидактична. Удивление и травма представляют собой *exempla* в воспитательном дискурсе: на примере их преодоления можно кого-то чему-то научить.

Травма не имеет внутреннего измерения, она не самоценна и важна исключительно как основа для внешнего действия. Даже «утешительный» вариант работы с травмой построен всего-навсего на создании внешней по отношению к индивидуальному опыту вне-травматической реальности, само наличие которой должно обещать избавление от травмы путем мгновенного переключения: попадание в эту реальность уже гарантирует ликвидацию любых оснований для травмы. Человеческая психика мыслится при этом как одномерная, не предполагающая одновременного присутствия разных систем оценки, разных способов реакции на одну и ту же ситуацию.

Внешний взгляд на ориентированное на детскую аудиторию или использующее образы детей оттепельное кино может создать впечатление резкого слома самой природы высказывания, поскольку и образы детей, и та оптика, через которую зрителю предложено их воспринимать, становятся существенно иными.

3 Этот механизм «двойного удивления» характерен для репрезентаций всех «временно чужих» персонажей в большевистской и сталинской культуре: дикарей, иностранцев – и детей. При этом право на «одноходовое удивление» (и даже обязанность его испытывать) имеет каждый советский человек – когда смотрит кинохронику перед художественным фильмом (читает газету, слушает новости) и поражается успехам советской экономики, тому, что нас все боятся и восторгаются нами. Та волшебная реальность, к которой он внутри себя уже адаптирован, оказывается вполне совместимой с реальностью актуальной – чему он постоянно получает подтверждения.

Но, присмотревшись чуть внимательнее, мы обнаруживаем, что дискурс, по крайней мере поначалу, меняется только внешне – и неоромантические модели, как правило, привлекаются для обслуживания все того же просветительского воспитательного проекта. В сталинском дискурсе могли существовать только две по-настоящему взрослые фигуры – одна сакральная, другая мирская, – которые служили одновременно: 1) ориентиром в процессе взросления и гарантом преодоления соответствующей травмы и 2) легитимирующим основанием и источником единственно правильных смыслов. Первая была уникальной, персонализированной и выносилась за пределы обыденной реальности – Сталин. Вторая – коллективной, оперативной и персонализировалась ситуативно, под нужды конкретного сюжета. Это Партия в лице какого-то конкретного, инкорпорированного в сюжет представителя: непременно институционализированного (учитель, секретарь райкома, директор завода, хотя бы просто старый коммунист), поскольку тот представляет идеал не личностный, а корпоративный, здесь и сейчас воплотившийся в конкретную фигуру.

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

Сталинский воспитательный проект при всей способности оперировать элементами романтического и даже авангардного дискурсов в основе своей оставался проектом сугубо просветительским.

Для всей этой конструкции смерть Сталина была катастрофична: выпал замковый камень. Вне зависимости от реальных интенций его преемников воспитательный дискурс надлежало радикально переформатировать, каким-то образом компенсировав отсутствие уникального и персонализированного источника смыслов. Проблему пытались решить за счет гальванизации ленинского культа, но ленинский культ спасал ситуацию только отчасти. Ленин мог «закрыть собой» запрос на персонализированный сакральный источник смыслов, но, в отличие от Сталина (в рамках сталинской эпохи), он, по определению, не мог закрыть запроса на персонализированное же «мудрое руководство», цементирующее коллективное тело Партии, – гарантировать иллюзию контроля, устойчивое представление о том, что оперативные решения принимаются только идеальные и всегда вовремя.

Основания для иллюзии контроля – не на уровне исторического процесса, а на уровне ситуативно значимых решений – требовалось срочно отыскать где-то еще, и тут на помощь пришла сталинская Конституция, которая еще в 1936 году декларировала, что СССР не строит социализм, а уже представляет



собой социалистическое государство⁴, – положение, отлившееся к 1939-м на XVIII съезде ВКП(б) в старательно обтекаемую формулировку о том, что в СССР «социализм в основном построен»⁵. Спешно созданный в оттепельном 1959-м XXI съезд КПСС убрал из нее всякую неоднозначность и недосказанность, провозгласив полную и окончательную победу социализма⁶. Помимо «социологических» смыслов, заложенных в этой формулировке, означавшей отсутствие в СССР классового антагонизма и, следовательно, классовой борьбы, был смысл еще и «антропологический». Поскольку она – по факту – постулировала еще и принципиальные изменения как в самой сути той *tabula rasa*, которую представлял собой советский гражданин, так и в системе его отношений с социальной средой. Природа *любого* родившегося в СССР ребенка теперь, по умолчанию, принималась не как нейтральная, равно расположенная к добру и ко злу⁷, а как, во-первых, благая, а во-вторых, «наша»: «советскость» советского ребенка была врожденной, и любое отклонение от нее становилось аномалией, следствием болезнетворного влияния извне, подлежащим исцелению. Равным образом и формирующее воздействие «новой исторической общности» следовало считать исключительно благим – с понятной поправкой на «кто-то кое-где у нас порой», при том, что и эти локальные девиации часто и легко возводились все к тем же внешним влияниям⁸. Соответственно, и поиск оснований для

- 4 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М.: Издание ЦИК СССР на языках союзных республик, 1937. Ст. 1. С. 9.
- 5 Эта магическая формула была настолько важна и подлежала настолько неотложному внедрению в массовое сознание советского человека, что в стенографическом отчете съезда она повторяется – в неизменном виде – восемь раз в выступлениях семи разных ораторов (в порядке следования): Молотова (два раза), Сталина, Скворцова, Игнатова, Чубина, Буденного и Орлова. См.: XVIII Съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б) 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчет. М.: ОГИЗ, 1939. С. 3, 32, 99, 283, 376, 445, 448, 600.
- 6 «В мире нет сейчас таких сил, которые смогли бы восстановить капитализм в нашей стране, сокрушить социалистический лагерь. Опасность реставрации капитализма в Советском Союзе исключена. Это значит, что социализм победил не только полностью, но и окончательно. (Бурные, продолжительные аплодисменты)»: Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 27 января – 5 февраля 1959 года. Стенографический отчет. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. С. 107.
- 7 Как то предполагает классическая просветительская точка зрения. В исходной, большевистской, версии советского дискурса, совершенно эссенциалистской по сути, принадлежность – по праву рождения – к одному из «революционных классов» автоматически превращала ребенка в податливый материал для формирования «нашего» человека: конечно, если этому не мешала «дефективность», являвшаяся следствием неправильных социальных условий воспитания. «Чуждое» социальное происхождение означало другой антропологический статус, несовместимый с советским воспитательным проектом. Прекрасный иллюстративный материал к этому тезису дает библия советской педагогики, «Педагогическая поэма» Антона Макаренко, где для повествователя характеристика «сын иркутского губернатора» уже является исчерпывающей: ребенок перевоспитанию в нормального советского человека не подлежит. См.: МАКАРЕНКО А.С. Педагогическая поэма. М.: ИТРК, 2003. С. 209, 362. «Декларация об отмене классового антагонизма», которую по сути содержали в себе документы XXI съезда, отменяла и необходимость разбираться в природе отечественного человеческого материала.
- 8 «Некоторые работники недооценивают вред буржуазных влияний на советскую молодежь, считая, что буржуазия от нас далеко и ей недоступна наша молодежь. Но это заблуждение. Мы не можем игнорировать возможность буржуазного влияния и обязаны вести борьбу против него, против проникновения в среду советских людей, и особенно в среду молодежи, чуждых взглядов и нравов» (Внеочередной XXI съезд... С. 58).

иллюзии контроля имело смысл перенести с институционального источника на «встроенный». Вместо гения всех времен и народов, чьи эманации гармонизировали космос в каждом индивидуальном случае, постулировался «внутренний Ленин», которому просто нужно было не мешать и предоставить преимущественный доступ к рычагам управления индивидуальным сознанием и поведением.

Вот тут-то на сцену и выходит знаменитая оттепельная «искренность». А вслед за ней неоромантический взгляд на ребенка и детство – как ее частный случай, как своего рода *know how*, позволяющий напрямую обращаться к зрительской эмпатии, актуализируя, в рамках «школьного» жанра, созданного не менее спешно, чем собирался внеочередной съезд партии, опыт переживания отечественной средней школы, который теперь имелся уже почти у каждого советского человека. И который – среди прочего – для большинства граждан СССР должен был стать обязательным местом встречи с «внутренним Лениным».

Нового «искреннего» языка для оттепельного воспитательного кинодискурса можно было особо и не придумывать, поскольку в Европе уже успела заявить о себе принципиально новая кинематографическая стилистика – а вернее, целый набор новых стилистик, связанных с итальянским неореализмом, французской, британской, чехословацкой «новой волной», «польской школой»⁹. И одной из значимых составляющих этой послевоенной «смены вех» как раз и было изменение оптики, с помощью которой воспринимался и сам ребенок, и свойственные ему особенности взаимоотношений с миром – так что необходимый словарь для языка, на котором советское кино смогло бы говорить на эти темы как с совершеннолетними, так и с несовершеннолетними гражданами СССР, уже составлялся вовсю. Уже наработанный итальянскими, французскими, британскими и польскими режиссерами набор сюжетов, типажей, локусов и моделей актерского существования в кадре надлежало, во-первых, переложить на отечественные реалии, чтобы советский зритель не испытывал ни малейших сомнений в том, что предложенная ему экранная действительность не просто достоверна, но имеет самое интимное отношение к его собственному, лично пережитому опыту. А во-вторых, инструментализировать структуру высказывания, превратить ее в удобную оболочку для пропагандистского месседжа. Что поделаешь, советское кино существовало в жесткой системе

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

9 Советское оттепельное кино, несомненно, стало одним из самых ярких явлений во «второй волне» этой глобальной кинореволюции, совпав по времени с соответствующими трендами в кинематографе, скажем, немецком или венгерском, и существенно опередив в этом смысле кино американское, где «новый Голливуд» смог в полной мере заявить о себе только после 1967 года, когда были отменены драконовские цензурные рамки, связанные с кодексом Хейса.



государственного заказа и контроля, а советское государство привычно полагало «идейность» если не единственным, то ключевым основанием для того, чтобы поддерживать искусство – тем более, если речь шла о «важнейшем из искусств».

Небольшая журнальная статья не тот формат, в котором можно сколько-нибудь подробно представить анализ как самого неоромантического тренда в советском «детском» кино, так и тех механизмов, при помощи которых оно решало поставленные перед ним пропагандистские задачи. Поэтому мы ограничимся одним-единственным кейсом – случаем того самого «единственного настоящего» фильма о школьниках, который когда-то произвел настолько неизгладимое впечатление на нашего знакомого. То, что картина эта еще «наполовину сталинская», как раз и добавляет ей интереса, как и любому переходному феномену, на котором можно отследить процесс превращения одного явления в другое. Тихо медитирующий в кадре интроверт не получается из сталинского пионера по мановению руки, равно как и те способы существования ребенка в «шершавых» городских пространствах, которые открыли Росселини, Ламорис и Трюффо, невозможно автоматически перевести на язык хрущевских новостроек. И мы надеемся, что история о путешествии конкретного сюжета по разным европейским кинотрадициям – с конечной точкой в Москве – поможет понять природу и механизмы произошедшей метаморфозы. Понять, каким образом в разных национальных традициях формируется неоромантический дискурс детства, исходящий из представлений (1) об автономности ребенка и детства и, следовательно, о необходимости ребенку доверять; (2) о самоценности детского опыта, основанного на другой, не взрослой, модели фантазирования; (3) об отличии детского травматического опыта, прежде всего связанного с травмой взросления, от взрослого травматического опыта.

Предыстория. Довоенный Берлин

В момент своего появления на свет сюжет, о котором пойдет речь, не содержал в себе – по крайней мере на первый взгляд – ничего такого, что выделяло бы его на фоне обозначенного выше «модернового», базирующегося на просветительских установках дискурса детства. В 1931 году крупнейший германский киноконцерн UFA выпустил на экраны фильм Герхарда Лампрехта «Эмиль и сыщики», литературной основой для которого стал написанный четырьмя годами ранее одноименный и крайне популярный детский роман Эриха Кестнера. Герой фильма – подросток, которого мама отправляет в Берлин к родственникам. Сопроводить его она не может, но дает

с собой астрономическую для ребенка сумму в 140 марок, которые он должен передать тете. В поезде мальчик становится жертвой ограбления: некий подозрительный господин в котелке угрожает его шоколадкой со специфической начинкой и, пока мальчик спит и видит сюрреалистический сон, умыкает деньги. Этот эпизод становится триггером для дальнейшего детективного сюжета, поскольку по прибытии в Берлин Эмиль с помощью мальчишеской уличной группировки, именующей себя «сыщиками», разоблачает вора. Преступник оказывается известным рецидивистом, власти награждают Эмиля премией аж в тысячу марок, и в итоге он вместе с новыми товарищами становится знаменит на всю Германию.

Успех фильму Лампрехта, как и исходному кестнеровскому роману, во многом обеспечило то обстоятельство, что авторы предложили неожиданный вариант детского приключенческого сюжета. «Удивительное» действие разворачивалось не на пиратском корабле и не на коралловом острове, как то было принято в устоявшейся еще с прошлого века «детской» традиции, а в обычной городской среде. Что само по себе создавало новый и потенциально неисчерпаемый ресурс для активизации той способности к неполному различению фантазийной и актуальной реальностей, которой – в пределе – детское восприятие отличается от взрослого¹⁰. Во всем остальном оба текста, и литературный, и кинематографический, работали в полном соответствии с просветительской воспитательной парадигмой. Ребенок попадал в аномальную/травматическую ситуацию, поскольку оставался без присмотра. Но, проявив необходимую инициативу, он привлекал к возникшей социальной девиации внимание ответственных взрослых, в результате чего ликвидировал исходную недостачу и – на манер вполне проповедский – обретал путь если и не к финальному воцарению, то к успешной социальной адаптации. Гарантией успеха становились крепкая мужская дружба (в самом «искреннем» ее, подростковом, варианте), самоотверженность, вера в конечную победу справедливости и прочие качества, входящие в число заводских настроек любого положительного героя, действующего хоть в советском мультфильме, хоть в американском боевике: способность не унывать в трудных ситуациях, находчивость, сообразительность – далее по списку¹¹.

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

10 «The experiments suggest that children systematically distinguish fantasy from reality, but are tempted to believe in the existence of what they have merely imagined» (HARRIS P.L., BROWN E., MARRIOTT C., WHITTALL S., HARMER S. *Monsters, Ghosts and Witches: Testing the Limits of the Fantasy-Reality Distinction in Young Children* // *British Journal of Developmental Psychology*. 1991. № 1(9). P. 105).

11 «Kästner's moral imperative prescribed selfless devotion to duty, which [...] means strictly observing the tacit will of their parents and adhering to bourgeois principles of social conduct» (SPRINGMAN L.A. «*Better Reality*»: *The Enlightenment Legacy in Erich Kästner's Novels for Young People* // *The German Quarterly*. 1991. Vol. 64. № 4. P. 520).



Кроме того, «Эмил» предложил крайне удачный набор элементов, сделавший возможным воследовавший парад заимствований и адаптаций, который, в конечном счете, привел к формированию интересующего нас кейса. Во-первых, городское пространство, раскрытое как пространство, по-своему волшебное, неоднородное и неоднородное, способное стать полем для приключения. Во-вторых, концептуализацию этого пространства как «говорящего», насыщенного знаками, требующими интерпретации, – что делает детективный сюжет совершенно естественной основой для повествования. В-третьих, романтику мальчишеской «стаи», где элемент соперничества является не дисгармоничным, а цементирующим началом и где выковываются духовные скрепы, необходимые для дальнейшего формирования человека и гражданина. И, в-четвертых, латентный эротический мотив, ориентированный на формирующуюся подростковую сексуальность (причем одновременно и мужскую, и женскую). Во всех последующих версиях кестнеровского сюжета, как и в исходнике, будет фигурировать одна единственная девочка, включенная в мальчишескую стаю на правах участника, с одной стороны, полноправного, а с другой, наделенного уникальной позицией (илл. 1).



Илл. 1. «Эмил и сыщики» (1931). Девочка в мальчишеской стае.

Для того, чтобы городское пространство стало аутентичным фоном для приключенческого сюжета, по-прежнему требовался механизм экстраполяции, помогающий читателю и зрителю осуществить необходимый переход в фантазийную реальность. Кестнер таких механизмов предложил сразу два, причем сцепленных между собой. Один, сугубо пространственный и связанный с перемещением героя если не в экзотические страны, то по крайней мере из тихого провинциального го-

рода в мегаполис, очевидно, показался ему недостаточным и был дополнен сюжетом «магического зелья» и «волшебного сна». У Кестнера этот, последний, сюжет не обращал на себя излишнего читательского внимания, поскольку никак не выбивался из общей повествовательной интонации. В фильме Лампрехта все иначе. Весь фильм снят в модной в Германии рубежа 1920–1930-х протонореалистической манере «*Neue Sachlichkeit*», и на этом фоне сновидческий эпизод, выполненный в подчеркнута авангардной эстетике (илл. 2), выбивает зрителя из привычного режима восприятия, так что на протяжении оставшихся двух третей фильма сугубо бытовая экранная реальность ощущается как «не вполне надежная», чреватая внезапным прорывом в очередной сюрреалистический план. Эти ожидания не оправдываются, но очень помогают в создании общей детективной атмосферы, навязывая повышенную степень внимания к деталям, к «вещам как знакам». Павильонная съемка в картине сведена к минимуму, и ощущение погруженности в уличную среду мегаполиса превращает зрителя – одновременно с персонажами – во фланера, в смысле вполне беньяминовском¹². Более того, беньяминовская же параллель между фланером и сыщиком (поскольку оба обостренно реагируют на визуальные стимулы города) оказывается здесь как нельзя более уместна¹³. А еще уместной оказывается другая параллель – между фланером и городским ребенком, – на которую в свое время обратил внимание Эрик

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...



Илл. 2. «Эмиль и сыщики» (1931). Экспрессионистский сон героя.

12 См.: Беньямин В. *Бодлер*. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 37–73.

13 См.: FISCHER J. *Wandering in/to the Rubble-Film: Filmic Flânerie and the Exploded Panorama after 1945* // *The German Quarterly*. 2005. Vol. 78. № 4. P. 465.





Илл. 3. «Эмиль и сыщики» (1931). Городской ребенок как фланер и сыщик.

Трибунелла¹⁴. Именно этот треугольник (городской ребенок / фланер / сыщик) станет – в перспективе – определяющим для всего нашего кейса (илл. 3). Имеет смысл обратить внимание еще на одно измерение того образа городского ребенка, который формируется Кестнером и Лампрехтом. Снабдив протагониста именем Эмиль, романист волей-неволей превратил его в эманацию архетипического для европейской традиции образа ребенка как естественного существа, отсылая к «Эмилю» Жан-Жака Руссо¹⁵. Лампрехт в свою очередь усиливает эту связь, поскольку начинает свой фильм эпизодом, в котором трое мальчиков во главе с Эмилем «играют в индейцев».

Принципиально значимая для романа 1928-го и фильма 1931 года тема мужской дружбы в ее «стайном» подростковом варианте также нуждается в отдельном комментарии. Дело в том, что важнейшей и, во многом, сюжетообразующей характеристикой этой стайности является ее институционализация в тайную организацию, скрытую от глаз стороннего наблюдателя (и прежде всего – взрослых) и обладающую собственным секретным языком, собственными ритуалами и ресурсами. Фактически речь идет о дополнительном, параллельном «взрослому» структурировании городского / социального пространства,

14 «The activities of the flaneur – walking, exploring, watching, and responding to the city with the amazement or imagination of the artist or writer – can be seen as sometimes characterizing the urban child in children's literature» (TRIBUNELLA E. L. *Children's Literature and the Child Flâneur* // *Children's Literature*. 2010. Vol. 38. № 1. P. 88).

15 Ср.: «Эмиль не дикарь, которому предстоит удалиться в пустыню – он дикарь, созданный для того, чтобы жить в городах. Нужно, чтобы он умел доставать там все необходимое, извлекать пользу из их обитателей и жить если не так, как они, то по крайней мере вместе с ними» (Руссо Ж.-Ж. *Эмиль, или О воспитании* / Он же. *Педагогические сочинения*. М.: Педагогика, 1981. Т. 1. С. 239).

что крайне значимо для тех режимов фантазирования, которые книга и фильм предлагают целевой аудитории. Наблюдающий за приключениями Эмиля и сыщиков подросток начинает ощущать себя не просто фланером, а членом самой настоящей «фланерской мафии», получая доступ к альтернативным рычагам контроля над действительностью, недоступным в реальном мире, где все контролируют взрослые.

Работая над вышедшим в 1940 году сценарием советской версии «Эмиля и сыщиков» под названием «Тимур и его команда», Аркадий Гайдар оставляет в неприкосновенности все перечисленные выше механизмы, обеспечивающие вовлеченность подросткового зрителя¹⁶, но крайне любопытным образом реформатирует «зашитую» в сюжете систему месседжей. В немецком варианте альтернативная детская социальность самоценна и наделена собственной структурой и логикой, хотя в итоге и ведет к утверждению совершенно «взрослых» ценностей¹⁷. В варианте советском она со взрослой социальностью не просто полностью совместима, но и существует – в конечном счете – исключительно для обслуживания последней. Вся непохожесть и асоциальность вынесены в отдельную хулиганскую «стаю», подлежащую уничтожению. Тайственность поддерживается не за счет альтернативных кодовых систем, а за счет игровой имитации официальных публичных кодов. При этом из взрослой действительности заимствуются наиболее милитарные и тоталитарные элементы: безальтернативность и несменяемость властной фигуры, мобилизационные и обязывающие режимы социальной включенности, постоянная проработка тем внешней и внутренней угрозы существующему порядку¹⁸. Ну, и, в конце концов, достаточно вспомнить, что предметом преимущественной тимуровской заботы являются не больные и убогие, а семьи военнослужащих.

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

- 16** А затем и читателя. В отличие от немецкого прототипа, в СССР повесть «Тимур и его команда» стала результатом переработки исходного киносценария, что косвенно подтверждает версию о возможном знакомстве Гайдара скорее с фильмом Лампрехта, чем с романом Кестнера. Способ этого знакомства остается дискуссионным, но следует прежде всего обратить внимание на то, что Гайдар вращался в кинематографических кругах начиная с середины 1930-х. Причем связан был прежде всего с «Союздетфильмом», созданным в 1936 году на базе ликвидированного «коминтерновского» «Межрабпомфильма», исходно состоявшего из доминирующей, политической немецкой (собственно, Межрабпом) и «творческой» русской (киноателье «Русь») половинок. Или, вернее, на базе его обновленного звукового филиала «Рот Фронт», укомплектованного в значительной степени «красными» немецкими эмигрантами – которые, естественно, не могли не знать популярного немецкого романа, а уж тем более, не видеть его не менее популярной экранизации. Подробнее о «Межрабпомфильме» см. среди прочего: РЕБРОВ В. *И снова о «Руси»* // Искусство кино. 1999. № 4 (<https://old.kinoart.ru/archive/1999/04/n4-article15>); ХОХЛОВА Е. *Студия мастеров. Фильмы и судьбы* // Киноведческие записки. 2014. № 106–107. С. 79–89.
- 17** Ср. (о романе Кестнера): «The novel correspondingly demonstrates that the social institutions and bureaucratic apparatus of the Weimar Republic (the press, the police) were ultimately rational and just» (SPRINGMAN L. *Op. cit.* P. 520).
- 18** Отдельная тема, требующая специальной проработки, – это постоянная борьба с внутренним врагом, финальная победа и публичная расправа над ним, с призывами к поиску врага среди собственных родственников и знакомых, и к безжалостному его осуждению.



СТАРТОВАЯ ТОЧКА. ЗАПАДНЫЙ ЛОНДОН

Впрочем, начинается наша история не в Берлине рубежа 1920-х и 1930-х, а в послевоенном Лондоне, где в 1947 году Чарльз Крайтон снял один из первых своих игровых фильмов «Держи вора» («Hue and Cry»). Картину принято считать первой из знаменитой серии комедий, выпущенных студией «Ealing» – хотя, по сути, она представляет собой не комедию, а чистой воды авантюрный фильм, рассчитанный на детскую и подростковую аудиторию. Как и в случае с Аркадием Гайдаром, мы ничего не можем с уверенностью сказать о степени возможного знакомства английского режиссера с исходным для нашего кейса детским романом Эриха Кестнера. Но в одном мы можем быть уверены на сто процентов: он не мог не видеть если и не оригинального лампреховского фильма, то уж во всяком случае его буквального, вплоть до копирования отдельных мизансцен, ремейка, созданного еще в 1935 году Милтоном Росмером. При этом фильм самого Крайтона, как и сценарий Гайдара, никоим образом не является ремейком исходной картины¹⁹. Но если Гайдар использует оригинал для того, чтобы усилить заложенные в нем просветительские и этатистские тенденции, то Крайтон поступает противоположным образом. Он снимает один из первых европейских фильмов, в которых опыт детства приобретает самооценку, перестает восприниматься как адаптивное преддверие к состоянию взрослости, а детская индивидуальность и детская социальность не только сопоставляются со взрослыми, но и противопоставляются им.

Сюжет фильма достаточно незамысловат. Главный герой Джо Кёрби – подросток, балансирующий на грани между взрослостью и детством, – неожиданно начинает замечать в окружающей его действительности совершенно очевидные признаки совпадения с действительностью фантазийной. Активный читатель детективных комиксов, он в какой-то момент попадает в ситуацию, густо насыщенную элементами, буквально совпадающими с тем, о чем только что читал: типажам, событиями и, самое удивительное, конкретными номерами автомобилей. Эта ситуация запускает сюжет детективного расследования; мальчику, как и следовало ожидать, не верит никто из взрослых, но, в конечном счете, прав оказывается именно он. Фильм заканчивается кульминационной массовой сценой, в которой

19 Каковых, и помимо «шеппертоновской» версии Милтона Росмера, впоследствии было снято немало. Достаточно вспомнить о западногерманском «Эмиле» Роберта Штеммле (1954), диснеевском фильме Питера Тьюксбери (1964), более современной немецкой версии Франциски Бух (2001), не говоря уже о таких более маргинальных вариантах, как британский минисериал начала 1950-х или бангладешской картины «Эмилер Гоенда Бахини» Бадала Рахмана (1980).

сбежавшиеся со всего Лондона сотни мальчишек действительно «накрывают» целую криминальную сеть.

Как и в немецком прототипе, действие происходит на улицах мегаполиса, город перенасыщен знаками, буквально вызывающими к тому, чтобы их считывали и интерпретировали, – а основные события разворачиваются в городских «карманах бытия». Главному герою помогает детская «мафия» с гордым самоназванием «Кровь и гром» (Blood and Thunder Boys), и подростковая, густо замешанная на соперничестве дружба буквально сочится из каждого кадра. В этом мальчишеском обществе значимую роль играет единственная допущенная в него девочка: у Лампрехта здесь заимствованы едва ли не все ключевые элементы. И тем не менее английский фильм принципиально отличается от немецкого – причем настолько, что именно его имеет смысл считать исходным для нашего кейса случаем.

Начнем с того, что, в отличие от «Эмиля», фантазийная реальность в «Держи вора» практически никак не разграничена с реальностью актуальной. Более того, эти две сферы бытия постоянно пересекаются и наплываются друг на друга – собственно, и создавая то поле двусмысленностей, в котором живет здешний сюжет. В 1931 году немецкий зритель переживал наркотический сон протагониста как вполне очевидную, с жесткими временными и сюжетными границами вставку, необходимую для того, чтобы за счет агрессивного вторжения экспрессионистских ракурсов и сюрреалистических смещений рамки сделать дальнейшую историю одновременно и более «интересной» (за счет фантазийной «подсветки»), и более достоверной (за счет контрастного возвращения в повседневную реальность). У Крайтона же сам реальный мир выстраивается как система означающих со свободно плавающими означаемыми: и все ползет, на что поставим ногу, как написал когда-то Франц Верфель – одна из икон экспрессионизма²⁰. Сюжет полностью построен на принципиальной и многоуровневой игре с недостоверностью достоверного. Зритель как нормативный взрослый постоянно «идет не в ногу», не угадывает, что истинно, а что нет. Полицейский, которого протагонист поначалу принимает за ожившего идеального сыщика из комикса, в конце фильма оборачивается преступником. Как и солидный работодатель, к которому тот помогает герою устроиться. Как и красавица из лондонского издательства, в которую влюблен один из приятелей протагониста. Здешние взрослые персонажи «не верят» в истинность открытой героем и совершенно

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

20 Собственно, как перевел последнюю строку из стихотворения Франца Верфеля «Fremde sind wir auf der Erde alle» (1915) Виктор Топоров. В исходном тексте: «Und es stirbt, womit wir uns verbinden» – буквально: «ускользает то, к чему мы привязываемся».



невероятной криминальной схемы как раз потому, что схема реальна и они же сами являются ее организаторами и участниками. «Настоящий», «взрослый» мир, который в «Эмиле» только и ждет, чтобы прийти на помощь попавшему в беду ребенку, здесь непредсказуем и опасен и даже в самых нормативных своих институтах и культурных зонах (полиция, наставничество, свободное предпринимательство, издательское дело, культ любви и красоты) постоянно норовит обнаружить темную сторону вещей²¹. Но может внезапно обернуться и стороной комической: в середине картины бандиты, схваченные подростками на месте преступления при попытке ограбить универмаг, оказываются полицейскими, устроившими засаду на тех самых преступников.

Страшноватый литератор²² живет в фантасмагорической реальности, где текст и голос, фантазия и реализация фантазии существуют отдельно друг от друга. Он подает зашедшим к нему подросткам имбирный эль и делает это так, что зритель понимает: в напиток что-то подмешано (привет Эмилю, принимающему конфеты от незнакомцев). На деле же «заряженным» оказывается только его собственный стакан, поскольку он добавил в эль джина, и это, конечно, напиток не для детей. Человек он, на поверку, в общем-то, неплохой, пусть даже изрядно трусоватый и слегка не от мира сего. А вот сами дети, как выясняется, способны не только шантажировать безобидных стареющих писателей, не только оскорблять и унижать друг друга, но и пытаться женщину, чтобы выбить сведения о преступной группировке. Да и во многих других отношениях они отнюдь не ангелы²³.

В фильме Крайтона восприятию «взрослого» мира как неустойчивого способствует одна особенность визуального ряда, которой не было и не могло быть в немецком прототипе. Фильм снимался в послевоенном Лондоне, не успевшем восстановиться после массированных немецких бомбардировок 1940-го и 1944 года. Это не просто взрослый мир, в серых зонах которого – подворотнях, задворках, пустырях – существуют отдельные детские реальности и отдельная детская социальность. Это

21 Ребенок в свою очередь перестает означать собой «личиночную» (*nymphette*) стадию взросления. А напротив, сам становится носителем нормы и – инициатором нормализации взрослого мира.

22 В исполнении Аластера Сима, в чьем актерском амплу честные полицейские легко уживались с персонажами, мягко говоря, неоднозначными, вроде Скруджа или Поттера, главы «Школы для негодяев» из одноименного фильма 1960 года.

23 Что не делает их, однако, опасными и монструозными – до поры до времени. Пройдет чуть больше десяти лет, и в британском кино появится целая волна «страшных» фильмов о детях: от настоящего хоррора в духе «Деревни проклятых» (1960) Вольфа Риллы до макабрической притчи вроде «Повелителя мух» (1963) Питера Брука – хотя, собственно, романы, на которых основаны эти фильмы, Джон Уиндем и Уильям Голдинг, написали соответственно еще в 1957-м и в 1954 году. Подробнее об этом см.: TISDALL L. "We Have Come To Be Destroyed": The "Extraordinary" Child in Science Fiction Cinema in Early Cold War Britain // History of the Human Sciences. 2021. Vol. 34. № 5. P. 8–31.



ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА

«ДЕРЖИ ВОРА»...

Илл. 4. «Держи вора»
(1947). Дети и раз-
валины.

мир, разобранный обратно на кубики, так что дети чувствуют себя здесь полноправными хозяевами²⁴ (илл. 4).

Одна из самых запоминающихся сцен фильма – сидящий на грудке битого кирпича мальчик, настоящий человек-оркестр, который исполняет звуко-динамическую симфонию, насыщенную взрывами бомб, вспышками шрапнелей и пулеметными очередями: в сочетании с окружающим постапокалиптическим пейзажем она считается едва ли не в дадаистском ключе. Другие дети воспринимают его, с головой ушедшего в эту игру, как не вполне адекватного. Но, с одной стороны, эта погруженность в недавний страшный опыт, уже перекодированный на язык игры, связана с реальностью куда прочнее, чем последующая путаница из детективного комикса и лондонской повседневности. А с другой, его перформанс, существующий в картине на правах необязательного вставного эпизода, подсвечивает всю дальнейшую – детскую, игровую – историю отблесками, вполне макабрическими: прошедшая война вполне наглядно показала, каким непроницаемым кошмаром может в любой момент обернуться взрослый мир, столь самонадеянно и безальтернативно претендующий на логичность и прозрачность. Перед встречей с «мальчиком-оркестром» протагонист выходит из невзрачного, но по-своему уютного, вполне английского дома и дает зрителю пару секунд на то, чтобы перенести на улицу атмосферу только что закончившегося

24 Ср.: «Childhood needs to be conceptualized less in terms of innocence and more in terms of otherness. Disordered spaces in these terms represent territories of becoming-other, where rhizomatic scrambling of adult-ordered striated space makes room for upwellings of the immanent othernesses of children» (CLOKE P., JONES O. "Unclaimed Territory": *Childhood and Disordered Space(s)* // *Social & Cultural Geography*. 2005. Vol. 6. № 3. P. 311).





Илл. 5. «Держи вора»
(1947). Фланер
на фоне развалин.

семейного чаепития. Но затем кадр понемногу сдвигается, и еще через пару секунд зритель видит улицу, на которой дом героя – единственный уцелевший (илл. 5). Так что здешний ребенок-фланер, даже переместившись на вполне привычные лондонские улицы, привносит и в детективную интригу, и в комическую повседневность неотвязное напоминание о руинах²⁵.

Фильм Крайтона вполне мог оказаться своего рода триггером для Роберто Росселлини, чья картина «Германия, год нулевой» (1948) – с ребенком-фланером на развалинах мегаполиса в качестве протагониста – во многом задала «суровый стиль» в кино о детях, подхваченный сперва Луисом Бунюэлем в «Отверженных» (1950) и Франсуа Трюффо в «400 ударов» (1959), а затем целой плеядой французских, британских, советских и испанских режиссеров. Росселлини приехал в Берлин в марте 1947 года «не снимать, а только посетить и привезти оттуда идею сюжета»²⁶. Между тем картина Крайтона вышла на экраны еще в феврале того же года, а в оккупированной союзниками Германии свежие американские и британские фильмы демонстрировались на языке оригинала в каждом городе, где стояли союзные части²⁷. Свою картину Росселлини начнет снимать в Берлине в августе 1947 года и на площадке будет при-

25 Самое время вспомнить о Делёзе, для которого смена в кино «образа-действия» на «образ-время» была спровоцирована именно опытом тотальной войны, во время которой человек сталкивается с событиями, настолько масштабными, что его сенсомоторные навыки проскальзывают, поскольку никакое воздействие на ситуацию с его стороны невозможно. См.: ДЕЛЁЗ Ж. *Кино*. М.: Ad Marginem, 2004. С. 114, 144. См. также в этой связи: FISCHER J. *Op. cit.* P. 463 et passim.

26 «Not to shoot but to visit and bring back the story idea» (ROSSELLINI R. *The War Trilogy*. New York: Grossman, 1973. P. 230).

27 Премьерный кинопоказ переозвученной немецкой версии под названием «Die kleinen Detektive» состоялся 4 марта 1949 года – но Росселлини немецкого языка и не знал.

существовать далеко не всегда, объяснив съемочной группе, что в фильме его интересует только финальная сцена, в которой подросток-протагонист кончает жизнь самоубийством, выбросившись из разрушенного многоэтажного дома, который наглядно обнажает в кадре «разобранную» структуру повседневности. Напомним, что финале «Держи вора» схватка между героем и главным антагонистом происходит в точно таком же «деконструированном» здании и опасность падения всячески подчеркивается – хотя, в конечном счете, падает негодяй. Для Росселини этот эпизод явно стал той самой *the story idea*, вокруг которой он выстроил всю свою картину.

Постоянный привкус травмы, подспудно сопровождающий сугубо жанровые сцены, – отнюдь не единственный прием, при помощи которого Крайтон «сдвигает» зрительское отношение к экранному изображению ребенка. Покадровый анализ картины не входит – здесь и сейчас – в нашу задачу, но нельзя не упомянуть об одном из случаев подобного *recadrage*: тем более, что сам интересующий нас эпизод играет в фильме роль начальной экфрастической рамки, организуя дальнейшее восприятие кинотекста. Речь идет о «подкладке» под начальные титры. Первый кадр, который зритель видит на экране, дает ему производственное здание, на крыше которого стоят полтора десятка подростков и швыряют камни прямо зрителю в лицо. Затем камера отъезжает, и зритель обнаруживает между зданием и экраном глухой забор, перед которым расположилась еще одна группа подростков, и камни летят именно в них – впрочем, не оставаясь без ответа. А на заборе, который постепенно занимает весь экран, выведен краской первый из титров – «An Ealing Studios Production». Далее камера начинает двигаться вдоль забора, и титры следуют один за другим. Но экран как носитель вводного информативного текста уже успел утратить свою привычную для зрителя плоскую и нейтральную природу – за ним угадывается насыщенная незримым действием диегетическая реальность, а сам он превращается в овеществленную, покрытую знаками границу между этой реальностью и миром «взаправдашним», к которому принадлежит зритель.

Впрочем, и это еще не все. Перед забором с титрами начинает выстраиваться своя, отдельная реальность, единственными обитателями которой являются дети. Они заняты тем, чем и должны заниматься мальчишки, предоставленные самим себе: бегают, дерутся, играют в крикет и ездят на велосипедах. Они не принадлежат ни к одному из миров, обладая собственной «интересной» и «свободной» локацией, не замкнутой (они прыгают в нее из-за стены), но вполне автономной – и перенасыщенной знаками, производством которых заняты не толь-

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...



ко неведомая внешняя сила, впечатавшая в забор титры, но и сами подростки. С самого начала этой последовательности кадров рядом с титрами появляются демонстративно детские и «случайные» рисунки и надписи: человечки из палочек, пароходик на волнах, «Pat loves Doris» (с комментарием «sorry things», «какие нежности»), «Rally on Sunday» («стрелка в воскресенье») и тому подобное. Постепенно они становятся безобидными не вполне: над именем продюсера возникает толстый какающий человечек, над именем звукорежиссера – виселица. Еще чуть позже мы обнаруживаем автора этих комментариев – мальчика, который добавляет к очередной виселице, нарисованной рядом с именем режиссера, надпись «All cops are r...», где последнее слово, вероятнее всего, должно вылиться в *peddies*, «уроды», «педики». Но рядом с ним на стене появляется тень в характерном высоком шлеме, мальчик пугается и убегает. Здешние дети активно производят смыслы, критические по отношению как к обоим мирам, между которыми затаивался их собственный «карман бытия», так и к начертанным волею взрослых «буквам на стене»²⁸.

И кинематографисты явно с ними солидаризируются, поскольку ребенок подается теперь уже не столько через «невинность» (откуда бы ей взяться у городского уличного пацана?), сколько через вполне «художническую» по сути инаковость, неготовность различать актуальные и проективные реальности. Последний титр появляется в сопровождении вполне официальной таблички с грозной надписью: «Bill stickers will be prosecuted» («Расклейка объявлений наказуема»). А уравнивает эту табличку приклеенная к стене и наполовину оборванная афиша с названием киностудии «Ealing Studios» – и с очередным болтающимся на веревке человечком.

Точка перехода. Между Западным и Восточным Берлином

Через десять с половиной лет после «Держи вора», в ноябре 1957 года, на немецкие экраны вышел «Шериф Тедди» – дебютный художественный фильм Хайнера Карова, в будущем одного из самых значимых режиссеров восточногерманского кино.

28 Через десяток лет с «говорящими» городскими стенами будет активно играть Альбер Ламорис в культовом «Красном шаре». А еще через некоторое время это *know how* переведет в мистическую плоскость начинающий режиссер Андрей Тарковский. Подробнее об этом см.: Михайлин В. *Знаки на стене...* Но самой точной репликой крайтоновской находки в советском кино была, пожалуй, придуманная Юрием Никулиным и не снятая в итоге по цензурным соображениям заставочная сцена к «Операции "Ы"», где персонаж самого Никулина писал на заборе буквы «ХУ», появлялся милиционер, рылся в карманах в поисках свистка, а потом поднимал голову и улыбался, потому что на заборе уже было написано «ХУдожественный фильм». См.: Никулин Ю. *Как делался смех* // Искусство кино. 1996. № 9. С. 31–32.

Выпустившая эту картину государственная киностудия DEFA, к которой перешли производственные мощности Бабельбергской студии прежней UFA, исходно создавалась как орудие политической пропаганды, а после подавления венгерского восстания 1956 года в ГДР как раз наступила очередная пора закручивания гаек, так что снятый на студии фильм просто не мог не отрабатывать актуальной политической повестки. И то обстоятельство, что фильм был рассчитан на подростковую аудиторию, только усиливало идеологический акцент. Литературной основой для киноленты послужил вышедший годом ранее роман плодовитого беллетриста Бенно Плудры, переиздававшийся затем в ГДР солидными тиражами каждый год и сам по себе способный послужить едва ли не идеальным источником для изучения культурно-политических фобий и ключевых пропагандистских установок восточногерманских элит в 1950-е²⁹.

В фильме Хайнера Карова сохранен едва ли не весь тот набор элементов, из которых Чарльз Крайтон выстроил свою историю про подростка, балансирующего на границе реальностей. Здесь есть бандиты, пытающиеся ограбить склад, и мальчик, который их замысел раскрывает и срывает. Есть детская мафия, есть толпа подростков, которая мчится по городу на велосипедах, чтобы успеть к месту схватки с ворами. Есть девочка, наделенная самостоятельной партией в сугубо мальчишеском сюжете, есть «говорящие» городские стены и непростая, на соперничестве основанная мужская дружба. Здешние протагонист и антагонист – типичные фланеры и занимают в городской среде ниши, настолько близкие, что авторы превращают их в родных братьев, младшего и старшего соответственно. Послевоенный Берлин с той же готовностью, что и послевоенный Лондон, предоставляет своим невзрослым героям развалины с горами битого кирпича и прочие зоны очевидным образом деконструированного взрослого порядка. Но собирает из этих элементов восточногерманский режиссер картину с радикально смещенными акцентами.

Начнем с того, что сама граница миров перекодируется самым радикальным образом в плоскость, сугубо политическую, – и начинает разделять между собой не фантазию и реальность, а западный и восточный сектора Берлина. Главный герой Калле, который в первый раз и появляется в кадре ровно на границе советской и американской зон (илл. б), живет в западном секторе, читает приключенческие комиксы и является «шерифом», предводителем уличной подростковой банды. Банда строится на жестких стайных моделях поведения с по-

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

29 PLUDRA B. *Sheriff Teddy*. Berlin: Kinderbuchverlag, 1956.



ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА

«ДЕРЖИ ВОРА»...

Илл. 6. «Шериф Тедди»
(1957). Фланер на гра-
нице двух Берлинов.



стоянным соперничеством за власть и силовым выстраиванием иерархических отношений, с имитацией магических ритуалов, штабом в подвале разбомбленного дома и общей полукриминальной атмосферой – да и само название «банда Тедди» (наряду с некоторыми особенностями костюма и поведения) вполне очевидным образом отсылает к британской уличной субкультуре «тедди-боев». Затем семья Тедди переезжает в восточный сектор, мальчик вынужден идти в гэдээровскую школу, и здесь начинается его извилистый и нелегкий путь к советской нормализации. Он привозит с собой целый набор элементов западного образа жизни, которые позиционируются на фоне «нашей», «нормальной», жизни как вредоносная аномалия. Этот набор представляет собой идеальную подборку *exempla*, которые должны – от противного – иллюстрировать неоспоримые преимущества социалистического пути развития на фоне догнивающего на глазах Запада. Калле – законченный индивидуалист, готовый работать в команде только в тех случаях, когда его лидерство неоспоримо и команда работает на него. Он агрессивен и изворотлив, не останавливается перед откровенной ложью, воровством, подкупом и спекуляцией, если они ему выгодны. Впрочем, сюжет постепенно вскрывает его истинное лицо, прячущееся за всей этой шелухой, которая со всей очевидностью представляет собой следствие растлевающего влияния Запада. Он инициативен и смел и, в принципе, обладает какими-то своими, наполовину уголовными представлениями о порядочности. По мере того, как развивается рассказанная в фильме история, становится очевидным и та ключевая позиция, по которой Бенно Плудра и Хайнер Каров разводят собственного протагониста с его английским прототипом. Оба они

фантазеры, и оба читают приключенческие комиксы. Но в случае с Джо Кёрби именно комиксы и становятся тем волшебным ключиком, который открывает ворота в непредсказуемый и интересный мир на границе фантазии и яви, где ребенок чувствует себя как рыба в воде и куда взрослым вход воспрещен. Тедди же все эти беспочвенные фантазии, эксплуатирующие самые примитивные человеческие инстинкты, как раз и мешают стать правильным, «нашим», ребенком. И, только перенаправив фантазию с выморочных американизированных миров на простое и понятное счастье гонять на собственноручно собранном велике в компании бодрых юношей с честными и открытыми лицами, спортивных, технически грамотных и всегда готовых к труду и обороне, он обретает желанное состояние счастья. Волшебным предметом, способным вытеснить и «деревянную руку», тотем его прежней банды, и цветастые обложки комиксов, под которыми прячутся ковбой, преступники и пришельцы, становится велосипедный манометр.

Создатели «Шерифа Тедди» достаточно грамотно осуществили операцию по возвращению исходного сюжета в привычное просветительское русло, сохранив свежееоткрытый крайтоновский взгляд на ребенка как на вещь в себе³⁰ исключительно в качестве приманки для зрителя, уже успевшего клюнуть на оттепельную «искренность». Тот черный ящик, который представляет собой Тедди в начале фильма, трансформируется в персонажа из сталинского детского кино буквально в последних кадрах картины, когда наступает момент дидактического катарсиса, а до той поры на протяжении полного часа экранного времени продолжает удерживать на себе внимание, раз за разом срывая попытки нормализации – настолько упорно, что к концу этого часа «наш» зритель уже просто не имеет права с этими попытками не солидаризироваться. Сюжет активно использует эмпатийную, балансирующую на грани скрытой эротизации матрицу «приручения», отработанную еще Даниэлем Дефо в «Робинзоне Крузо» и активно подхваченную затем романтической и постромантической беллетристикой. Каров не случайно возвращает протагонисту открытую руссоистскую «природность», которую Крайтон отодвинул было на задний план, трансформировав ее под требования постапокалиптического контекста. В «Держи вора» дети играют не в ковбоев, а в ковровые бомбардировки.

А еще в фильме Карова появляется, причем на правах полноценного агента влияния, реалия, которая была совершенно неуместна не только в «Держи вора», но даже и в «Эмиле», – школа. Транслируя традиционные буржуазные ценности че-

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

30 Уже успевший дать всходы в итальянской (Росселини, де Сика и другие), мексиканской (Бунюэль) и французской (Ламорис, Рене Клеман) кинотрадициях.



рез детективный сюжет о приключениях подростка-фланера в джунглях большого города, Кестнер и Лампрехт совершенно не нуждаются в опосредующих ключевую систему месседжей государственных образовательных и воспитательных средах. Ведущей формой детской социальности здесь является социальность «стайная», уличная – и, введи они в сюжет школу, последняя, как дисциплинарная институция, неизбежно оказалась бы этой социальности противопоставлена и столь же неизбежно превратилась бы в объект критики. Что никак не соответствовало бы общему оптимистическому и назидательному пафосу «Эмиля»³¹. Что же касается «Держи вора», то для здешней концепции ребенка и детства школьный опыт был просто нерелевантен – почему и остался за кадром. Единственная дисциплинарная институция, оказавшаяся здесь в кадре, – это церковный хор. Но для восточногерманского кино, с самых начал своего существования формировавшегося как пропагандистский инструмент³², дидактический сюжет о подроске едва ли не автоматически попадал в сферу компетенции и ответственности государственной системы образования и воспитания – так что школа просто обязана была принять участие в сюжете формирования будущего гражданина ГДР из западногерманского «дикаря», этакого полуприрученного медвежонка, который еще не выучился как следует ходить на задних лапах и играть на балалайке.

ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА. МОСКВА, ПРЕСНЯ

И вот, наконец, мы добрались до финальной точки нашего маршрута – до фильма Алексея Салтыкова и Александра Митты «Друг мой, Колька!», снятого в 1961-м на «Мосфильме»³³. Исходная (одноименная) пьеса 1959 года была дебютной работой

- 31** Справедливости ради следует заметить, что в романе Кестнера школа по крайней мере упоминается. Сама книга вызвала у современного немецкого педагогического сообщества достаточно противоречивые оценки – с точки зрения возможного воспитательного воздействия на учащихся (см.: SPRINGMAN L. *Op. cit.* P. 519). Но, когда к власти пришли нацисты и Кестнер как автор был запрещен, «Эмил» оказался единственной его книгой, которая не была публично сожжена вместе с другими «вредными» изданиями и оставалась в публичном доступе вплоть до конца войны.
- 32** Причем формирование это проходило под бдительным надзором советских кураторов. Собственно, исходно ДЕФА представляла собой совместное советско-немецкое предприятие, имитирующее акционерное общество и с лета 1947 года даже формально принадлежавшее СДПГ. В совет директоров с самого начала были введены представители Совэкспортфильма Илья Трауберг и Александр Волькенштейн, которых позже, после смерти Трауберга в 1948 году, сменили Александр Андриевский и Леонид Антонов. См.: JORDAN G. *Vor 75 Jahren: Die Trauberg-Story // Leuchtkraft. Journal der DEFA-Stiftung.* 2022. № 5. S. 48–65.
- 33** Подробный разбор самой этой картины на уровне сюжета, задействованных культурных кодов и приемов социальной манипуляции уже опубликован нами в: Михайлин В., Беляева Г. *Скрытый учебный план: антропология советского школьного кино начала 1930-х – середины 1960-х годов.* М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 285–304. Посему здесь мы ограничимся только теми аспектами кинотекста, которые имеют непосредственное отношение к заявленной теме.

Александра Хмелика, тогдашнего заведующего отделом литературы и искусства в «Пионерской правде», то есть человека, вписанного в московский журналистско-издательский истеблишмент и, вне всякого сомнения, имевшего возможность посмотреть не только «Шерифа Тедди», но и «Держи вора». Анатолий Эфрос, одна из символических фигур в раннеоттепельном советском театре, уже успел поставить ее в Центральном детском театре; спектакль имел успех, и два начинающих мосфильмовских режиссера, по сути, вытянули счастливый билет, получив возможность экранизировать стопроцентный подростковый хит, который к тому же еще и отработывал актуальную идеологическую повестку дня.

Дело в том, что пьеса Александра Хмелика, премьера которой состоялась 30 декабря 1959 года, со всей очевидностью стала реакцией на два произошедших в советском политическом поле события – на принятый под конец предыдущего, 1958-го, года (24 декабря) закон «Об укреплении связи школы с жизнью»³⁴ и на Внеочередной XXI съезд КПСС, объявивший, как о том уже упоминалось выше, о полной и окончательной победе социализма в СССР. Скорость, с которой в СССР после очередного сигнала сверху появлялись «очень своевременные» книги, пьесы и кинокартины, привычно поражает воображение: а тот отлаженный, разветвленный и многоуровневый механизм, который обеспечивал размещение властного заказа в творческих средах и связанных с ними институтах, контроль за его исполнением и дальнейший мониторинг результатов, вообще заслуживает отдельного системного исследования³⁵.

Закон «Об укреплении связи школы с жизнью» стал частью вынужденной политики советских элит по мобилизации дополнительных трудовых ресурсов, связанной с радикальным уменьшением численности заключенных и военнослужащих, привлекаемых к низкоквалифицированному труду. Сам закон представляет собой образец циничной законотворческой казуистики, где сугубо прагматическая задача, связанная с необходимостью в очередной раз воспользоваться населением как

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

34 Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm).

35 Так образцовый в своем жанре фильм Марке Донского «Сельская учительница» с главной героиней из «бывших», которая не то что не вызывает у советского зрителя подозрений, но дорастает ко второй половине картины до полноценного двойника Матери-Родины, вышел на экраны 30 октября 1947 года, будучи при этом вполне очевидной «отработкой» заказа, сформулированного всего за два года до этого в постановлении СНК «Об улучшении дела подготовки учителей» – что, учитывая сроки работы над полноценной художественной кинокартиной (от написания сценария до послесъемочного прохождения всех необходимых «приемов») на не самую актуальную после войны тему, да еще и в условиях послевоенного дефицита ресурсов, представляет собой едва ли не скоростной рекорд. В литературе примером аналогичного *tour de force* можно считать поэму Евгения Долматовского «Добровольцы», которую поэт закончил летом 1956 года, при том, что «заказ» пришел по результатам февральского XX съезда КПСС и апрельского 5-й пленума ЦК ВЛКСМ.



источником ресурсов, облачается в пропагандистские формулировки, долженствующие создать видимость заботы правительства о простых советских людях³⁶. Причем закон этот воспринимался советскими властными элитами как одновременно значимый и проблемный в такой степени, что в отчетном докладе на XXI съезде Хрущев уделил ему особое внимание, дав себе труд отдельно огрызнуться в адрес неких анонимных заграничных злопыхателей³⁷.

В пьесе Хмелика и в фильме Салтыкова и Митты уже знакомые нам сюжетные элементы были подвергнуты очередной идеологически мотивированной метаморфозе. Развалинам в той стремящейся к идеалу действительности, в которой обитало поколение, чья взрослая жизнь уже должна была пройти при коммунизме³⁸, взяться было неоткуда, а потому их место занимает стройка: именно там в фильме проходят встречи неотъемлемого от нашего сюжета подросткового тайного общества³⁹. Сдвигаются и «пространство фантазии», и детская «природность». Комиксам «западного» производства в СССР также неоткуда было взяться, и авторы картины заменяют увлечение Диким Западом на привычное для зрителя дворовое поветрие – голубятничество⁴⁰, – одновременно обеспечивая и герою, и картине в целом дополнительный ресурс

- 36** Отправной точкой служит тезис о пропасти между физическим и умственным трудом как о характеристике «старого общества». Далее следует напоминание о необходимости всесторонне развивать личность советского человека, о том, что физический труд сохранится и при коммунизме, и о том, что «Гармоническое развитие человека немислимо без физического труда, творческого и радостного, укрепляющего организм, повышающего его жизненные функции». В итоге документ декларирует законность государственной эксплуатации детского труда и обязательность последнего: «С 15–16 лет вся молодежь должна включаться в посильный общественно полезный труд, и все ее дальнейшее обучение необходимо связывать с производительным трудом в народном хозяйстве». А засим, уже в практической части, следуют нормы, связанные с отменой государственного обеспечения учащихся закрытых заведений питанием и одеждой (с заменой на явно неадекватные расходам денежные выплаты), о перекладывании расходов на образование в сельской местности с государства на колхозы и совхозы, о создании производств на базе учебных заведений, где все работы должны выполняться силами учащихся, о приеме в вузы при наличии производственного стажа, об обязательном труде студентов, о переводе творческих специальностей в вузах на заочное обучение без отрыва от производства и так далее. (Из доклада министра культуры Екатерины Фурцевой: «Разве можно, например, считать нормальным, что молодые люди, имеющие литературные или музыкальные способности, сразу же со школьной скамьи поступают в литературный институт или консерваторию?»: *Внеочередной XXI съезд...* С. 271).
- 37** «Некоторые “пророки” за границей кричали: “У них не хватает рабочей силы, поэтому они хотят привлечь к труду подростков”. Пусть каркают такие прорицатели, они все равно не поймут нас. Мы перестраиваем школу не потому, что у нас не хватает рабочей силы, а потому, что хотим еще лучше поставить дело народного образования, еще теснее связать школу с жизнью» (*Внеочередной XXI съезд...* С. 59).
- 38** Согласно генеральной линии партии, четко обозначенной на XXII съезде КПСС в том же, 1961-м, году, когда картина Салтыкова и Митты вышла на экран.
- 39** Исходно автор пьесы этой деталью пренебрег, и детская мафия собирается у него просто на заднем дворе школы, правда, заваленном старыми партами, в которых прячется наблюдающий за героями доносчик. При работе над фильмом недоработка была устранена.
- 40** Которого также не было в исходной пьесе. О корнях этого поветрия и его функциях – в том числе и применительно к «Кольке» см.: Беляева Г., Михайлин В. *Из Утопии в Аркадию: миграция голубей и голубятников в советском кино // Неприкосновенный запас*. 2020. № 4(132). С. 219–239; Михайлин В., Беляева Г., Решетникова Е. *Воображаемые звери*. Саратов: Научная книга, 2021. С. 45–82.

неореалистической достоверности. Это же увлечение протагониста дает одну из сюжетных линий, позволяющих куда более основательно, чем в пьесе, ввести в действие необходимую криминальную составляющую. Голубятническая среда на рубеже 1950–1960-х годов, с одной стороны, вмещала достаточно серьезный теневой оборот ресурсов, а с другой, была полем, где выстраивались отношения «по понятиям», которые если и не были непосредственной производной от понятий блатных, то во всяком случае были с ними вполне совместимы. Эта зона свободы, привязанная к городским задворкам и крышам и непрозрачная для государственных механизмов контроля, подается в фильме одновременно как притягательная и опасная. Голубями занимаются как протагонист, так и уголовник по кличке Абажур, а связующим звеном между этими двумя полюсами свободы становится компания, включающая сразу два основных негативных типа, традиционно прорабатываемых в советском школьном кино, – второгодник и стилиага, низкопоклонствующий перед Западом. Самое занятное, что эти же два типа представляют собой наиболее очевидные и частотные советские вариации на тему молодого городского фланера (илл. 7)⁴¹.

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...



Илл. 7. «Друг мой, Колька!» (1961). Несоюзная молодежь, советские городские фланеры.

В прямолинейно-пропагандистской восточногерманской вариации сюжета основной месседж был настолько тесно связан с противопоставлением двух контрастных социальностей, существующих по ту и по эту сторону границы, что авторы были

41 Было ли в данном случае обыгрывание смыслов, связанных со словом «пижон» (фр. *pigeon*: 1. голубь. 2. лох, простофиля, легкая жертва для вора или мошенника), осознанным, неважно. В любом случае получилось неплохо.



вынуждены максимально сглаживать любые конфликты, возникающие вокруг границ возрастных. В «Эмиле» опасности, подстерегающие ребенка при инициации во взрослую жизнь, «отрабатывались» в психоаналитической логике (сон в поезде, ложный инициатор, «недержание денег»), но инициация происходила успешно, и «правильный» ребенок гармонично вписывался в рациональный и прозрачный мир взрослых людей. В «Держи вора» сама логика инициации вскрывалась как ложная: если ребенок оказывается компетентнее взрослых, если взрослый мир постоянно бликует и меняет смыслы, то покидать прозрачный и предсказуемый мальчишеский мир, где царит железная логика уличной мальчишеской стаи и где сохранены прямые переходы между фантазией и реальностью, нет никакого резона. Назвать здешних детей «правильными» было бы, пожалуй, едва ли не оскорблением в их адрес – но они в любом случае лучше взрослых. «Шериф Тедди» о возрастных границах забывает в угоду границам политическим: западные дети здесь являют собой прямую проекцию от прочного взрослого мира, равно как дети «наши» суть плоть от плоти «нашей», единственно правильной реальности. «Колька» проблематизирует возрастные границы на свой, советский, манер, который оказывается на удивление схож с исходным, «бидермайеровским», вариантом «Эмиля»⁴². «Внутренняя» советская действительность начала 1960-х уже не имела права на жесткие идеологические контрасты, актуальные для пропагандистской культуры ГДР, и просто обязана была предлагать будущему гражданину СССР – по крайней мере с экрана – предельно комфортные инициационные перспективы. Как и берлинский вор в исходном варианте сюжета, советская уличная шпана проходила по ведомству «кто-то кое-где у нас порой» и не только не мешала правильной инициации, но даже способствовала ей, демонстрируя недолжное. То же касается в «Кольке» и другой ложной альтернативы, связанной с формализованной до предела пионерской «стайностью». Выпады в адрес «маленьких начальников» и низовых бюрократических сред были неотъемлемым элементом сталинской кинотрадиции – прежде всего комедийной, – поскольку позволяли создавать видимость социальной критики, которая не подрывала, а напротив, укрепляла доверие к системе в целом⁴³.

В итоге почти без изменений остался только центральный образ подростка как вещи в себе, как городского фланера, за-

42 Слегка видоизменяется роль единственной девочки в мальчишеской стае: здешняя Канарейкина привносит в сюжет комико-мелодраматическую составляющую, вполне в духе бидермайеровской идиллии.

43 Авторы фильма максимально сгладили – для массовой публики – тот акцент на повседневных практиках слежки и доносительства, который был в пьесе Хмелика. Но также убрали они и чересчур очевидные отсылки к мобилизационному заказу («Вы, что, газет не читаете?»).

нимающего внешнюю, не-включенную позицию по отношению к любой «взрослой» среде. Этот образ обладал мощнейшим эмпатийным потенциалом, совершенно неожиданным для советского зрителя, который привык к тому, что сходную нишу в детском сюжете занимает персонаж «неправильный». Эта неправильность могла быть безнадежной, как в случае с гайдаровским Квакиным или с почти обязательными для сталинского и раннеоттепельного подросткового фильма персонажами второго плана, обозначающими негативную норму. – но в этом случае соответствующий персонаж выполнял сугубо служебные функции и на зрительскую эмпатию не претендовал⁴⁴. Если же эту нишу в начале фильма занимал персонаж центральный – как Валентин Листовский из «Аттестата зрелости» (1954) или Валерий Вишняков из «Красного галстука» (1948), – то он подлежал показательному перевоспитанию, являл собой ключевую фигуру в дидактическом *exemplum* и непременно должен был произнести ближе к финалу картины покаянный монолог. То обстоятельство, что в «Кольке» главный герой «удерживает позицию» практически до финальных кадров, представляло собой нововведение настолько радикальное, что оказалось способно заслонить собой вполне лобовое пропагандистское задание настолько, что последних кадров, на которых бывший уличный фланер и голубятник Колька радостно катит с однокурсниками в колхоз, чтобы укреплять связь школы с жизнью (не путать с капиталистической эксплуатацией детского труда!), зритель предпочитал попросту не замечать.

ВАДИМ МИХАЙЛИН,
ГАЛИНА БЕЛЯЕВА
«ДЕРЖИ ВОРА»...

«Внутренняя» советская действительность начала 1960-х уже не имела права на жесткие идеологические контрасты и просто обязана была предлагать будущему гражданину СССР – по крайней мере с экрана – предельно комфортные инициационные перспективы.

Новому дискурсу детства, родившемуся в послевоенной Европе, предстояло в ближайшей перспективе стать доминирующим по обе стороны «железного занавеса». Но стоящие за

44 Или во всяком случае не должен был претендовать по замыслу создателей картины, которые прилагали максимум усилий к тому, чтобы его развенчать. В том, что для предельно криминализованной подростковой среды советских 1930–1950-х тот же Квакин оказывался «социально близким типом» и эмпатию все-таки вызывал, признаваться публично было не принято. А из персонажей декоративных, вроде стилиста Гражданкина в «Аттестате зрелости» или мелкого уголовника Рыжикова («Флаги на башнях»), можно составлять советскую таблицу Ломброзо.



ним системы установок были принципиально различными. В Европе он по большей части остался верен тем основаниям, на которых возник: открытиям в области возрастной психологии, связанным прежде всего со школой Жана Пиаже и обозначившим детство как набор сменяющих друг друга реальностей, которые радикально отличаются при этом от реальности взрослой. Весь связанный с проработкой темы детства спектр вариаций в «серьезном»⁴⁵ европейском (а затем и в американском) кино отталкивался от детской инаковости как от провокации, вызывающей необходимость переосмысления привычных картин реальности. В СССР же воцарилась модель, сугубо манипулятивная, связанная с необходимостью обновления пропагандистского инструментария и нахождения новых способов доставки меседжа: задумчивые пионерки и комсомолки советского школьного кино в ключевой момент непременно выпускали «внутреннего Ленина», который помогал им найти первых пионеров (как в «Звонят, откройте дверь»), прочесть со сцены что-нибудь самозабвенно-революционное (как в «Дикой собаке динго») или хотя бы пройти невзначай с молодым человеком на фоне Вечного огня и Родины-Матери (как в «Переходном возрасте»). Условно «западный» вариант работы с дискурсом детства на время ушел в СССР в нишу авторского кино, чтобы «всплеснуть» гораздо позже, уже в 1980-е, после того, как быковское «Чучело» открыло в юных советских фланерах, эндемиках развалин, задворков и парков, нечто такое, к чему советский зритель оказался категорически не готов. Поскольку, в отличие от зрителя западного, упустил возможность постепенно, за пару десятков лет адаптироваться к мысли о том, что дети – другие. И если бы только зритель. Ко второй половине 1980-х выяснилось, что при столкновении с «детской» темой даже крепкие профессионалы от советского кино – вроде Эльдара Рязанова – создают тексты вполне панические. Но это уже тема для другого разговора⁴⁶.

45 Понятно, что сугубо развлекательные «мимимишные» детские фильмы, выполняющие совершенно иные социальные функции и не рассчитанные на какую бы то ни было проблематизацию реальности, остаются в данном случае за скобками.

46 См.: Михайлин В., Беляева Г. *Поколение инопланетян: о «новой волне» в школьном кино конца 1980-х // Неприкосновенный запас*. 2018. № 3(119). С. 99–113.

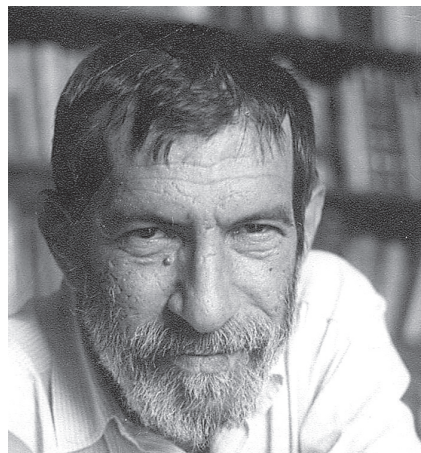
«Поучительная и ужасная поездка»

ДЁРДЬ
ПЕТРИ

Интервью венгерского поэта Дёрдя Петри журналистке Марии Пап¹

Воспоминания о поездке в СССР в октябре 1971 года – часть интервью венгерского поэта Дёрдя Петри журналистке Марии Пап. Петри – возможно, последний «поколенческий» венгерский поэт; его тексты, несмотря на значительность поэтической и политической фигуры автора, практически не знакомы российскому читателю², и это большое упущение, учитывая, насколько явные и прочные смысловые нити связывают его как с эстетическими путями позднесоветской неофициальной литературы, так и с общей историей СССР и Восточной и Центральной Европы (достаточно упомянуть несколько стихотворений из сборника «Они считают, что» 1985 года: «If» о Горьком на Капри, «Предположительно» – в нем фигурируют Бухарин и Беломорканал, или «Памяти Леонида Ильича Брежнева»).

Рассказ о поездке в СССР – известный жанр для авторов «стран народной демократии». У Петри в этом смысле были



Дёрдь Петри (1943–2000) – венгерский поэт, переводчик и журналист.

- 1 Фрагмент серии интервью 1989 года, которые Петри дал Марии Пап. Запись, сделанная 13-го и 18 апреля, опубликована в: PETRI G. *“Tanulságos és szörnyű utazás”* // Holmi. 2010. № XXII. P. 848–861.
- 2 На русском языке стихи Петри публиковались в журнале «Иностранная литература» (1998. № 10; 2001. № 3) в переводах Юрия Гусева, а также в ряде научных статей в нашем переводе.

АРХИВ «НЗ»

в венгерской литературе примечательные предшественники, например, Дюла Ийеш с книгой «Россия. 1934»³ – и последователи: современный венгерский писатель Адам Бодор с макабрической статьей «Венгерский писатель за границей, зимой»⁴. Опыт Петри, как становится очевидно из интервью, оказался довольно радикальным: поэт не выдержал и покинул Советский Союз раньше времени. Ряд мотивов, фигурирующих в интервью, тесно связан с биографией автора и основными вехами его жизни⁵.

Дёрдь Петри родился 22 декабря 1943 года в Будапеште. Предки родителей Петри могут служить прекрасной иллюстрацией этнического разнообразия населения Венгрии: среди них были сербы, евреи, буневцы⁶, швабы, словаки, моравы. Отец и мать Петри долгое время жили в Белграде, затем, во время Второй мировой войны, переехали в Будапешт. Отец умер рано, воспитанием мальчика занималась многочисленная родня. По собственному признанию Петри, осознание поэтического призвания пришло к нему довольно рано, в 11–12 лет, а в 1960-м литературный еженедельник «Жизнь и литература» («Élet és Irodalom») впервые опубликовал стихотворение семнадцатилетнего поэта. Сам Дёрдь Петри, однако, своей первой публикацией остался недоволен и впоследствии не позволял повторно издавать написанных им до двадцати лет стихотворений.

После окончания школы (расположенной в Буде известной будапештской гимназии имени Ференца Толди) Петри посвятил несколько лет поискам пути: думая о карьере психиатра, работал в Реабилитационном центре аддиктологии и психиатрии в Интахазе⁷, планировал поступать на экономический, а затем и на юридический факультет, параллельно зарабатывая на жизнь корректором в Государственном предприятии по распространению книг. В 1966 году Петри поступил на отделение венгерского языка и философии Будапештского университета имени Лоранда Этвеша, где успел поучиться и у специалиста по античной философии Эндре Шимона, и у знаменитого ученика Дёрдя Лукача⁸ – Дёрдя Маркуша, – одного из представителей Будапештской школы. Знакомство с университетскими

3 Ийеш Д. *Россия. 1934*. М.: Хроникер, 2005.

4 Бодор А. *Magyar író külföldön, télen* // *Élet és Irodalom*. 2005. Január 7. P. 9.

5 Подробнее о творчестве Петри см.: Якименко О.А. *Дёрдь Петри – «проклятый поэт» поколения 1970–1980 годов // Феномен поколений в русской и венгерской литературной практике XX–XXI веков*. СПб.; Екатеринбург, 2022. С. 364–379.

6 Этническая группа южных славян, проживающих в исторической области Бачка в крае Воеводина, который сегодня входит в состав Сербии.

7 В этом лечебном учреждении разворачивается действие популярной в конце 1950-х автобиографической книги доктора Иштвана Бенедэка «Золотая клетка».

8 Дьёрдь Лукач (1885–1971) – венгерский философ-неомарксист, критик, литературовед, основатель «Будапештской школы» марксизма.

неомарксистами во многом определило «шестидесятнический» характер мировоззрения Петри: на этом этапе философы – ученики и ученицы Лукача – выступали за гуманистическое и расширенное понимание марксизма, превратившегося к тому времени в официозную, не допускающую множественных трактовок идеологию. Именно поэтому передать книги Лукача представителям ленинградского андерграунда казалось Петри такой важной задачей. Однако, как видим из интервью, это предприятие привело к неожиданному результату и серьезно переосмыслению прежних идеалов.

В 1966–1967 годах происходит знакомство Петри (очное и заочное) с поэтами, чье творчество во многом определит и его собственный поэтический голос: с ровесником Петри, студентом отделения венгерского языка и литературы, впоследствии бессменным сотрудником издательства «Европа», специалистом по англоязычной поэзии Саболчем Варади и с двумя крупнейшими представителями европейской поэзии – Томасом Элиотом и Константиносом Кавафисом, объединенным приверженностью к «ученой традиции» и стремлением к эмоциональной нейтральности, «объективному корреляту»; их произведения в шестидесятые довольно активно переводили на венгерский. Еще одним важным литературным впечатлением того периода стало ознакомление с «Новой жизнью» Данте. Если продолжить список «поэтических авторитетов» Петри, кажется вполне логичным, что из русских поэтов-современников Петри выделял Иосифа Бродского, встречу с которым описывает в интервью и стихотворение которого перевел (с английского).

Вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году заставило многих сторонников гуманистической версии марксизма серьезно пересмотреть свои политические взгляды. Для Петри это событие стало по-настоящему переломным: не получив диплома, он бросил университет и, подобно многим представителям своего поколения, отказался играть по правилам, «институализироваться», предпочитая случайные заработки в качестве составителя аннотаций для библиотекарей, статиста на киностудии или интервьюера в ходе социологических исследований. Не случайно вопрос об отношении к событиям 1968 года становится для Петри лакмусовой бумажкой и при знакомстве с советскими коллегами.

Первый сборник Петри «Пояснения для М.» («Magyarázatok M. Számára») вышел в 1971 году и сразу обратил на себя внимание как исключительно зрелое, выверенное и самостоятельное поэтическое высказывание. В книгу вошли стихотворения, написанные в период с 1968-го по 1970 год, и в них уже отчетливо просматриваются характерные для автора трагический пафос, ощущение разочарования, потери иллюзий и, одновре-

ДЁРДЬ ПЕТРИ

«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
И УЖАСНАЯ ПОЕЗДКА»...



менно, ироничная интонация, склонность к гротеску. Поэт заявляет о своем выборе: ради личной свободы он готов пожертвовать всем, включая собственную жизнь, и задает программу собственного творчества, одной из центральных тем которого станет историческая память и работа с ней. Историческое событие у Петри всегда одновременно присутствует и в прошлом, где его непосредственные участники не всегда осознают масштаб происходящего, и продолжает преосуществляться в настоящем, где его сакральный смысл вдруг проступает в повседневности.

В 1974 году увидел свет второй сборник стихов Петри «Подробно описанное падение» («Körülírt zuhanás»). В нем политическая позиция автора выражена уже куда более отчетливо и радикально: он окончательно отмежевывается и от официальной, разрешенной литературной «тусовки», и от андерграунда. Почти все тексты сборника написаны от первого лица, а если и имеют адресата, как явно обращенное к сверстнику стихотворение «К В.С.», то повествуют о неспособности общих воспоминаний объединить представителей одного поколения. Как и сам Петри, его современники ощущали себя узниками «некоего положения, / назвать которое одиночеством / было бы преувеличением, / а независимостью – самообманом». «Подробно описанное падение» в еще большей степени становится манифестом целого поколения. Помимо полемики с привычными топосами венгерской поэзии (одно из самых резких стихотворений сборника – «Из песен свиньи» – переключка с программным текстом Аттилы Йожефа «Родина моя»), важнейшим мотивом сборника стало ощущение, будто время остановилось. Следующий сборник Петри, который выйдет через семь лет, будет называться «Вечный понедельник» («Örökhétfő»).

Причиной столь длительного перерыва стало не только стремление функционеров от культуры оттеснить явно заметного, но слишком уж неудобного и непредсказуемого поэта на литературную периферию. Относительно либеральный в плане выражения собственного мнения период конца 1960-х – начала 1970-х подходил к концу. Венгрия, как и «старший брат», погружалась в трясину глубокого застоя. С середины 1970-х Дёрдь Петри стал активно участвовать в различных неофициальных и оппозиционных политических начинаниях. В 1979-м вместе с тридцатью представителями венгерской интеллигенции Петри подписал открытое письмо Яношу Кадару, в котором ученые, литераторы, преподаватели, архитекторы выразили протест против репрессий в отношении создателей и подписантов Хартии-77, программного документа группы политических диссидентов в Чехословакии. Участие в этой акции стоило поэту стипендии Морица (ежемесячные выплаты по ней

составляли серьезную по тем временам сумму) и запрета на официальные публикации. Последующие несколько лет Петри жил на деньги, которые собирали для него всем миром. Можно сказать, он окончательно утвердился в своем статусе «поэта поколения» – ведь он в полной мере существовал теперь в том пространстве, в котором и формировалась естественная, не заданная сверху культура эпохи. С именем Дёрдя Петри в эти годы также связан и феномен венгерского самиздата⁹ – масштабной сети независимых (и, естественно, незаконных) издательств, выпускавших и продававших литературу, опубликовать которую в государственных издательствах было невозможно. В 1981 году Петри стал соредактором самого авторитетного самоиздатовского журнала «Беселе» («Beszélő»).

Решительное нежелание подвергать свои тексты какой-либо цензуре, в том числе и самоцензуре, стремление называть вещи своими именами в обществе, где для культуры существовали жесткие идеологические фильтры, делали стихи Петри необычайно популярными среди читателей неофициальной, диссидентской литературы. «Вечный понедельник» стал первой поэтической книгой, выпущенной венгерским самиздатом (издательством «AB Független Kiadó»). И для соотечественников Петри, и для зарубежных читателей (в 1982 году сборник вышел в Бельгии, а в 1984-м – в США) он стал в первую очередь политическим жестом, подтвердив статус его автора как главного поэта диссидентского андерграунда.

В конце 1970-х отдельные стихи Петри все-таки стали появляться в венгероязычной литературной периодике – сначала в издававшемся в Югославии журнале «Новый симпозиум» («Új Szimpozium»), а затем и в не столь жестко цензурированных венгерских журналах «Мозго Вилаг» и «Кортарш».

Как и в историях многих советских диссидентов, ужесточение цензуры в отношении Петри произошло после публикации его текстов в переводах на Западе. В 1984 году в США был опубликован перевод его стихотворения, написанного на смерть Брежнева, из-за чего следующий венгерский сборник, название которого можно перевести как «Они считают, что» («Azt hiszik», 1985), Петри пришлось снова выпустить в самиздате. «Они считают, что» стал последним концептуальным сборником поэта. После смены режима – перехода к многопартийной парламентской республике в 1989 году – Петри вернулся в «общее» пространство и в политическом, и в поэтическом смысле: участвовал в создании венгерской либеральной

ДЁРДЬ ПЕТРИ

«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
И УЖАСНАЯ ПОЕЗДКА»...

9 Примечательно, что в венгерском языке (как и в некоторых других) слово *szamizdat* – прямое заимствование из «советского» русского. Подробнее о венгерском самиздате см., например: RISSMANN E. (Szerk.). *Szamizdat. Alternatív kultórák Kelet- és Közép-Európában, 1956–1989*. Budapest: Stencil-Európai Kulturális Alapítvány, 2004; а также воспоминания его активных участников – Ласло Райка, Миклоша Харасты и других.



партии «Альянс свободных демократов» (SzDSz, вышел из нее в 1994 году) и, наконец, выпустил сборник стихов разных лет «Где-то оно есть» («Valahol megvan», 1989), где были представлены и свежие стихи, и циклы, прежде публиковавшиеся в самиздате, правда, в сокращенных вариантах. После недолгих занятий публичной политикой в первой половине 1990-х Петри перестал активно участвовать в политической жизни, однако продолжал писать публицистические тексты и давал многочисленные интервью на актуальные темы, а также работал в редакции журнала «Холми» («Holmi»). В 1990 году в сборнике «То, что не вошло» были опубликованы стихотворения, не вошедшие в предыдущую книгу. В последнее десятилетие жизни Петри выпустил еще несколько книг стихов и переводов – в том числе и «Стихи 1971–1995» (1995). В начале 1990-х вернулось и официальное признание в виде премий – Аттилы Йожефа (1990) и Кошута (1996). В 2000 году поэт умер от рака гортани.

Благодарю за помощь в подготовке публикации старшего методиста Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Екатерину Печеник, поэта Григория Петухова и писателя и журналиста Ваграма Мартиросяна. **[Оксана Якименко]**

Дёрдь Петри: У Союза писателей был тогда свой иностранный отдел, сегодня такого уже нет, Минпрос его закрыл. Они в рамках обмена посылали в соцстраны писателей и, соответственно, принимали гостей из этих стран в Венгрии. Так я и попал в СССР. Поездка оказалась поучительной и одновременно ужасной. Расписание было дичайше плотное: я почти в течение месяца побывал в Москве, Ленинграде, Таллинне и Тбилиси. А короткой – 28 дней – поездка оказалась потому, что Советский Союз оказался для меня невыносимым. Было ужасно неловко, пришлось какие-то конспиративные уловки выдумывать – я ведь не мог обидеть тех, кто меня принимал, и дать им понять, что сыт ими по горло, вот и придумал довольно запутанную историю, в которую, думаю, они ни на секунду не поверили: мол, некий переводчик моих стихов неизвестно на какой язык будет проездом в Будапеште, и у меня будет время только в транзитной зоне с ним встретиться, в аэропорту, по какому-то важному делу, и поэтому... Мною крайне редко овладевает такое бешеное нетерпение: я чувствовал – надо отсюда двигаться срочно. При том, что я там как сыр в масле катался. На самом деле я был сыт по горло необходимостью прилагать серьезные усилия, чтобы хоть что-то увидеть в Советском Союзе.

Переводчик – естественно, кагэбэшник – ни на минуту меня не оставлял, так что мне постоянно приходилось придумывать, как от него отделаться. Потом задним числом выяснилось, что они всегда знали, где я нахожусь. Об этом они мне ненавязчиво дали понять. Обнаружилось это, когда я посетил Иосифа Бродского. Судя по всему, он жил в коммуналке, но при этом у него была огромная комната, книги все были в коробках, а коробки нагромождены друг на друга, образывая стены, и мы передвигались по узким проходам. Он показался мне очень приятным, доброжелательным человеком.

[...] Вот и все, что было в Москве¹⁰. [...] После мы перебрались в Ленинград. Есть такой поезд-экспресс, «Красная стрела», он курсирует между Ленинградом и Москвой. Вот этот поезд был на удивление цивилизованный. Мы ехали в спальном вагоне, и проводница постоянно приносила чай. И это почему-то продолжалось всю ночь, потому как ни я, ни мой переводчик, похоже, были не в состоянии спать в поезде, несмотря даже на то, что ехали мы ночью и за окном ничего особенно было не видно – да и то, что я в России, так меня будоражило, что я не мог спать. А эта женщина, как видела, что из-за шторы просачивается свет, все время подходила к двери купе и спрашивала, хотим ли мы чаю. Я практически всю ночь прочаевничал с переводчиком и, как следствие, прибыл в Ленинград в разбитом состоянии. Ленинград показался мне мрачным, но красивым. То, что русские называют его «Северной Венецией», кажется мне преувеличением. А называют они его так, потому что у Невы масса каналов и притоков, но Венеция, по-моему, поуютнее Петербурга¹¹ будет. Но город действительно красивый, ведь для его строительства Петр I отрядил команду архитекторов – невероятно современная идея, – чтобы они проектировали альтернативные варианты для каждой улицы, а потом, когда планы отдельных зданий были готовы, царь созвал новый экспертный совет, в котором участвовал и сам, и они стали двигать, менять дома местами, чтобы каждая улица выглядела гармонично. И правда, каждая улица смотрится поразительно цельной. Из-за этого город кажется немного стерильным. Странно, когда я говорил, ну, вот это город, а Москва – кошмар какой-то, переводчик и другие русские заявляли, что признают: мол, для иностранца Ленинград красивее, но все-таки именно Москва – настоящая Россия, в ней есть жизнь, это просто я не заметил, только на неприятную ее сторону внимание обратил. Может, конечно, они в этом и были правы. Да, еще одну вещь не сказал про Москву и про другой

ДЁРДЬ ПЕТРИ

«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
И УЖАСНАЯ ПОЕЗДКА»...

10 Рассказ о московской части своего путешествия Петри из финального варианта интервью удалил, когда начал работу над стихотворением «Большое путешествие».

11 Любопытно, что в своем рассказе о поездке в СССР, Петри называет город то Ленинградом, то Петербургом.



мой контакт с русскими. В Москве есть один валютный бар, работает всю ночь и функционирует по совершенно бесстыдному и характерно советскому принципу. Один рубль там равен одному доллару. Что удивительно, там ни у кого не спрашивают, откуда у тебя валюта. Я заметил, что в этом огромном полуподвальном помещении было полно агентов КГБ. Они там явно сразу видят, кто иностранец – такие посетители их не интересуют. Человек подходит к стойке, получает за три рубля три доллара, нет, он идет к месту, где сидит обменщик, получает за три рубля три доллара – столько стоит порция виски – и потом уже идет к стойке и отдает официанту, так эти деньги и кочуют между официантом и обменщиком. Мне, кстати, понравилось, что в Москве можно выпить виски. Удручало же то, что там стояла куча московской молодежи, у которой либо не хватает рублей, чтобы за такие деньги покупать выпивку – бутылка водки тогда стоила три пятьдесят, – либо она боялась, не решалась обменять. Мне еще потом говорили, что не известно, по какой схеме действуют кагэбэшники: они в какой-то момент кого-то из посетителей вылавливают и принимаются допрашивать, откуда у человека столько денег, чтобы в этот бар ходить. В принципе, запрета нет, просто не совсем разрешено или не всем разрешено, черт его знает, как оно работает. Меня жутко угнетало, что эти бедолаги приходят и плятятся на бутылку виски, а само место было оборудовано, абсолютно как какой-нибудь западный бар – в плане стиля тоже. Барная стойка с перекладной из хромированной стали, обтянута кожей, высокие барные стулья, нереальный выбор – все что душе угодно. Пока я там ошивался, высмотрел одного парня-студента и девушку. Сказал им, мол, если хотите что-то выпить, я – иностранец, венгр, у меня куча денег, которые мне совершенно не на что потратить, – с радостью готов угостить. Парень немного говорил по-английски. Мы отлично поладили, ведь ни один из нас не чувствовал себя ущербным из-за языка. Выпили несколько порций виски, и тут парень с девушкой говорят, что у них дома есть водка, и, если у меня есть настроение, можно к ним зайти и выпить у них. С каким-то диким трудом удалось словить такси, ребята жили очень далеко, опять в какой-то перенаселенной коммуналке с железными засовами на дверях, замками и всей этой ерундой. Только мы вошли, в коридор вылез старик с длинной седой бородой – кто он был, я так и не понял, – в толстых шерстяных носках, лыжных штанах и какой-то трикотажной майке, – и, точно разгневанный пророк, принялся кричать на молодую пару. Полноценно общаться по-английски мы не могли, поэтому я так и не выяснил, что это за персонаж, по факту пришлось оттуда убираться. Но сцена была совершенно в духе Достоевского: дед орал, глаза

у него налились кровью, все это действительно было похоже на сон: то, как девушка пыталась его успокоить, а юноша тем временем откуда-то вытаскивал водку, возился он долго – надо было открыть замок, снять засов, потом все вернуть на место. Я был не в состоянии что-либо понять – старик в итоге исчез в одной из комнат. Все это длилось довольно долго, и дед все это время без остановки вопил, а девушка его растерянно успокаивала. В итоге я ни слова не понял, тем более, что по-русски они говорили на повышенных тонах и жутко быстро. Потом мы под проливным дождем пошли в какой-то парк. Но на ночь парки в России закрывают – когда их ночью оставляли открытыми, там натурально регулярно происходило какое-то насилие, многих избивали. Так что в парк идти было нельзя. Дождь лил как из ведра, в конечном счете мы нашли какую-то скамейку не в парке и дерево, под которым худо-бедно можно было укрыться от дождя, там-то мы втроем и распили ту бутылку водки. Ребята были ужасно милые – такси нигде не было, так они со мной пошли пешком под проливным дождем. Довели меня практически до центра, где уже можно было взять такси. По их словам, во-первых, ночью в Москве не так уж и безопасно, а во-вторых, вполне естественно, что они меня провожают, ведь я не смог бы сориентироваться. Эти двое очень по-человечески себя вели. Но в целом в Москве меня угнетало то, что... в гостинице персонал, конечно, специально был вымуштрован, чтобы никаких непосредственных контактов с иностранцами. Был момент, когда я ощутил себя до такой невыносимости одиноким, что заварил два растворимых кофе и вышел из номера угостить дежурную по этажу, и она не взяла кофе. Возможно, она восприняла это как попытку подкупа с моей стороны. Мелочь, но очень характерная. Ужасно неприятное было ощущение – от него это чувство одиночества только усилилось.

В Ленинграде я поселился в гостинице «Европейская»¹², где у меня был шикарный и исключительно удобный номер. Питался я либо там, либо в гостинице «Астория», расположенной неподалеку, где уже можно было почувствовать себя так, будто находишься в царской России. Официанты обслуживали меня с невероятной услужливостью, вежливостью и быстротой и постоянно следили за всем: скатерти, столовое серебро, благородный фарфор – словом, потрясающая изысканность и вкуснейшая еда... Хлеб с маслом и икрой, хлеб выносили горячим, и официант намазывал икру, спрашивал, желаю ли я с лимонном, и сбрызгивал лимонным соком из маленького хрустального кувшинчика. При том, что обслуживание в магазинах или

12 В оригинале Петри использует слово «Европа», но с 1930-х и до 1991 года гостиница носила название «Европейская».



заведениях подешевле невероятно хамское, в шикарных местах подобного рода – это я не только в «Астории» наблюдал – идеальное, практически до невыносимости.

Не знаю, почему так важен Ленинград, почему все поменялось, но следить за мной в этом городе по какой-то причине стали пристальнее. Дали мне какой-то трехзначный номер, и внезапно нарисовалась черная «Волга» с шофером – возили, куда скажу. Никто меня не обязывал, но дали почувствовать, несколько раз повторили, мол, если захочу куда-то недалеко съездить, такая возможность у меня есть. Но подразумевалось, что в обязательном порядке [надо сообщить, куда направляюсь]. Я это правило несколько раз нарушил, и мне каждый раз давали понять, что об этом известно. Ничего не комментировали, не говорили, где я был, но давали понять. Жалею, что был в городе не летом – очень хороши и Летний сад, и Нева. Еще я тогда впервые увидел море, оказался в Финском заливе. Прямо в море упал. Пьяным, в виде исключения, я в тот момент не был, просто увидел в море медузу, а спуск к воде там был довольно крутой и мощный, я был в ботинках на кожаной подошве и спускался очень осторожно, но внизу были водоросли. К счастью, там не сразу было глубоко, так что я оказался в воде примерно по пояс, выловил медузу и с довольно большим трудом выполз обратно. Медузу отбросил, снял ботинки, их тоже кинул на берег, в носках уже проще было цепляться, так и выбрался. По счастью, все это происходило неподалеку от гостиницы¹³. Когда я входил в шикарный вестибюль, оставляя за собой полосы стекающей воды, то, наверное, выглядел довольно своеобразно.

Мария Пап: С медузой в руках.

Д.П.: Да уж. Медуза еще какое-то время у меня прожила, пока я был в Ленинграде. Спустя три дня она сдохла – я для нее налил в раковину холодную воду, насыпал соли, чтобы было похоже на море, там она и плавала. Периодически я менял воду, но она все равно только три дня протянула – значит, у меня не получилось воспроизвести состав морской воды. Море действительно сильно потрясло как стихия. Большие горы не произвели на меня такого уж значительного впечатления. А вот в связи с морем меня охватывает метафизически возвышенное чувство. Тогда я впервые увидел мост, который разводят, тогда же первый раз видел океанский лайнер – такой невообразимо гигант-

13 Не очень понятно, где конкретно это произошло: гостиница «Европейская», где, по утверждению Петри, он останавливался, находится довольно далеко от побережья Финского залива. Речь скорее всего идет либо о набережной Невы или Мойки – там как раз есть крутой спуск недалеко от гостиницы (но тогда откуда в воде медуза?), либо о выходе к заливу на Васильевском острове (но это довольно далеко от гостиницы).

ский корабль в несколько этажей. Крейсер «Аврора» удалось только снаружи осмотреть – его тогда как раз ремонтировали, готовили к 7 ноября, но в эту дату я уже был в Грузии. Очень странное было ощущение: я столько раз слышал, какую важную военную роль сыграл крейсер «Аврора», а на самом деле это совсем небольшое судно. Примерно как прогулочный корабль на Дунае, только с пушками на борту. Он меня странным образом разочаровал – я-то рассчитывал на нечто гигантское.

Из приятных впечатлений – побывал в редакции журнала «Аврора». Этот ежемесячный журнал печатает и иностранную, и национальную литературу. В редакции все были сплошь молодые и невероятно образованные люди. Там я даже сумел воспользоваться своим знанием немецкого. Встреча подействовала на меня крайне освежающе, ведь и до и после этого меня водили на встречи в основном с партийными идиотами и функционерами из Союза писателей. А с этими можно было поговорить по-настоящему. Они были на удивление осведомлены обо всем, что было, скажем, лет тридцать назад. С ними можно было беседовать о Рильке и Элиоте. Атмосфера там была отличная, я до такой степени расслабился, что переводчик там меня и оставил – выяснилось, что в редакции все говорят по-английски или по-немецки, а еще он увидел, что мы не готовимся свергнуть советскую власть и доносить тут не о чем. А эти молодые ленинградские редакторы тоже явно наслаждались возможностью поговорить с иностранцем. Был среди них и поэт¹⁴. Любопытно, что я и в разговоре с ними, как и везде, намеренно упомянул о вторжении в Прагу в 1968-м, просто хотел их спровоцировать, чтобы услышать подлинное мнение, и у меня было чувство, что они со мной согласны. Они не отрицали, ни о чем не спорили, реагировали абсолютно сдержанно, приняли к сведению то, что я сказал, и, как мне кажется, согласились со мной. Высказать это вслух, очевидно, было бы для них опасно. Вполне вероятно, что в такой редакции, где периодически бывают иностранцы, и у стен есть уши. Может, переводчик спокойно оставил меня там одного еще и потому, что магнитофон все равно уже был включен. Но вообще, по моему, это было единственное учреждение, где я встретил людей, европейски ориентированных.

Да, еще в самом начале, по приезде было неприятно, что нас ждало какое-то авто, и переводчик сказал, что до гостиницы

ДЁРДЬ ПЕТРИ

«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
И УЖАСНАЯ ПОЕЗДКА»...

14 Петри вполне мог встретить в редакции «Авроры» Владимира Торопыгина (1928–1980), ставшего с 1973 года главным редактором журнала; Олега Шестинского (1929–2009) (возможно, именно он и был тем «поэтом»), Нину Королеву (1933–2022), чьи стихи (в том числе и стихотворение с упоминанием гибели царской семьи, которое в 1973 году стало причиной большого политического скандала и смены главного редактора «Авроры») удивительно созвучны исторической лирике венгерского поэта. Увы, практически все члены редакции «Авроры» тех лет уже умерли. Найти же упоминания о визите Петри у кого-либо из потенциальных собеседников в письмах или воспоминаниях пока не удалось.



нам надо будет заехать еще в одно место, и место это оказалось главным штабом ленинградского КГБ. Я тогда крайне удивился, судя по всему, это такая русская особенность – так по-детски и нагло лгать. Он с кем-то парой слов перекинулся, потом вернулся и сказал: мол, ой, он ошибся, это КГБ, на самом деле мы едем в другое место, а тот человек, с которым он говорил, – это его знакомый, случайно встретились. Это явно была проверка, ему надо было показать, что мы действительно прибыли в Ленинград, а не заехали на какую-нибудь запрещенную территорию. И мы действительно еще куда-то поехали, где он зашел в какую-то комнату, это было что-то вроде алиби. Потом откуда-то возникла довольно несимпатичная Анна Павловна, выглядело все так, будто она девушка или одна из девушек этого переводчика, ведь он постоянно был в разъездах, типа как капитаны – по девушке в каждом порту. И тут на меня накатила такая сильная тоска, даже не по женщине, наверное, чувство одиночества, ведь при том, что я все время посещал разнообразные мероприятия, я все время ощущал себя адски одиноким. Не знаю даже, было ли это из-за того, что страна такая большая или такая чудовищная, но я страшно страдал. Так или иначе, я принялся ухаживать за этой дико неприятной и довольно некрасивой женщиной. Совершенно случайно вспомнил несколько стихотворений Аполлинера по-французски, позвонил ей среди ночи по телефону и прочел: «Я сорвал этот стебель вереска... и помни, что я тебя жду» – и пожелал спокойной ночи. В общем, впал в некое платоническое безумие, ведь было очевидно, что она возлюбленная или временная подруга моего переводчика. Мы иногда гуляли вместе, и я, изображая из себя эдакого трубадура, пытался за ней ухаживать при посредничестве переводчика, который не моргнув глазом ей переводил и был исключительно любезен.

С переводчиком, кстати, был интересный случай. Якобы он получил от Генриха Бёлля 500 марок и попросил меня купить ему в валютном магазине при гостинице шелковых платков. А ему, по его же словам, нельзя было принимать подарки, особенно деньги, от интуристов и он бы мог тогда работу потерять, если бы купил сам. Это была одна из немногих минут искренности – быть искренним было в его интересах. На это я спросил, что будет со мной, ведь официально и мне запрещено иметь при себе западную валюту. Он ответил: мол, смотри, тебя могут выслать из страны. Он очень корректно себя повел. Я ему говорю: хорошо, попробуем, это я вынести в состоянии – я это сказал с некоторым вызовом, потому как мне уже начало это все надоедать – а ведь шла всего вторая неделя – в общем, если вышлют из страны, ничего со мной не будет. Оказалось, будучи

переводчиком и офицером КГБ, он дополнял свой скромный гэбэшный доход за счет того, что приобретал разные ткани и шил галстуки. Шил он их совершенно профессионально и утверждал, что умудряется продавать их по каким-то нереальным ценам. Галстуки эти были страшные как смерть, жутко безвкусные, но было совершенно понятно, что предприятие имело серьезный успех, ведь легкая промышленность в Советском Союзе до такой степени унифицированная, что спрос есть на все, что хотя бы отличается. Одним словом, если ты приехал в Москву, тебя готовы раздеть с ног до головы и можно, не знаю, 500 рублей получить за то, что на тебе надето. Потому что там такого нет. И такой невообразимый голод по чему-то другому, непохожему, что люди готовы совершенно несоразмерные суммы отдавать за все, что отличается от серой массы. Не знаю, рассказывал ли я уже: у меня были итальянские мокасины, и один тип за любые деньги хотел их у меня купить, какую-то дикую сумму за них предлагал, чуть ли не месячную зарплату. Я ему говорю: поймите, я в этой обуви приехал, у меня других нет. Мне, что, босиком ходить? Он мне: не страшно, зайдем, говорит, в обувной магазин, куплю тебе пару обуви, плюс обещал заплатить, не знаю, 120 рублей за эти мокасины, и все уладим. Зашли мы в обувной. Там-то я все понял, потому что на полках рядами стояли абсолютно одинаковые ботинки цвета говна. Потом, к счастью, обнаружилось, что ему мои туфли малы. Так что покупка не состоялась, мне не достались 120 рублей, а ему – прекрасные итальянские мокасины.

В общем, переводчик мой, любитель приключений, подхалтуривал шитьем галстуков. После армии он начинал почтовым летчиком. Все время с гордостью демонстрировал жетон на цепочке, где были выгравированы имя и номер, – страшно гордился тем, что работал в дальневосточной почтовой службе. Удивительный был тип. Мы с ним жарко спорили насчет 1968 года. Я ему говорил, что это подлые действия и это на самом деле означает, что социализм, международное рабочее движение и интернационализм превратились в совершенно лживую демагогию. Странно, что он не защищал самого вторжения, но утверждал, что это была политическая ошибка. Я пытался объяснить ему, что это было больше, чем ошибка, и что события эти несут в себе иной нравственный и исторический смысл, нежели просто политическая ошибка. Тогда я подумал, что это он просто из уважения к гостю не говорит, мол, это так надо было сделать, видя, что я возмущен, а вместо этого осуждает произошедшее, только с более мягкой и лояльной точки зрения. Позже я сообразил, что, нет, что просто существует некий великорусский шовинизм относительно того, что составляет интересы империи. То есть он с этой точки зрения рассуж-

ДЁРДЬ ПЕТРИ

«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
И УЖАСНАЯ ПОЕЗДКА»...



дал, что оккупация Чехословакии не была бы ошибкой, если бы международная реакция на это не была бы такой катастрофически отрицательной, он искренне полагал, что при этом раскладе это действительно была ошибка. Но сам по себе факт, что у такой ничтожно маленькой страны, как Чехословакия, есть суверенитет и достоинство, никаких эмоций у него не вызывал. Он искренне и инстинктивно мыслил в русле имперских интересов. Для него это целиком и полностью был вопрос техники власти. И переводчик вовсе не был глуп. При этом у него были невероятные пробелы в образовании. Как-то мы с ним зашли в книжный, и там был двуязычный сборник Эдгара По, я взял его полистать, а он на это заметил, что ему странно, как это такие книги издают, ведь По был фашистом. Я, совершенно пораженный, возразил, что По, во-первых, умер в 1848-м или 1849 году, когда фашистской идеи вообще еще не существовало, и что его нельзя назвать фашистом еще в том смысле, что он не был ни этатистом, ни сторонником насилия и вообще такими делами не занимался. Переводчик мне на это ответил, что По все-таки был фашистом. Из чего я лишь сумел вывести, что он что-то неверно услышал на каком-то семинаре, потому как в остальном с ним можно было совершенно нормально разговаривать. Он был существом со странной, разорванной напополам душой – вообще у нас сложились исключительно хорошие отношения, я с удовольствием с ним беседовал, ему тоже явно было приятно мое общество, но он, мягко говоря, довольно успешно разделял призвание и личную жизнь, потому как настроил обо мне такой длиннющий отчет (его потом переслали в венгерский Союз писателей), как я узнал через маму Янчи Киша, что ни по каким обменам по линии Союза писателей я больше ездить не мог. Что я вообще стал невыездным, выяснилось сразу, но Иван Фельдеак – начальник иностранного отдела – не сказал тогда почему. Он оказался в очень неудобном положении. Ева должна была ехать в Болгарию – это было в 1974-м, даже 1975-м, – и я тоже попросил тогда, чтобы меня выпустили туда, но Иван Фельдеак сказал: мол, классно, что я хочу в Болгарию, а то болгары и так уже обижены, потому что никто не хочет в Болгарию ехать, и периодически жалуются, почему венгерские коллеги-литераторы к ним не приезжают, будет круто, что я поеду. Я на другой день принес загранпаспорт, пришел к нему, а он принял меня, дико извиняясь: мол, извини, что зря напряг, а то ему из МИДа сообщили, что мне, к сожалению, ехать нельзя. Я спросил, почему нельзя, на что он мне испуганно сказал, чтоб я не спрашивал, потому как он сказать не может. Хорошо, говорю, принял к сведению – и поехал как турист. Возвращаясь к переводчику, он, парень этот, скорее всего иначе поступить и не мог. Задним числом я не так уж и осуждаю его поведение.

Он, кстати, довольно долго потом слал мне поздравительные открытки по самым разным поводам, например, на 4 апреля¹⁵ – думал, это для меня праздник, – на 7 ноября и на Новый год, да еще и с довольно длинным текстом. Интересно, что он всегда писал мне по-русски, зная, что я русского не знаю. Может, агенту КГБ запрещено по-английски переписываться. Задним числом я понял, почему он так себя вел, ведь я не только ему выдавал свои обвинительные речи насчет 1968 года, а очень много раз – точнее, при каждом удобном случае, по большей части в те моменты, когда он тоже был рядом. Так что он скорее всего не мог про это не написать, иначе донесли бы на него. Ему просто оставалось подробно описать, что я говорил, а уж я за словом в карман не лез. К тому же я весьма подробно делился своими впечатлениями от Советского Союза – насколько позволяла обязательная для гостя вежливость.

По-настоящему важной была в Ленинграде встреча с Бродским. Еще был очень неприятный поход в Эрмитаж – самая неудобная для осмотра картинная галерея. Стены попросту увешаны картинами, как обоями. Висит в зале, скажем, Тициан, но так, что картины практически перекрывают друг друга. Все это ради того, чтобы показать, сколько всего есть, а в каталоге еще можно прочесть, что в подвале еще в шесть раз больше, только попросту не помещается. Приходится менять экспонаты. Поразительно, какие там есть вещи. В конце экскурсии я в каком-то боковом коридорчике обнаружил маленького Брейгеля¹⁶: ворон на грязно-сером снегу – видно, его посчитали не таким значимым. Я там полчаса сидел и смотрел на эту картину – потрясающая. Хоть какая-то интимность, в конце концов. Мало я видел зданий отвратительней Эрмитажа. Внутри практически все из малахита. Можно отравиться малахитом. Там даже в обуви ходить нельзя – тебе дают специальные тапочки, чтобы паркет не поцарапать. И все из малахита – стол из малахита, стул из малахита...

М.П.: А малахит только зеленый?

Д.П.: В основном зеленый, со всевозможными прожилками – частично разные оттенки зеленого, но есть в нем и голубые, и розовые прожилки, – в общем, стулья, столы, все из малахита,

15 С 1950-го по 1989 год 4 апреля отмечалось как национальный праздник – день окончательного освобождения Венгрии Красной армией в 1945 году, установленный в качестве праздника вместо 15 апреля, дня начала революции 1848–1849 годов (революция и борьба за независимость, в подавлении которой активное участие принимали войска царской России, не очень вписывались в новый советский календарь). У Дёрдя Петри есть несколько стихотворений, посвященных в том числе и 15 апреля, так что поздравлять его с советским праздником было действительно странно.

16 Вряд ли речь идет о картине кого-то из Брейгелей – в Эрмитаже хранится несколько работ Питера Брейгеля-младшего, но ни одна из них не похожа на то, что описывает Петри.



и всякие малахитовые шары, на знаю, была какая-то малахитомания, наверное. По-моему, построил это все не Петр I, а Екатерина – в общем, ужасное было ощущение, плюс ко всему прямо перед Эрмитажем был выставлен портрет Ленина из толстого шпона высотой с само здание музея. Представь: выходишь на площадь, а там этот знаменитый Ленин в кепке набекрень с вытянутой вперед рукой высотой шестнадцать метров – не абы что. А потом еще и малахит. Знаю, что потом, когда вернулся в Москву, не пошел в Третьяковку, такой шок пережил в Эрмитаже, что не хотел на картины смотреть. Что до экскурсии по городу, то там мне показались важными такие дурацкие вещи, типа когда мы выехали на место дуэли Пушкина с Дантесом, и там все выглядит примерно так же, как тогда. Памятное место в своем роде, и из надписи на какой-то табличке можно точно узнать, где стоял Пушкин, а где – его противник. Я там постоял какое-то время, потому что очень люблю Пушкина. Что по-настоящему было интересно, так это знакомство с японской девушкой по имени [...], она потом и отвела меня к Бродскому. Девушка эта была невестой парня по имени Габор Риттер, потом он на ней женился, у них двое детей. Последний раз я виделся с ними в Америке. У нас были довольно специфические отношения. Мне она очень нравилась. Ее нельзя было отнести к числу по-настоящему красивых японских женщин: слегка коренастая, угловатый такой японский тип, миниатюрная, но в более близкие отношения я с ней вступить не пытался, ведь я понятия не имею, какой у японцев этический кодекс, я не знал, будет это грубым оскорблением, а то и вопиющим преступлением, или наоборот. Девушка была невероятно милая, много раз приглашала меня к себе домой, готовила для меня. Она как-то почувствовала, что мне одиноко, и поэтому каждый день приходила ко мне в гостиницу, сидела у меня до полуночи, до двух часов ночи, и мы разговаривали, а она с невозможной ловкостью складывала для меня бумажных птичек из всего, что попадалось под руку – из серебристой бумаги от сигаретных пачек, из салфеток, из чего угодно. Она это делала машинально, в процессе разговора, не опуская глаз, как женщины, когда вяжут. У нее получались красивые птички, я еще потом долго несколько штук хранил. Бродский был ее другом. Я уже говорил, что он жил в коммуналке, книги стояли штабелями в коробках, эти импровизированные стены не доставали до потолка, но обрзовывали что-то вроде проходов, а внутри была совершенно нищенская, простейшая мебель: столик, пара кресел – там мы и пили чай. У него тогда за спиной уже было несколько лагерей и ссылок с принудительными работами за хулиганство и тунеядство, а на самом деле – за свои стихи на религиозные и политические темы. Но он был поэтом умеренно политическим, не

таким резким, как, скажем, я. Он писал стихи типа, как выглядит еврейское кладбище в Ленинграде¹⁷. Я это стихотворение даже перевел с английского, много позже оно было опубликовано в журнале «Máshonnan Beszélő»¹⁸. Еще в одном своем стихотворении он фактически утверждает, что в одной из красивейших православных церквей Ленинграда устроили швейный цех¹⁹. Это я видел. Снаружи церковь оставили, как есть, на уровне первого этажа пробилы окна, и внутри стучат швейные машинки. Можно было как следует все рассмотреть внутри. А сверху – купол-луковка. И это еще не самая безбожная идея, потому что в одном из самых величественных православных соборов разместили музей атеизма²⁰. Не знаю, там ли он еще, сам я там не был, только знаю, что, услышав о существовании музея атеизма, долго размышлял, что в таком музее экспонируют. Ведь у религии есть реликвии, священные книги, а атеизм по своей природе ничем подобным не располагает. Максимум, что я мог себе представить, – это пустой храм, где посредине написано, что бога нет.

Бродский, кстати, тогда жил очень бедно, его уже не преследовали, он мог писать нейтральные стихи, переводить; писал он и детские стихи. Исключительно приятный, негромкий человек. У меня от общения с ним осталось одно очень мучительное воспоминание, которое обрело потом особый смысл – отчасти, в плане моего отношения к Лукачу, отчасти... В общем, эта встреча некоторым образом стала отложенным импульсом к тому, что я впоследствии стал активным оппозиционером. Я привез с собой три экземпляра статей Лукача о Солженицыне на немецком: один – Бродскому, а остальные, чтобы он раздал друзьям. Бродский мне сказал: мол, спасибо большое, передаст друзьям, но все три экземпляра. Знает, что Лукач – выдающийся философ, наверняка и статьи отличные, но, увы, не слышал, чтобы Дьёрдь Лукач выступил против вторжения в Чехословакию. Я ему ответил, что Лукач написал письмо чуть ли не на семидесяти страницах – то ли Кадару, то ли в ЦК. На это Бродский ответил, что его это не интересует, ведь это личное дело Лукача и Кадара или Кадара и партии. Но, если бы Лукач выступил, – это бы так или иначе дошло до советской общественности и

17 «Еврейское кладбище около Ленинграда» (1958).

18 «Máshonnan Beszélő» – букв. «Говорящий из другого места», самиздатский журнал, выходивший в 1981–1988 годах. Журнал активно печатал переводы русских авторов – прозу, поэзию, аналитику, в частности, тексты Варлама Шаламова, Татьяны Заславской и многих других.

19 Здесь скорее всего произошло наложение: Петри вполне мог увидеть швейную мастерскую, которая со второй половины 1930-х располагалась в церкви во имя Казанской иконы Божьей матери подворья Валаамского монастыря, и она соединилась у него с «греческой церковью», из стихотворения Бродского «Останова в пустыне» (то есть церковь святого великомученика Дмитрия Солунского).

20 Речь о Казанском соборе, где с 1932-го по 2000 год располагался Государственный музей истории религии и атеизма.



тогда было бы значимо. А то, что Кадар или Лукач воспринимают это как внутривнутрипартийное дело – так для него это вообще никаким смыслом не обладает, и поэтому он не будет читать эту книгу. Все это Бродский проговорил очень неагрессивно, но крайне решительно, и я тогда был по-настоящему потрясен, причем изрядно, ведь мне казалось, что Лукач был не согласен и сообщил это партии. Это был нравственно угнетающий опыт: я осознал собственную глупость, мне пришлось выслушать от по сути склонного к религии и вызывающе аполитичного поэта абсолютно очевидный политический аргумент о том, что должен был сделать Лукач в 1968-м. Довольно странно, что именно этот человек сыграл весьма важную роль в моем политическом развитии, ведь вся школа Лукача постоянно восхваляла практическую философию и критическую теорию, а тут я понимаю, что практика, в конечном счете, означает, что человек что-то делает, а Лукач ничего не делает, потому что все его действия свелись к подписанию резолюции в Корчуле²¹.

Таллинн и Тбилиси были интересны уже потому, что у меня была возможность посмотреть две небольшие республики и два совершенно разных по атмосфере города. Больше всего поразило, что это чужеродные тела. Видно это было по тому, что люди между собой там не говорят по-русски, по большей части знают русский довольно плохо. И в Таллинне, и в Тбилиси я столкнулся с присутствием немалого числа людей, которые владели русским примерно на том же уровне, что и я, то есть на уровне приличного ученика гимназии с преподаванием русского языка. Я даже столкнулся с тем, что люди в массе своей начинали вести себя довольно недружелюбно, когда я пытался обращаться к ним на русском, когда же я заговаривал на английском, очень редко встречались те, кто меня понимал, но большинство очень по-доброму сообщали, что, увы, не понимают по-английски. В Таллинне ничего особо интересного не произошло. Очень красивый, грустный город. Улицы вымощены красным базальтом, и все время идет дождь, после которого постоянно выглядывает солнце, и базальт сверкает – но солнце светит странным рассеянным светом, и выглядит это очень загадочно. В Таллинне я пережил приятный с гастрономической точки зрения, но в остальном крайне отталкивающий опыт. Это был самый яркий пример существования нового правящего класса – в точности такого, каким его описал Милован Джилас²², и этот класс откровенно и беззащитно купается в благах.

21 На конференции, которая проходила в югославском городе Корчула в 1968 году, пять венгерских философов, в том числе и Лукач, поставили свои подписи под резолюцией, осуждавшей действия стран Варшавского договора.

22 Милован Джилас (1911–1995) – югославский политический деятель, один из авторов концепции «нового класса» – партийной номенклатуры.

В Таллинне есть ресторан под названием «Глория». Не знаю, почему «Глория», ведь это религиозное слово. В этом ресторане я присутствовал на рабочем обеде с участием партсекретаря Союза писателей и профсоюзным уполномоченным. Говорить с ними, к счастью, мне не пришлось, поскольку они отдавались исключительно поглощению пищи и выпивке. Станным в том ресторане было то, что это было довольно большое заведение, обустроенное с невероятным шиком. Место было современное, но, не знаю, такое, будто его и снаружи и изнутри спроектировал Корбюзье или Гропиус. Из посетителей были только мы, и я спросил тогда своего переводчика, как это в таком прекрасном ресторане никого, кроме нас, нет, на что тот ответил: мол, это не для широкой публики заведение, и его держат для членов партии и почетных гостей из-за рубежа. Система подачи немножко похожа на шведский стол, русские это называют закусками, только их не сразу все выкладывают, а приносят одну за другой маленькими порциями. Что там было – пером не описать. Икра черная, икра красная, лосось, раки-крабы, мясные деликатесы разные, салаты, рыба нарезанная, сладости. В хрустальных графинчиках – водка, в графинах побольше (тоже хрустальных) – вода со льдом, кроме этого, иностранное пиво нескольких марок, серьезные вина. За спиной все время стоял официант и, как только у меня заканчивалась выпивка, нагибался и из бутылки, обернутой в салфетку, доливал водки в стоявший на столе графин, менял воду каждый раз, когда лед успевал растаять, а другой официант постоянно подносил кушанья. Этот официант был там только для того, чтобы обслуживать меня. Остальные накладывали и наливали себе сами, он обслуживал только меня, то есть ради меня наняли отдельного официанта. Я чувствовал себя эдаким боярином. И ощущал себя в этом качестве отвратительно – при том, что местами мне это доставляло дикое наслаждение, я бы этими морскими гребешками всякими всю жизнь мог бы питаться, но ситуация в целом была до ужаса тягостной. Повезло еще, что эти два приятеля не напрягали себя разговорами, так что я в процессе беседовал с переводчиком, а они беззастенчиво предавались радостям бесплатной жрачки. В общем, несмотря на весь гедонизм происходящего, было жутко неудобно.

В Таллинне я, естественно, тоже жил в безумно дорогой гостинице – в номере у меня на одной стене было зеркало во всю стену, такая целиком зеркальная стена. Там мы тоже без конца пили, так как другой программы у меня не было. В городе мы провели три дня и в страшных количествах пили специфический ликер типа палинки, называется «Таллинн», «Старый Таллинн», очень вкусный. Там тоже была проверка: переводчик сказал, что мы должны встретиться с одним его другом.



Этот друг пришел, мы перекинулись парой слов, я предложил выпить вместе, на это друг сообщил, что куда-то торопится и сейчас не может, в другой раз. Было совершенно ясно, что моего сопровождающего тоже «ведут». Все это было крайне утомительно, ведь после встречи мы самолетом отправились обратно в Москву. Там через весь город проехали на машине в другой аэропорт и полетели в Тбилиси – фантастический город. Мы туда в зимних пальто, шарфах и шапках, а в Тбилиси – 22 градуса и волшебная осень. Город очень живой, правда, спать было совершенно невозможно, потому как перед гостиницей... – гостиница была по-настоящему шикарная, если с Будапештом сравнивать, то примерно как если бы мы жили на улице Лайоша Кошута²³.

В Тбилиси мне повезло – по какой-то таинственной причине переводчика моего поселили в другую гостиницу по соседству, так что я наслаждался относительной свободой, но вот только на площади перед гостиницей всю ночь упражнялись в шагистике советские солдаты. Да так, что земля содрогалась. Из-за этого вышел у меня один-единственный за всю поездку серьезный конфликт: около полуночи я захотел выйти из гостиницы, поняв, что спать невозможно, думал, пройдуся, поделаю что-нибудь. Вечер был чудесный, можно было в одной рубашке гулять, и меня изначально возмутило, что гостиница закрыта. Не знаю, почему меня так возмутило, что она закрыта, ведь все гостиницы на ночь закрывают, но, естественно, тебя выпустят и ничего не скажут – а тут мне портье говорит, чтобы я не выходил, потому что это опасно. Я вышел из себя и естественным образом посчитал это чистым издевательством – мол, они хотят меня на ночь запереть – и принялся орать. Портье вряд ли мог что-то понять из моих криков: я требовал на смеси русского и английского, чтобы он открыл мне дверь, сдабривая свою речь смачными венгерскими ругательствами. Но после пары минут моих выступлений дверь все-таки открыли, и было очень классно, я обнаружил всякие забегаловки, позабредал в разные стремные места. Потом уже от Риммы, жены Дёрдя Далоша²⁴, я узнал, что портье не от балды мне тогда все говорил, не выгородить себя хотел, а Тбилиси, действительно, один из самых опасных городов в мире, и каждую ночь там несколько человек становятся жертвами преступников – им перерезают горло. В общем, портье боялся, чтобы не дай бог иностранца не прирезали. Кроме того, он явно знал, что я какой-то особый гость. Я же, нисколько не подозревая

23 Улица в самом центре Пешта, перед мостом Эржибет.

24 Дёрдь Далош (р. 1943) – венгерский писатель, журналист, историк, автор книг о русских писателях («Гость из будущего» – об Ахматовой и Берлине, «Путешествие на Сахалин по следам Антона Чехова») и государственных деятелях, а также статей и книг о венгерской и европейской истории.

о грозившей мне опасности, по сути погрузился в тайны грузинского преступного мира, поскольку обнаружил совершенно подозрительные заведения, но меня там ни одна собака не тронула. Больше скажу, где-то меня пригласили выпить, даже посадили к себе за стол. У грузин есть странное блюдо – похоже на шарик творожный со сливовым вареньем, но внутри мясо, – и есть такая масляно-уксусная смесь, куда они нарезают зелень, какую, я так и не смог понять, и этой заправкой все поливают, она очень вкусная, а едят это все следующим манером – даже в первостатейных заведениях: ставят большое общее блюдо, на нем куча этих шариков, и едят их руками, макая в соус. Грузинский криминальный мир встретил меня с братским участием – возможно, свою роль сыграло и то, что я сообщил им, что я венгр. Оказалось, что и в Эстонии, и в Грузии знают, кто такие венгры, что там был 1956 год, и поэтому очень нам сочувствуют – я и от грузин, и от эстонцев слышал, что Венгрия – большая и независимая страна, так что мы для них в какой-то степени старшие братья.

В Тбилиси состоялся второй акт таллиннской «Глории», еще одним уровнем выше, поскольку в тот момент как раз проходили эстонско-грузинские дни культуры, и в город прибыла делегация эстонских писателей. Среди прочих там был писатель по имени Леннарт Мери²⁵, с ним я был знаком, познакомился в Таллинне – он был единственным человеческим существом, с кем мне довелось встретиться в Таллинне. У него вышла пара текстов и на венгерском. Мы там встретились, а меня присобачили к эстонско-грузинской культурной встрече, чтобы вышло еще помеждународнее. Встреча состоялась в каком-то охотничьем домике, высоко в горах Кавказа. Даже сам полет туда уже был потрясающий, самое удивительное мое воздушное путешествие: самолет лавировал между покрытыми снегом горными вершинами, и постоянно было чувство, что мы вот-вот врежемся в очередную гору – и это было потрясающе здорово. Когда же мы направились в охотничий домик довольно большой колонной – «Чайки», «ЗИСы», «Волги», – спустя какое-то время выяснилось, что дороги как таковой просто нет. То, по чему мы ехали, больше всего напоминало каменистое русло горного ручья, а по бокам текли настоящие горные реки. Тогда-то я и понял, почему у советских автомобилей такая высокая подвеска. Наши машины радостно накручивали километры по горным рекам – нас даже особенно не трясло. Мы проехали через несколько грузинских деревень. Грузины, как правило, чудовищно богаты: они выращивают цветы и фрукты и обычно продают их торговцам прямо в аэропорту и следу-

25 Впоследствии, после восстановления независимости Эстонии, Леннарт Мери (1929–2006), эстонский писатель и режиссер, стал министром иностранных дел, а потом и вторым президентом страны.



ющим же самолетом летят обратно. В те годы билеты на самолеты в Советском Союзе были до смешного дешевые. Есть, конечно, и нищета – те деревни были ужасно бедные. Дома выглядели, примерно как у нас цыганские поселения в комитате Сабольч, а вдоль дороги стояли совсем исхудавшие маленькие дети в обносках и, разинув рты, дивились на чудо – как господа едут на механических телегах. Деревни эти были – не описать. Грузины – довольно красивый народ, очень печально было видеть всех этих красивых маленьких детей, девочек в таких лохмотьях, босиком, как они любят проезжающими машинами.

Мы приехали в охотничий домик, где стояли два бесконечно длинных стола и скамьи, покрытые медвежьими, кажется, шкурами, чтобы сидеть было удобно. И тут начался настоящий феодальный пир. Феодальный характер происходящему придавало еще и то, что там были юноша и девушка, которые негромко и красиво пели для господ, чтобы во время поглощения еды и выпивки тем было какое-то развлечение. Это было какое-то безумие. Сначала шли тосты. Я раньше думал, это только русское безумие, но, похоже, это такое имперское помешательство – череда тостов, где каждый должен произнести речь. Происходит это следующим образом: в бычьем роге объемом примерно в три четверти литра налито вино, к рогу приделана серебряная цепочка, и рог этот обычно выпивают в один присест, по-другому особенно и никак – ведь его только на весу можно держать, иначе вино выльется. К счастью, выяснилось – передо мной произнести тост успели многие, – что надо выпивать до дна, вот я и выпивал – показать, что венгры тоже не лыком шиты. Только дико мучился, что сказать в качестве тоста. Ритуал состоит в том, чтобы, выпив рог, передать его кому-то, кто возьмет, наполнит его до краев вином, встанет и тоже произнесет тост. Я знал: рано или поздно очередь дойдет и до меня. Но мне повезло: за одного персонажа до меня мой переводчик вышел из-за стола. Почему – не знаю, может проблеваться решил, хрен знает, в любом случае, настроение совершенно переменялось, и тот, кто должен был потом передать рог мне, завел речь о том, что собирается выпить это вино за ту Венгрию, что сохранила национальное своеобразие, отнесенную независимость, свой язык, культуру – в общем, произнес жестко националистический тост и перебрросил рог мне. Так дилемма и разрешилась: я произнес столь же пламенную националистическую речь – по-моему, поняли ее не многие, ведь я был вынужден говорить по-английски. Правда, потом выяснилось, что достаточно многие меня поняли – если быть более точным, я ругал русских, по большей части тост из этого и состоял, я не хотел портить людям праздника и потому

не сказал, что мы не такие уж независимые, не надо преувеличивать, но атмосфера от этого стала просто чудовая. После тоста я стоял, растерянный, с пустым рогом в руках, пока кто-то не показал, куда его следует дальше кинуть. Ну, я и кинул, насколько был в состоянии прицелиться – я ж к тому моменту уже успел выпить литра полтора вина; я вино не люблю и поэтому переношу его хуже, чем крепкие напитки. Но в отношении выпивки это оказалось лишь надводной частью айсберга. Разогрев. После в качестве аперитива подали какую-то страшно крепкую водку, по-моему, ее потом продавали под видом водки в Венгрии – в 65 градусов. Задумана она была как аперитив, но участники застолья употребляли ее отнюдь не в тех количествах, в каких пьют аперитив, а хлестали ее долго и много. Потом началась большая жратва. Это было тяжелое испытание – баранина, говядина, выпечка, салаты. Я чувствовал, что надо съесть всего хотя бы по чуть-чуть – это как на деревенской свадьбе, где обязательно надо все попробовать, иначе хозяева обидятся и начнут относиться к тебе немного свысока, считать, будто ты желудком слабоват. Так что я, подобно древним римлянам, ел все, что подавали, и периодически выходил поплевать, потом полоскал рот и шел дальше есть и пить.

Когда все закончилось, нам подали крепкий чай, зеленый какой-то, я от него удивительным образом впал в очень странное состояние – протрезвел, пришел в крайнее оживление, все мои чувства обострились. А потом началась дегустация грузинских коньяков. Оказалось, существует много разных грузинских коньяков, и все надо попробовать. Мы все как следует распробовали. Тут я допустил ошибку, за которую меня чуть не линчевали, но потом простили. Я удумал заявить, что армянский коньяк тоже неплох, на этих словах все дернулись – мол, как так?.. Я сразу сказал: мол, пардон, в Венгрии же грузинский коньяк не продают, только армянский, а по сравнению с венгерским армянский коньяк хороший, потому что венгерский – плохой и так далее, но грузинский, конечно, на порядок лучше, вообще не сравнивать. Я не знал, что грузины ненавидят армян и наоборот. Мог бы, конечно, догадаться, это же естественно, ведь румыны тоже ненавидят венгров, а венгры – румын, и словаки с венграми ненавидят друг друга. Маленьким угнетенным народам это свойственно – ненавидеть друг друга. Переводчик меня почему-то бросил, он тоже изрядно набрался и начал с кем-то там разговаривать, на тот момент компания разошлась по полной. До такой степени, что юноша-певец подошел ко мне. Он немного говорил по-английски, но тоже уже как следует напился, это было понятно по его словам: он спросил меня, как бы можно было устроить, чтобы он приехал в Венгрию и попросил там политического убежища.



Я с трудом объяснил ему, что это невозможно, единственный вариант – попробовать приехать в Венгрию с туристической группой, найти себе венгерскую девушку – парень был красавец – и жениться на ней, тогда можно будет переехать в Венгрию. Если получится. Однако степень его опьянения показывал уже тот факт, что Венгрия вдруг представилась ему настолько свободной и независимой страной, что мы якобы могли бы предоставить убежище гражданину СССР. После всего этого мы расселись по машинам, но на всякий случай нам рассовали по карманам еще по литру–другому коньяка. Тут в машинах начали петь. Мы ехали с открытыми окнами, и прекрасные грузинские напевы разносились в кавказской ночи.

В тот раз мне довелось дойти до такой степени патологического опьянения, что мы еще поднялись потом в номер к Леннарту Мери, где продолжили выпивать с моим переводчиком и женой Леннарта²⁶. Она была женщина редкой красоты, исключительно привлекательная, хоть и росту в ней было 190 сантиметров, и в какой-то момент алкогольного угара у меня сложилось твердое убеждение, будто Леннарт не муж этой женщины, будто он ее похитил, а мне надо ее спасти и утешить. К нашему приходу она уже собралась отдыхать и лежала в кровати в ночной рубашке, а мы пили за столом, и я решил, что лучше всего будет снять ботинки и забраться к ней в постель, где я моментально заснул. На следующее утро я обнаружил, что Леннарт с переводчиком перетащили меня в мой номер, положили в кровать и укрыли одеялом, а переводчик рассказал, что произошло ночью. Мне тогда было дико неловко – переводчик стал торопить: мол, идем скорее, Леннарт с женой уже ждут на завтрак. Я в ответ просил его прекратить нести чушь, ведь после такого... На что переводчик сообщил, что нет ничего естественнее, что мы все такие: как выпьем, что угодно может случиться. И действительно, Леннарт с женой были со мной чрезвычайно милы, мы даже вспоминали потом эту историю как нечто забавное. Грузины пьют, как черти, а северные люди – еще жестче. В общем, они сочли это вовсе не чем-то неприличным, а естественным дополнением к состоянию здорового алкогольного угара, способного стать хорошим анекдотом. Это мне понравилось, кстати, ведь я в ту ночь был и правда не в себе. И тут я вдруг вспомнил, о чем думал ночью, и рассказал, какая иде фикс заставила меня сделать то, что я сделал. Над этим все тоже много смеялись, и все закончилось хорошо.

После всех этих приключений мы вернулись в Москву, где я уже категорически не желал участвовать ни в каких программах, сказал, что хочу только бродить по городу. Погода была

26 С 1953-го по 1982 год женой Леннарта Мери была Регина Мери, врач по образованию, впоследствии она эмигрировала в Канаду.

плохая, и я два–три дня провел, обходя Москву пешком на социологический манер и наблюдая за тем, как люди одеты. Угнетающее впечатление произвели чистильщики обуви. Их огромное количество, что до определенной степени логично в Москве – ведь там постоянная грязь, жижа, снег, но мне больше понравилось бы, если бы не люди сидели на каждом углу, а автоматы стояли, а то чистильщиками там работали в основном пожилые старички и старушки. Они сидят в своих будочках, вокруг – кремы для обуви и щетки, а еще табуреточка, на которую человек ставит ногу, и они начинают чистить. Я один раз попробовал – не то чтобы меня интересовало, блестят у меня ботинки или нет, и это ужасное чувство, когда такая восьмидесятилетняя бабулька сторбилась и принялась начищать мне ботинки. Очень было тяжело. Я не раз смотрел, как военные взгромождают на табуреточку свои сапоги – по Москве шатаются жутко много военных, и эта каста действительно словно бы унаследовала от царских офицеров и аристократов отвратительную манеру, когда они, точно выскочки, небрежно ставят ногу, закуривают и смотрят в сторону, а когда один сапог почищен, ставят другой и потом швыряют деньги. В общем, все это абсолютно высокомерно и отвратительно. Я впал во все бóльшую депрессию. Дурная погода, постоянная слякоть – Москва и правда была просто вонючей и грязной. Последней соломинкой стало то, что я хотел позвонить Ализ²⁷, и почему-то у меня не получилось. Я начал грязно ругаться по-венгерски, и тут вдруг раздался женский голос, и какая-то дама по-венгерски сказала, что Будапешт на проводе, но линия просто не работает, и извинилась. Я еще два раза попробовал дозвониться, но поговорить не получилось, меня охватило какое-то беспросветное отчаяние, и я решил, что из этой страны надо незамедлительно уехать. На 27 день я решил: с меня хватит, и сообщил переводчику, что поговорил с женой – тот явно знал, что я не говорил с женой, – и что мне необходимо завтра же обязательно улететь домой, и пусть он это устроит как-нибудь, по-любому. Позже я из-за этого испытал угрызения совести, ведь я узнал потом, что довольно часто поезд или самолет бывает переполнен, а когда какой-то важный человек или зарубежный товарищ изъявляет желание ехать, начинают действовать привилегии, и кого-то попросту ссаживают с самолета, и человек вынужден лететь в другой день. Я это много позже узнал, и меня дико мучила совесть.

ДЁРДЬ ПЕТРИ

«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
И УЖАСНАЯ ПОЕЗДКА»...

М.П.: А самолет был полон?

27 Ализ Мошони (р. 1944) – венгерская писательница, журналист, на тот момент жена Дёрдя Петри. На русском языке была опубликована ее книга «Сказки из Будапешта» (2006).



ДЁРДЬ ПЕТРИ
«ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
И УЖАСНАЯ ПОЕЗДКА»...

Д.П.: Да. Может, как раз одно место только и было. Переводчик сказал, что устроить это будет сложно, я же просил все равно меня отправить даже в таком случае, потому что мне надо срочно.

М.П.: Если бы не получилось, что было бы, что ты чувствовал?

Д.П.: Не знаю... что иначе у меня будет нервный срыв. А ведь я отнюдь не истероид, да и надо-то было дотерпеть три дня всего. Но я чувствовал, что с меня хватит.

Перевод с венгерского, введение и комментарии Оксаны Якименко

ТАТЬЯНА
ВОРОЖЕЙКИНА



«Да здравствует свобода, черт подери!»

«¡Viva la libertad, carajo!» – так в ночь на 20 ноября 2023 года закончил свое первое выступление в качестве избранного президента Аргентины Хавьер Милей. Вопреки всем ожиданиям, надеждам, тревогам, опросам общественного мнения его победа оказалась сокрушительной: во втором туре голосования 19 ноября он получил 55,7% (14,5 миллиона) голосов против 44,3% (11,5 миллиона) у его соперника Серхио Массы. Милей выиграл в 20 из 23 провинций Аргентины и в столице страны, городе Буэнос-Айресе¹. Массе же с трудом удалось удержать одноименную столичную провинцию, главный оплот перонизма, где живут 37% аргентинских избирателей; он получил там 50,7% го-

1 Город Буэнос-Айрес имеет автономный статус и является, согласно Конституции, самостоятельным федеральным субъектом.



ПРЕВРАТНОСТИ
МЕТОДА

лосов против 49,3% у Милея. Кроме того, Милей одержал убедительную символическую победу (58% против 42%) в южной провинции Санта-Крус, вотчине двух президентов, которые определили политическое и экономическое развитие страны в XXI веке, – Нестора Киршнера (2003–2007) и его жены, а с 2010 года вдовы, Кристины Фернандес де Киршнер (2007–2015).

Результат этих выборов имеет без преувеличения исторический характер и означает тяжелое поражение, если не фактический разгром, главной политической силы Аргентины XX–XXI веков – Хустисиалистской партии (Partido Justicialista)². Большинство избирателей проголосовали прежде всего против экономических результатов перераспределительной модели, которая лежала в основе политического курса киршнеризма – левоцентристской тенденции, господствовавшей в перонизме в последние двадцать лет. 142,7% годовой инфляции, 40,1% населения за чертой бедности, 9,3% недоедающих³ – таков итог экономической политики последнего перонистского правительства президента Альберто Фернандеса (2019–2023), реальным лидером которого оставалась Кристина Фернандес, занимавшая пост вице-президента⁴.

В последние два года деятельность этого правительства была практически парализована из-за внутреннего конфликта между президентом и вице-президентом, которые не встречались и не

разговаривали друг с другом. С середины 2022 года лицом кабинета министров и политиком, на которого все больше ложилась ответственность за положение в стране, был Серхио Масса, занимавший пост министра экономики. Его поражение в качестве кандидата в президенты от правящей коалиции «Единство во имя родины» («Unidad por la Patria»), с одной стороны, закономерно – гораздо более удивительной кажется его победа в первом туре, когда, будучи ответственным за глубочайший социально-экономический кризис, он смог набрать 36,7% голосов против 30%, полученных Милеем. В то же время за Массой стоял административный и политический аппарат перонистской партии: клиентелистской машины, которой не смогли разрушить ни запреты военных на политическую деятельность, вводившиеся в 1955–1973 годах, ни политические и экономические провалы в годы демократии, к которой Аргентина вернулась в 1983-м. Кроме того, верность перонизму со стороны тех, кто исторически составлял его социальную базу и выступал главным бенефициаром социальной политики последних перонистских правительств – нижних средних слоев, трудящихся, бедных, – казалась столь непоколебимой, что отрыв Милея на 11,4 процентных пункта во втором туре оказался совершенно неожиданным и для побежденных и для победителей⁵.

Человек, который нанес такое унижающее поражение перонизму, пришел

2 Партия была создана в 1947 году президентом Хуаном Доминго Пероном и до 1971-го называлась Перонистской партией (Partido Peronista). Наличие в современном ее названии слова «*justicia*» (исп. «справедливость») отсылает к центральному идеологическому постулату и программной цели – социальной справедливости.

3 *La pobreza alcanzó el 40,1% durante el primer semestre del 2023 y la indigencia el 9,3%* // El Cronista. 2023. 28 de septiembre (www.cronista.com/economia-politica/indice-de-pobreza-e-indigencia-en-argentina-el-indec-difunde-datos-del-primer-semestre-2023/).

4 Альберто Фернандес не родственник, а однофамилец Кристины Фернандес де Киршнер.

5 За сорок лет демократии в Аргентине второй тур президентских выборов проводился лишь во второй раз. Впервые это произошло в 2015 году, когда кандидат перонистов Даниэль Сиоли проиграл лидеру правой коалиции «За перемены!» («Cambíemos») Маурисио Макри, занимавшему пост президента в 2015–2019 го-

из ниоткуда. Еще несколько лет назад Хавьер Милей был мало кому известен: он работал экономистом и консультантом в различных кампаниях, а с 2016 года подвизался в качестве экономического комментатора в телевизионных программах. Милей называл себя либертарианцем и анархо-капиталистом, он выступал против любого вмешательства государства в экономику, считая, что свободный рынок способен решить все экономические и социальные проблемы страны. Ультралиберальные взгляды сочетались у него с крайне экстравагантным поведением и внешним видом, а также агрессивным стилем выступлений.

Звездный час Милея наступил в период пандемии, когда его инвективы превратили его в публичную фигуру. Главным объектом уничижительных нападок Милея стала так называемая «каста» (*la casta*), к которой он относит не только весь политический и управленческий класс, но и предпринимательские, профсоюзные, медийные корпорации, «грабящие», как он выражается, экономику и население Аргентины. Грубость и несдержанность вкупе с оскорблениями, раздаваемыми направо и налево, стали фирменным стилем Милея. Тщательно культивируемая ярость, гневливость и необузданность привлекли на его сторону тех, кто все больше разочаровывался в политике. В июле 2021 года Милей регистрирует собственную партию «Свобода наступает» («*La Libertad Avanza*») и в ноябре того же года на промежуточных выборах вместе с тремя единомышленниками попадает в Национальный конгресс.

В результате в политическом пространстве Аргентины появился персонаж, уже хорошо знакомый по другим странам: праворадикальный популист, опирающийся на антисистемный дискурс и использующий усталость людей от экономических невзгод и их разочарование в политике для того, чтобы направить общественное озлобление против всего политического истеблишмента. После прихода к власти Дональда Трампа в США в 2017-м и особенно Жаира Болсонару в Бразилии в 2019-м многие полагали, что перонизм с его уникальной приспособляемостью и умением кооптировать политиков любого направления не позволит воспроизвести тот же феномен в Аргентине. Но этого не случилось. Милей с шумом ворвался на политическую арену и объявил о своих президентских амбициях уже в апреле 2022 года, когда две главных политических силы – правящее перонистское «Единство во имя родины» и оппозиционный правый блок «Вместе за перемены» («*Juntos por el Cambio*») – еще и близко не определились относительно своих кандидатов.

Милей провел избирательную кампанию в предельно агрессивном ключе. Первоначально его не воспринимали слишком серьезно, считая политическим маргиналом, каковым он по сути и являлся. Первый большой митинг, который он попытался созвать в июне 2022 года, обернулся провалом. На него пришли немногим более тысячи человек, что «вызывало насмешки в адрес экономиста-либертарианца, который угрожал возглавить национальную революцию против “политической касты”, выступая на пустом стадионе»⁶. Нака-

дах. Сиоли тогда набрал 48,7% голосов против 51,3% у Макри. Судя по опросам общественного мнения, итоговые цифры второго тура в 2023 году должны были оказаться такими же или даже более близкими.

6 CRIALES J.P. *Ultra, libertario y “anarco-capitalista”, así es Javier Milei, el grito de la Argentina enojada* // El País. 2023. 14 de agosto (<https://elpais.com/argentina/2023-08-13/javier-milei-el-grito-de-la-argentina-con-bronca.html>).



нуне праймериз 13 августа 2023 года, которые в Аргентине носят характер отборочного тура перед всеобщими выборами⁷, опросы не давали Милею больше 20% голосов и ставили его на третье место после Патрисии Бульрич, кандидата коалиции «Вместе за перемены», и Серхио Массы⁸. Но Милей выигрывает предварительное голосование, получив 30% голосов, и с этого момента становится центральной фигурой президентской кампании, равной которой по перипетиям и значимости, пожалуй, еще не было за сорок лет аргентинской демократии.

Главным фактором, подчиняющим себе политическую повестку и полностью переворачивающим представления о допустимом, стала сама личность Милея.

«В стране, где экономика представляет собой глубокую драму, бывает, что самым успешным шутком оказывается сумасшедший экономист»⁹.

Милей обещает «прогнать всех политиков пинком под зад» и выступает перед сторонниками, вооружившись бензопилой, посредством которой он собирается уничтожить «касту». Его идеи причудливы. Чтобы покончить с инфляцией, необходимо сжечь Центральный банк Аргентины. Огнестрельное оружие и человеческие органы должны продаваться на свободном рынке, как любой другой товар. Своим главным и единст-

венным советником он считает свою младшую сестру Карину, которую называет «Jefe» (шеф); ее, а также пятерку своих английских мастифов (один из них умер в 2017 году, а нынешние являются его клонами) он благодарит на последнем митинге накануне предварительного голосования. Всех, кто с ним не согласен, Милей поносит последними словами, в особенности ненавистных ему перонистов, да и вообще всех левых, которых он называет «zurdos de mierda»¹⁰.

«Театральный и растрепанный, но в то же время очень тщательно следящий за своим имиджем, ультраправый кандидат навязал свою антисистемную ярость политическим дебатам. Его гнев отражал фрустрацию общества, по горло сытого политикой»¹¹.

В отличие от крупного предпринимателя Трампа или многолетнего депутата парламента Болсонару, Милей – настоящий аутсайдер, за два года превратившийся из телевизионного шоумена в президенты страны. В противоположность Милею как Трампу, так и Болсонару в предвыборный период выступали с этатистских, а не либеральных позиций в отношении экономики. Милей же не только убежденный ультралиберальный экономист, для него либерализм (либертарианство) сродни религиозному фанатизму: он полагает, что миссию превратить Аргентину в либеральную страну на него возложил

7 Официальное название процедуры – «предварительные, открытые, одновременные и обязательные выборы» (Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias – PASO). Их назначение в том, чтобы определить наиболее перспективных кандидатов внутри избирательных коалиций и отсеять те политические объединения, кандидаты которых не преодолеют барьера в 1,5% голосов.

8 *Encuestas de las elecciones 2023 en Argentina: últimos números* // La Nación. 2023. 4 de agosto (www.lanacion.com.ar/politica/encuestas-de-las-elecciones-2023-en-argentina-los-ultimos-numeros-nid04082023/).

9 ОЛОТХАРАС Р. *Javier Milei, caballo de Troya del peronismo* // El País. 2023. 8 de octubre (<https://elpais.com/opinion/2023-10-08/javier-milei-caballo-de-troya-del-peronismo.html>).

10 *Zurdo* по-испански «левша». Эта уничижительная кличка левых появилась в годы военной диктатуры 1976–1983 годов, а ее использование в наши дни по-прежнему служит политико-идеологическим маркером.

11 CRIALES J.P. *Op. cit.*

сам Господь¹², и стремится к тотальной реформе общества на основе законов рынка:

«[Милей] рыночный фундаменталист, который считает, что человеческие отношения должны регулироваться законами купли-продажи: если есть покупатель и есть продавец, то торговому обмену подлежит все – человеческие органы, дети, огнестрельное оружие»¹³.

Он предлагает интегральную реформу, призванную превратить Аргентину в процветающую страну. Для этого необходимо свести к минимуму «патерналистское государство» – главный источник всех аргентинских бед. Милей намерен сократить количество министерств с нынешних восемнадцати до восьми. Особое раздражение у него вызывают министерства образования, здравоохранения и культуры: по его мнению, эти сферы должны быть полностью денационализированы. «Все, что может находиться в частном секторе, будет передано в его руки», – объявил Милей в своей речи после победы на выборах. Он намеревается приватизировать всю государственную собственность – заводы и фабрики, банки, средства массовой информации, всего 137 предприятий, включая компанию «Государственные нефтяные месторождения» («Yacimientos Petrolíferos Fiscales» – YFP), которая уже была приватизирована в 1999 году перонистским правительством Карлоса Менема, а за-

тем вновь национализирована в 2012-м правительством Кристины Фернандес.

Милей предупредил, что прекратит все государственные проекты по благоустройству, включая и те, которые уже осуществляются. Будут постепенно закрыты все программы социальной помощи нуждающимся и урезаны пенсионные фонды. Гвоздем экономической программы Милея является долларизация экономики: отказ от национальной валюты и ликвидация Центрального банка. Милей обещает «жесткую корректировку бюджета» и через три месяца – отказ от множественного валютного курса. Переходный период должен занять около двух лет¹⁴.

В этой программе общество как таковое отсутствует, поскольку все его проблемы могут и должны решаться через рыночные отношения в экономике. «There's no such thing as society» – так в свое время сформулировала эту позицию Маргарет Тэтчер, которую наряду с Рональдом Рейганом Милей считает одним из великих лидеров XX века. Естественно, для Милея неприемлема сама идея социальной справедливости, которая служит – наряду с национализмом – важнейшей несущей конструкцией перонистской идеологии.

В социальном плане его позиции являются не просто консервативными, но во многих отношениях откровенно реакционными. Он решительный противник равенства женщин, гендерного

12 SIVAK M. *Milei entre la Torá, Israel y los ruidos con la comunidad judía argentina* // El País. 2023. 16 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-16/milei-entre-la-tora-israel-y-los-ruidos-con-la-comunidad-judia-argentina.html>).

13 CAPARRÓS M. *La Argentina, otro país* // El País. 2023. 20 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-20/la-argentina-otro-pais.html>).

14 LAMBERTUCCI C. *Las propuestas de Milei para Argentina: dolarizar la economía, prohibir el aborto, desmantelar el Estado social...* // El País. 2022. 20 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-19/las-propuestas-de-javier-milei-para-argentina-economia-seguridad-educacion-y-salud.html>); RIVAS MOLINA F. *Milei abrirá su presidencia con una oleada de privatizaciones* // El País. 2023. 21 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-21/milei-abrira-su-presidencia-con-una-oleada-de-privatizaciones.html>).



образования и права на добровольное прерывание беременности, закон о котором принят аргентинским конгрессом в конце 2020 года. «Я открыто выступаю против абортов, поскольку они нарушают право на жизнь», – заявил Милей и пообещал провести плебисцит с тем, чтобы отменить соответствующий законодательный акт, если так решат граждане¹⁵. Столь же негативно его отношение к правам сексуальных меньшинств; он уничижительно высказывался о законе о равном браке, принятом в Аргентине в 2010 году¹⁶.

Милей отрицает, что глобальное изменение климата является результатом человеческих действий, и в этом он вполне последователен: любое общее благо ультраправые воспринимают как ресурс, который можно эксплуатировать, и потому попытки сохранить экосистему экономически нелепы. В предвыборной платформе партии «Свобода наступает» содержится требование приватизировать водные ресурсы, включая океанские. По мнению избранного вице-президента Аргентины Виктории Вильярруэль, политика защиты окружающей среды – это «часть повестки культурного марксизма», которая должна быть полностью отвергнута¹⁷.

Приход Милея означает полное отрицание той демократической повестки, которая в последние двадцать–тридцать лет утверждалась в аргентинском обществе. Ее важнейшая составная часть – память о военной диктатуре 1976–1983 годов, когда были убиты, замучены, бесследно исчезли более 30 тысяч аргентинцев. Разоблачение преступлений диктатуры, наказание, которое понесли не только руководители военных хунт, но и многие непосредственные исполнители похищений, пыток, бессудных казней, совершенных в годы «грязной войны» против собственного народа, стали одной из основ демократического консенсуса, сформулированного в принципе «Никогда больше!» (*¡Nunca más!*)¹⁸. Этот консенсус сохранялся до последнего времени, несмотря на все перипетии и проблемы демократического развития, на экономические провалы и социальные взрывы, которыми изобилует аргентинская история последних десятилетий. Аргентинская демократия, по выражению историка и социолога Хуана Карлоса Торре, есть «демократия по умолчанию [*by default*], она сохраняется не благодаря энтузиазму, который вызывает, а из-за страха, который порождается памятью об альтернативе»¹⁹.

15 DÍAZ P. *¿Podrá ilegalizar el aborto Javier Milei tras ganar las elecciones de Argentina?* // El Confidencial. 2023. 20 de noviembre (www.elconfidencial.com/mundo/2023-11-20/ilegalizar-aborto-javier-milei-elecciones-argentina_3777401/).

16 Избранный депутат и возможный кандидат Милея на пост министра иностранных дел Диана Мондино так сформулировала свое отношение к проблеме гомосексуальных браков: «Как либерал я принимаю жизненный проект каждого человека. Но эта проблема шире, чем [право на] равный брак. Слегка преувеличив, могу сказать: если кто-то предпочитает не мыться и ходить завшивевшим, то это его выбор, но он не должен жаловаться на тех, кому не нравятся вшивые» (SANTORO S., CARBAJAL M. *Una referente de Milei comparó el matrimonio igualitario con tener piojos* // Pagina 12. 2023. 4 de noviembre (www.pagina12.com.ar/613044-una-referente-de-milei-comparo-el-matrimonio-igualitario-con)).

17 DI RISIO A. *¿Qué significaría para el ambientalismo un triunfo de Javier Milei?* // eDiarioAR. 2023. 18 de noviembre (www.eldiarioar.com/opinion/significaria-ambientalismo-triunfo-javier-milei_129_10696631.html).

18 Расследование преступлений военных и органов безопасности и наказание преступников в Аргентине в последние два десятилетия было несравненно более последовательным и всеохватывающим, чем в Чили и Бразилии.

19 SENTENERA M. *Juan Carlos Torre: «Argentina elige entre un trapeceista y un ilusionista»* // El País. 2023. 16 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-16/juan-carlos-torre-argentina-elige-entre-un-trapeceista-un-ilusionista.html>).

Милей поставил под сомнение не только количество жертв диктатуры, но и сам ее характер: в ходе президентских дебатов он сказал, что в 1970-е шла «война с террористическими организациями», в ходе которой допускались определенные «эксцессы», но не было никакого систематического уничтожения противников военного режима. Это практически точное повторение слов одного из главных военных преступников, адмирала Эмилио Масерры, произнесенных им в 1985 году, во время первого процесса над членами военных хунт²⁰.

Главную роль в отрицании преступлений диктатуры играет Виктория Вильяруэль – избранный вице-президент Аргентины. Дочь и внучка военных, она создала Центр юридических исследований терроризма и его жертв (*Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas*) и уже много лет требует прекращения судов и освобождения военных, осужденных за преступления против человечности. Ее организация добивалась расследования преступлений, совершенных в 1970-е членами леворадикальных военно-политических организаций «Монтонерос» («*Montoneros*») и «Революционной армии народа» («*Ejército Revolucionario del Pueblo*» – ERP), заявляя, что число их жертв превышает число «эксцессов», совершенных военными. Отрицание государственного терроризма и союз с Вильяруэль позволили Милею привлечь на свою сторону наиболее консервативную, реваншистскую часть аргентинского общества,

позиция которой в последние двадцать лет оставалась маргинальной²¹.

Все это – права человека, отношение к диктатуре и ее жертвам, права женщин и меньшинств; чудовищный стиль полемики, изобиловавший публичными унижениями и оскорблениями противников и журналистов, задававших «неправильные» вопросы, – оказалось неважным для 14,5 миллиона аргентинских избирателей (41% общего числа зарегистрированных), они сочли возможным пренебречь этим или, напротив, увидели в этом надежду на радикальные изменения, на свет в конце туннеля. Далеко не все из них были собственными избирателями Милея, рассерженными жертвами инфляции и экономического кризиса. В первом туре голосования, состоявшемся 22 октября, Милей не увеличил – по сравнению с праймериз – свою долю голосов (30%) и занял второе место, получив дополнительно лишь 780 тысяч избирателей. Напротив, вышедший на первое место Масса завоевал 36,7% – 9,6 миллиона голосов, прибавив 3,2 миллиона к полученным на предварительном голосовании. Это позволило противникам Милея, который перед вторым туром лидировал в опросах общественного мнения, перевести дух. «Это не экономика, дурачок!» – к этому парфразу девиза Билла Клинтона на американских выборах 1992 года («*It's the economy, stupid*») сводились комментарии многих аргентинских аналитиков, пытавшихся объяснить, почему министр рушащейся экономики и инфляции выиграл первый тур выборов²².

20 RIVAS MOLINA F. *El negacionismo de la dictadura que propone Milei no cala en los cuarteles argentinos* // El País. 16 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-16/el-negacionismo-de-la-dictadura-que-propone-milei-no-cala-en-los-cuarteles-argentinos.html>).

21 CENTENERA M. *Victoria Villarruel, el ariete de Milei que reivindica la dictadura y se opone al aborto y las bodas gay* // El País. 2023. 18 de septiembre (<https://elpais.com/argentina/2023-09-18/victoria-villarruel-la-cruzada-de-javier-milei-en-la-batalla-cultural-de-la-derecha-en-argentina.html>).

22 PIÑEIRO C. *No es la economía, estúpido* // El País. 2023. 15 de noviembre (<https://elpais.com/opinion/2023-11-15/no-es-la-economia-estupido.html>).



Ключ к победе Милея во втором туре оказался в руках руководителей правой коалиции «Вместе за перемены» – выдвинутого ею кандидата в президенты Патрисии Бульрич и бывшего президента Аргентины Маурисио Макри (2015–2019). Эта антиперонистская коалиция была создана в 2015 году²³ и включала праволиберальную партию «Республиканское предложение» («Propuesta Republicana» – PRO), старейшую политическую партию Аргентины Гражданский радикальный союз (Unión Cívica Radical – UCR) и социал-либеральную Гражданскую коалицию (Coalición Cívica).

Еще в начале 2023 года в стране сложилась почти всеобщая уверенность в том, что «Вместе за перемены» выигрывают президентские выборы. Однако Бульрич оказалась лишь на третьем месте (24% или 6,3 миллиона голосов) и не прошла во второй тур. Тогда стало очевидно, что результат президентских выборов будет зависеть от того, как распределятся полученные ею голоса. Реальный лидер этой коалиции, Маурисио Макри, который и раньше делал авансы Милею, подрывая позиции собственного кандидата, после первого тура пошел ва-банк. На следующую ночь после объявления результатов в доме у Макри прошла его встреча с Милеем и Бульрич, завершившаяся пресс-конференцией, на которой было объявлено, что Макри и Бульрич окажут Милею безусловную поддержку во втором туре.

Заявление вызвало политический скандал. Оно было сделано без предварительной консультации с союзниками

по коалиции и привело к ее распаду: Гражданский радикальный союз, Гражданская коалиция и умеренные политики из «Республиканского предложения» были очевидно шокированы и заявили, что ни при каких условиях не станут поддерживать ультраправого кандидата. Форма, в которой было объявлено о новом альянсе, оказалась абсолютно циничной и пренебрежительной по отношению не только к бывшим союзникам, но и к избирателям, и свидетельствовала о деградации политического класса.

Патрисия Бульрич, которую Милей перед первым туром обвинял в том, что она в своей радикальной перонистской юности бросала бомбы в детские сады, заявила, что полностью помирилась с Милеем во имя общей борьбы. «Когда Родина в опасности, все позволено», – сказала она²⁴. «Каста боится!» («¡La casta tiene miedo!») – таков был главный лозунг кампании Милея. Но оказалось, что, нет, не боится, поскольку именно «каста» в лице Макри и Бульрич в итоге и привела Милея к победе. Дополнительные 6,7 миллиона голосов, завоеванные им во втором туре, практически полностью вобрали голоса, полученные Бульрич в первом. Все надежды на то, что раскол коалиции «Вместе за перемены», а также призывы голосовать против Милея – за Массу или же пустыми бюллетенями – расколют и правый электорат, оказались тщетными²⁵. Правоконсервативная, праволиберальная, антиперонистская (антикиршнеристская) часть аргентинского общества согласилась на «прыжок

23 Тогда она называлась «За перемены!» («Cambiamos»).

24 RIVAS MOLINA F. *La derrotada Bullrich pide el voto para el ultra Milei: «Cuando la patria está en peligro, todo está permitido»* // El País. 2023. 25 de octubre (<https://elpais.com/argentina/2023-10-25/la-derrotada-bullrich-pide-el-voto-para-el-ultra-milei-cuando-la-patria-esta-en-peligro-todo-esta-permitido.html>).

25 Число пустых бюллетеней – «voto blanco», что соответствует опции «против всех», – во втором туре оказалось даже меньшим, чем в первом, и составило всего 1,5% (418 тысяч).

в неизвестность». Милей также сделал все возможное, чтобы завоевать эту часть голосов: отказался от бензопилы, продажи органов, отмены бесплатного здравоохранения и образования и большинства своих наиболее экзотических идей, кроме самых дорогих его сердцу – долларизации и ликвидации Центрального банка. «Лев», как он сам себя называет, на время перестал рычать.

Кто же все-таки проголосовал за Милея 19 ноября 2023 года?

«Я мог бы долго говорить и писать о тех безднах, в которые нас влечет господин Милей, и об опасностях его правительства, но единственное, что меня интересует, – это вопросы к миллионам, которые его поддерживают. Что с ними случилось? Что с нами случилось? Мы всегда были такими, мы сейчас такие или же мы не такие? Чего мы хотим? И прежде всего: что, черт возьми, может с нами случиться, если мы действительно такие, какими кажемся?»

Эти вопросы, которые задает аргентинский писатель и журналист Мартин Капаррос²⁶, аналогичны тем, которые ставились бразильскими демократами, интеллектуалами, профессорами и журналистами после победы Болсонару²⁷. Иначе говоря, всеми теми, кто как в Бразилии, так и в Аргентине, пребывал в либерально-демократическом или лево-демократическом «пузыре», для кого знакомство с подлинной страной обернулось шоком.

Размах народного ликования в ночь победы Милея, вполне сопоставимого с празднованием победы аргентинской сборной на футбольном чемпио-

нате мира в 2022 году, не позволяет объяснить успех Милея только тем, что это было по преимуществу голосование «против» – против киршнеризма, против коррупции, против бедности и инфляции. Милей, несомненно, понял лучше других (за)предельную усталость аргентинского общества от постоянных экономических кризисов и отсутствия какой-либо жизненной перспективы для миллионов человек:

«Для тех, кто надрывается на работе, но не может в конце месяца свести концы с концами; для тех, кто с наступлением темноты запирается дома, потому что боится выйти на улицу; для тех, кто уходит от любых налогов, потому что не знает, на что они пойдут»²⁸.

За Милея массово проголосовали те, кто в течение десятилетий составлял основную базу перонизма: нижние средние слои, бедные, городские трудящиеся, которые никогда раньше не поддерживали правых. Милей получил большинство во внутренних районах страны, включая самые депрессивные; он набрал больше 45% в 22 из 24 провинций и 50% и выше в 20 из 24. В Кордобе, второй по населенности провинции Аргентины, Милей обогнал своего соперника на 48(!) процентных пунктов, набрав 74% против 26%. Еще в шести провинциях разрыв превысил 20 пунктов.

Согласно опросам, в электорате Милея преобладают мужчины – 51% против 46% поддерживающих его женщины. Милей доминирует среди молодежи: в возрастной группе от 16 до 24 лет его поддерживают 69%, а в группе от 25 до

26 CAPARRÓS M. *La Argentina que no* // El País. 2023. 4 de octubre (<https://elpais.com/argentina/2023-10-04/la-argentina-que-no.html>).

27 См.: ВОРОЖЕЙКИНА Т. *Закат бразильской «Новой республики»* // Неприкосновенный запас. 2022. № 5(145). С. 218.

28 CENTENERA M. *Javier Milei, una mezcla de predicador mesiánico y estrella de rock* // El País. 2023. 18 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-18/milei-una-mezcla-de-predicador-mesianico-y-estrella-del-rock-para-argentina.html>).



34 лет – 54%²⁹. Именно эти группы составляют социальную базу право-популистского поворота во всех странах Латинской Америки и за ее пределами: бунтарство и протест, которые на протяжении XX века были принадлежностью левой политической культуры, в последнее десятилетие обрели правые коннотации³⁰.

За этим поворотом стоят очень сложные и не до конца еще понятные изменения общественных настроений. Представления о том, что государство способно разрешать противоречия, свойственные западному капитализму, теряют сторонников везде, в Аргентине в особенности. Социологические исследования показывают, что большинство населения уже не верит в экономические возможности государства: ни перераспределение, ни новые налоги, ни их более прогрессивный характер, ни централизованный контроль любого типа уже не воспринимаются многими гражданами в качестве эффективных инструментов.

В ситуации, когда перонизм больше не рассматривается как способ восстановления порядка, а его риторике о социальных правах противостоит дикий либерализм, предлагающий однозначные решения, и когда традиционная оппозиция в лице «Вместе за перемены» уже не вызывает энтузиазма, выбор в пользу либертарианской ультраправой позиции опирается не только на раздражение и ненависть³¹. Иначе говоря, появление Милей с его упрощенной и целостной ультралиберальной поведью совпало с серьезной эрозией

традиционных социально-политических альтернатив – перонистского популизма в первую очередь.

Но, даже если принять во внимание этот глубинный социокультурный сдвиг, остается неясным и даже загадочным, как Милей со своей социал-дарвинистской программой смог получить массовую поддержку тех, кто первым пострадает от реализации его программы. Ведь в Аргентине это далеко не новая попытка провести неолиберальную стабилизацию и приватизацию экономики. За предыдущие пятьдесят лет подобное предпринималось уже трижды, и все эти усилия обернулись шумными провалами. В период диктатуры, во второй половине 1970-х, неолиберальная реформа министра экономики Мартинеса де Оса привела к кризису и гиперинфляции, которые наряду с проигранной в 1982-м войной за Мальвинские (Фолклендские) острова обусловили крушение военного режима.

В конце 1990-х, в период правления Карлоса Менема, результатом неолиберальной политики стал катастрофический по своим социальным последствиям экономический крах 2001–2002 годов. Последняя из таких попыток была предпринята относительно недавно президентом Маурисио Макри и тоже крайне неудачно: уровень инфляции в 2019 году вырос вдвое по сравнению с последним годом президентства Кристины Фернандес, с 24% до 53,5%. Во всех этих случаях ценой неолиберальной стабилизации и приватизации было резкое ухудшение социальной ситуации: взрывной рост бедности, безработицы, неравенства.

29 ANDRINO B., HIDALGO PÉREZ M. *Mapa. ¿Quién ha votado a Milei? Así son sus apoyos por edad, género o territorio* // El País. 2023. 21 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-21/mapa-quien-ha-votado-a-milei-asi-son-sus-apoyos-por-edad-genero-o-territorio.html>).

30 STEFANONI P. *¿La rebeldía, se volvió de derecha?* Buenos-Aires: Siglo XXI, 2021.

31 VANOLI H. *Valores progresistas, voto libertario. Apuntes para pensar una contradicción aparente* // Sentimientos Públicos. 2023. Mayo (<https://sentimientospublicos.com.ar/valores-progresistas-votantes-libertarios-apuntes-sobre-una-contradiccion-aparente/>).

Трудно поверить, что память об этом не сохранилась в аргентинском обществе, даже принимая во внимание удельный вес молодежи среди сторонников Милей. И тем не менее больше половины аргентинских избирателей пошли за ним, как дети из средневековой легенды о гамельнском крысолове.

Это тем более удивительно, что Милей и в ходе избирательной кампании, и особенно после победы неоднократно предупреждал, что его реформы будут жесткими и непопулярными и что в случае уличных протестов будут применяться репрессии. Он, очевидно, предвидит, что осуществление его проекта потребует силового обеспечения: в его предвыборную программу было включено предложение об использовании армии для выполнения полицейских функций, а вице-президент Вильяруэль считает необходимым увеличить финансирование вооруженных сил в три раза – и это при всех разговорах о «минимальном» государстве и необходимости сократить государственные расходы.

Милей заявил, что готов противостоять тем, кто будет сопротивляться изменениям ради сохранения своих привилегий. И речь в данном случае идет не о пресловутой «касте», а о тех государственных служащих и рабочих, занятых в государственном секторе, которые потеряют работу в результате неминуемых сокращений. Милей преисполнен решимости сохранять порядок на улицах; нарушения будут преследоваться по закону: «Все в рамках закона, ничего – помимо закона» («Dentro de la

ley todo, fuera de la ley nada»)³². Похоже, Милей хорошо усвоил печальное известное правило 1970-х: экономический либерализм в Латинской Америке может быть успешным только в том случае, если его политически подкрепляют авторитаризм и репрессии.

Милей убежден, что его миссия – изменить Аргентину навеки, «навсегда покончить с инфляцией, преступностью и привилегиями политиков»³³. И, главное, покончить с перонизмом. Между тем в Аргентине, к счастью или к несчастью, ничего не бывает «навсегда», и перонизм уже несколько раз хоронили на протяжении последних 45 лет. Перонистская партия (коалиция «Единство во имя родины») сохраняет блокирующий пакет в Сенате (46% голосов) и в Палате депутатов (42% голосов) Национального конгресса. Никакие реформы невозможны, в особенности самые одиозные типа долларизации и уничтожения Центрального банка, если будут соблюдаться демократические процедуры и если перонистское меньшинство останется в оппозиции к Милею и его коалиции с правыми. Перонисты контролируют двенадцать губернаторских постов, а у партии «Свобода наступает» нет ни одного, что тоже резко ослабляет институциональные позиции Милей. Много будет зависеть и от того, насколько у нового президента хватит сил и самостоятельности по отношению к своему главному союзнику Маурисио Макри, который явно рассчитывает «переварить» Милей, не имеющего ни организационной структуры, ни собственной команды.

32 RIVAS MOLINA F. *Milei y Fernández inician la transición y los mercados acogen el relevo con fuertes subidas* // El País. 2023. 22 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-22/milei-y-fernandez-inician-la-transicion-y-los-mercados-acogen-el-relevo-con-fuertes-subidas.html>).

33 CENTENERA M. *Javier Milei, una mezcla de predicador mesiánico y estrella de rock* // El País. 2023. 18 de noviembre (<https://elpais.com/argentina/2023-11-18/milei-una-mezcla-de-predicador-mesianico-y-estrella-del-rock-para-argentina.html>).



На протяжении восьмидесяти лет Аргентина сталкивается с одной и той же главной проблемой: с удручающей повторяемостью циклов общественного развития, с ситуацией социального и политического пата, равновесия сил, подерживающих противостоящие проекты общественного развития. До сих пор ни одна из разнородных социальных коалиций не смогла навязать своего проекта в качестве господствующего, но имела достаточно сил, чтобы блокировать осу-

ществление проекта противной стороны. Очевидно, что в 2023 году очередной двадцатилетний цикл политического преобладания левоцентристского перонизма (киршнеризма) завершился полнейшей неудачей. Согласится ли «загипнотизированное» Милеем аргентинское общество терпеть социальные издержки ультралиберального проекта и как долго оно это выдержит? Пока ответов на эти вопросы нет, но они обязательно появятся – причем довольно скоро.

После неолиберализма: две стратегии мобилизации общественного мнения

ФЕДОР
НИКОЛАИ

*Taking Control! Humanity and America
after Trump and the Pandemic*

ANTHONY BARNETT

London: Repeater Books, 2022

Перспективы мирового развития «после неолиберализма» уже более двадцати лет активно обсуждаются в социальных и гуманитарных исследованиях самыми разными авторами, включая Алена Турена, Стюарта Холла, Марка Бевира и других¹. На этом фоне книга «Беря под контроль! Человечество и Америка после Трампа и пандемии» Энтони Барнетта – британского журналиста и политического активиста, одного из создателей журнала «New Left Review» и медиаплатформы «openDemocracy» – интересна не только как теоретический анализ волны правого популизма в США и во всем мире, но и как практическое руководство к действию. На такой практический смысл указывает



1 BEVIR M. (Ed.). *Governmentality after Neoliberalism*. New York: Routledge, 2016; CALHOUN C., DERLUGUIAN G. (Eds.). *The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism*. New York: New York University Press, 2011; HALL S., MASSEY D., RUSTIN M. (Eds.). *After Neoliberalism? The Kilburn Manifesto*. London: Lawrence & Wishart Ltd., 2015; TOURAINE A. *Beyond Neoliberalism*. New York: Polity, 2001.

Р

**НОВЫЕ
КНИГИ**

233

Федор Владимирович Николаи (р. 1976) – историк, профессор РГГУ, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС.

первая часть ее названия, которую можно рассматривать как перформативное действие в духе «захвата слова» участниками студенческих волнений 1968 года. Брать под контроль, правда, Барнетт предлагает не слово, а выборы – саму процедуру голосования в США, где благодаря бывшему президенту Дональду Трампу, отказавшемуся покинуть Белый дом и призвавшего своих сторонников в январе 2021 года к захвату Капитолия, демократия оказалась под угрозой.

Основной тезис книги кажется на первый взгляд достаточно простым: против Трампа и других правых авторитарных политиков, активно поддерживающих друг друга во всем мире, необходимо создать интернациональную леволиберальную коалицию. Без нее невозможно сохранить демократию и социальные достижения второй половины XX века. Почему популярность правых популистов продолжает расти? Неoliberalизм сегодня перестал работать. Но левые, занимаясь на протяжении долгого времени совершенно справедливой теоретической и культурной критикой неolibеральной гегемонии, так и не предложили внятного и работающего проекта будущего, тогда как правые во главе с Дональдом Трампом, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином активно строят националистические ретротопии, рекламируя свои успехи в медиапространстве.

В этом контексте Барнетт предлагает левым и либералам отложить свои разногласия – слишком велики ставки. Более того, подобно тому, как в фильме «Пираты Карибского моря» благородные и отважные Элизабет Суон (в исполнении Киры Найтли) и Уилл Тёрнер (Орландо Блум) для достижения цели вынуждены заключить временный союз с весьма сомнительными персонажами – циничным прагматиком Джеком Воробьем и другими пиратами Тортуги, – левым социалистам и демократам сегодня нужно перетянуть на свою сторону «миноритарных» сторонников Трампа, за которого, кроме 60% белых мужчин из среднего класса, голосуют 20% прекариата и разорившихся американцев, испытывающих такой же сильный ре-сентимент, как и мобилизованные республиканцами ветераны боевых действий в Афганистане и Ираке (составлявшие 20% участников захвата Капитолия). Барнетт настаивает, что им необходимо систематически показывать, насколько цинично Трамп (как Ост-Индская компания в «Пиратах») использует их в борьбе за власть и интересы консервативных элит, и почти никогда не держит своих предвыборных обещаний.

Книга Барнетта рассчитана на широкую аудиторию, которой автор напоминает причины победы Трампа на выборах 2016 года: прежде всего его успех был обеспечен справедливой критикой коррумпированности демократов – во главе

с самой Хилари Клинтон² – и отказом от серьезных реформ во внутренней и внешней политике (включая нежелание полностью уйти из Афганистана). Ностальгия по индустриальному обществу и лозунг восстановления былого величия Америки («Make America Great Again») неразрывно связаны с разочарованием в неолиберализме и поиском выхода из него³. Этот выход требует мобилизации политических сил, что принципиально отличает Трампа от неолибералов. Напомним, что накануне кризиса 2008 года глава Федеральной резервной системы США и ведущий архитектор неолиберализма Алан Гринспен отвечал на вопрос о том, за кого будет голосовать на ближайших выборах, так:

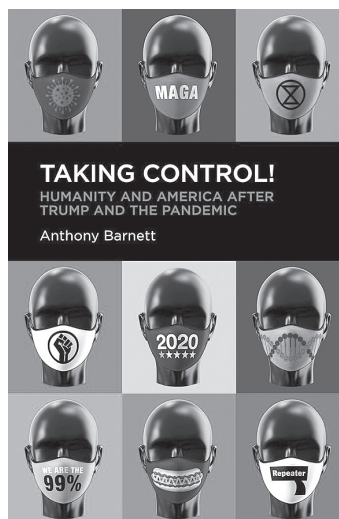
«К счастью, благодаря глобализации политические решения в США во многом подчинены рыночным силам. Если не затрагивать вопросов национальной безопасности, совершенно не имеет значения, кто будет следующим президентом. Миром управляют силы рынка» (р. 67).

Число голосующих за неолибералов сокращалось еще до начала кризиса 2008 года – прямо в соответствии с их концепцией деполитизации общественного мнения, сформированной в конце 1970-х – начале 1980-х как ответ на политическую активность 1960-х. Неолиберализм деполитизировал общество, а Трамп вместе с правыми автократами, с одной стороны, равно как и Барнетт вместе с левыми либералами, с другой, пытаются сегодня вернуть значение политической сфере, используя шмиттовское – собственно политическое – размежевание на «друга» и «врага».

К различиям авторитарной и леволиберальной стратегий мобилизации, сражающихся сегодня между собой на руинах неолиберализма, мы еще вернемся. Но прежде вслед за Барнеттом отметим, что неолиберализм так долго удерживал господство не сам по себе, не в силу своей какой-то особенной эффективности, но во многом благодаря целому ряду внешних факторов: ускоренному технологическому развитию; окончанию «холодной войны» и активной глобализации; развитию политических технологий; экспансии сферы интернет-развлечений и интернет-платформ. Население в мире выросло с 2,5 миллиарда в 1950 году до сегодняшних 8 миллиардов человек, а грамотность с 50% увеличилась до 90% отнюдь не вследствие нео-

- 2 Билл и Хилари Клинтон за свои публичные выступления в 2001–2015 годах получили 125 миллионов долларов. Только за три конфиденциальные консультации Хилари Клинтон получила от «Goldman Sachs» в 2016-м 675 тысяч долларов (р. 79).
- 3 В России аналогичную природу ностальгии как разочарования, как скрытой социальной критики современных властей убедительно показывают целый ряд исследователей. Например, см.: *Память в сети: цифровой поворот в memory studies* / Под ред. А.Ф. Павловского, А.И. Миллера. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023.

ФЕДОР НИКОЛАИ
ПОСЛЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА...



либеральной политики. Значительная часть этого населения родилась в Китае, и там же была произведена львиная доля товаров массового потребления (ВВП Китая вырос с 200 миллиардов до 14 триллионов долларов с 1980-го по 2020 год). А в Китае никакого неолиберализма вообще не было – там именно авторитарное государство показало, что может эффективно управлять экономикой (р. 72). В 2000-е неолиберализм пытался приписать эти заслуги себе, однако четыре важных фактора привели к его необратимому падению: финансовый кризис 2008 года, успехи Китая, глобальное потепление и пандемия. «Благодаря первым двум факторам Трамп стал президентом, – пишет Барнетт, – из-за двух вторых он потерял свой пост» (р. 82).

Глобальное потепление интересует Барнетта и современных левых либералов не просто как результат пагубного воздействия технологий модерна на окружающую среду и жизнь самых разных сообществ – борьба против изменений климата заняла освободившееся место утопий XX века и представляет собой едва ли не единственную оставшуюся модальность интереса к будущему. Кроме того, эта борьба создает, в конечном счете, широкое моральное сообщество, претендующее на универсальность своей позиции и действующее на уровне политических суждений в публичной сфере, а не на уровне бесконечной итерации деполитизированных аффектов, как это делает Голливуд в фильмах-катастрофах и в кинематограф развлечений вообще.

Пандемия, с точки зрения Барнетта, важна потому, что впервые в истории практически все государства мира – авторитарный Китай и леволиберальная Германия, республиканская администрация Трампа и команда Байдена – решили пожертвовать экономическим ростом ради благополучия людей, объявив локдаун и выделив колоссальные бюджетные средства на компенсации бизнесу и миллионам потерявших работу⁴. Это решение ярче всего продемонстрировало, что неолиберализм мертв. И хотя эффективность китайской и европейской моделей преодоления пандемии пока трудно сравнивать между собой строго социологически, Барнетт считает, что последняя оказалась явно более востребованной практически во всех государствах мира, включая Россию.

После неолиберализма возможны две конфигурации властных отношений и, соответственно, две модели управления населением: рост авторитарного централизованного контроля, который в условиях пандемии показал крайне слабую эффективность, и делегирование более широких полномочий местным и профессиональным сообществам, а также честное при-

⁴ За неделю локдауна 10 миллионов американцев оказались безработными, а в целом с февраля по апрель 2020 года безработица выросла с 3,5% до 14,7% (р. 107).

знание администрацией ограниченности своих возможностей. Байден победил не просто потому, что за него голосовали, голосуя, по большому счету, «против Трампа», – заслугой Байдена стала готовность сотрудничать с профессиональными сообществами и широкой низовой коалицией (включая сторонников Берни Сандерса). Формирование такой левоцентристской коалиции, случившееся явочным порядком – почти случайно, – служит, по Барнетту, основанием для осторожного оптимизма в наши нелегкие времена. Автор видит в этом контингентное присутствие будущего в настоящем – такое присутствие подобно случайно приоткрывшейся калитке: полностью распахнуть ее можно только собственным усилием. Пассивное ожидание, что она откроется сама собой, подчиняясь детерминации немумолимых законов истории, приведет к тому, что она захлопнется окончательно (при этом важно, чтобы калитка действительно немного приоткрылась – полная непредсказуемость будущего парализует политическое действие не меньше, чем тотальный детерминизм). Название книги – «Беря под контроль!» – предполагает активность именно в отношении конкретной ситуации и сложившегося баланса сил, а не фронтальный оптимизм и веру в неизбежность прогресса образца 1960-х. Такого рода понимание истории-как-контингентности отталкивается от специфической новизны ситуации, но предполагает извлечь практический смысл из ее соотнесения с предшествующей конъюнктурой⁵.

Поддержать эти крайне осторожные надежды Барнетту позволяет социологический анализ динамики американского электората – как сторонников Трампа, так и его противников. За Байдена голосуют 57% женщин (даже среди республиканцев – им не нравится мачизм Трампа); большинство недовольных расистской риторикой афро- и испано-американцев; а главное – левая молодежь, которая раньше не ходила на выборы и не испытывала симпатий к демократам⁶. Сторонники Байдена не просто смогли мобилизовать дополнительные 15 миллионов голосов (за Клинтон в 2016-м голосовали 66 миллионов человек, за Байдена в 2020-м – уже 81 миллион), речь идет именно о сознательной антиконсервативной активности снизу. Бла-

ФЕДОР НИКОЛАИ
ПОСЛЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА...

5 Подробнее о таком взгляде на историю см.: Олейников А. *Будущее в настоящем* // Неприкосновенный запас. 2022. № 2(142). С. 57–68; Он же. *Время истории* // Логос. 2021. № 4. С. 5–30.

6 Как пишет Барнетт, 67% людей в возрасте от 18 до 34 лет поддерживают социалистические идеи. 75% связывают проблемы экологии и глобального потепления с последствиями капиталистической экспансии. 71% обвиняют капитализм в расизме; 73% – в «эгоизме и жадности», которым противопоставляются характерные для социалистов «солидарность, эмпатия и сотрудничество». Важно отметить, что после 65 лет лишь 27% респондентов позитивно отзываются о социалистических идеях и 69% считают капитализм более продуктивной формой (Р. 302–303). Популярность социалистических идей среди молодежи крайне важна, поскольку это делает позиции левых более сильными на следующих президентских выборах, если молодые избиратели не разочаруются в коалиции с умеренными либералами.

годаря этой активности не очень демократичная (непрямая) американская избирательная система сработала: даже республиканцы, находясь под наблюдением активистов, считали голоса честно и не использовали административный ресурс на уровне штатов. В Аризоне Трамп проиграл 10 457 голосов; в Джорджии – 11 799; в Висконсине – 20 682. То есть судьбу выборов решил не общий перевес в 15 миллионов голосов за демократов, но 40 тысяч избирателей именно в этих штатах и скрупулезный подсчет их голосов.

За Трампа в свою очередь стабильно голосуют 60% белых мужчин из американского среднего класса. Напомним, что республиканцы на выборах 2020 года набрали на 10 миллионов голосов больше, чем в 2016-м. Кого они смогли мобилизовать среди тех, кто раньше не ходил на выборы? Многих ультраправых расистов, которые при Рейгане и неоллибералах были деполитизированы; евангелистов и противников абортов; рассчитывающих на его административный ресурс коррупционеров⁷. Но, кроме этого, около 20% сторонников Трампа принадлежат к прекариату и низшему среднему классу. Они недовольны неоллиберализмом, поэтому за их голоса нужно бороться, напоминая им, что с 2000 года доходы среднего класса упали в среднем на 8%. А доходы 1% самых богатых американцев с 1975-го по 2018 год выросли в пять раз. Трамп критикует неоллиберализм и хочет оставить его в прошлом. Но рост политической сферы важен для него лишь как средство мобилизации избирателей ради сохранения этого неравенства, которое не изменилось за годы его президентства.

Говоря о социальных интересах и политическом языке этих 20%, Барнетт готов смириться с их умеренным национализмом, трактуя последний в духе марксиста Эрика Хобсбаума как неосознанный перевод социального протеста и классовой солидарности на язык национальной общности и идентичности. Хотя в традиционном марксизме национальный вопрос жестко *противопоставлялся* интернациональной солидарности (которая должна и сегодня сохраняться между левыми), Барнетт отмечает:

«Осмысленная демократия, ограничение капитализма и работа социальных лифтов не возможны без признания наций. Последние являются неотъемлемой частью процессов эмансипации» (р. 290).

7 Например, миллиардер Шелдон Адельсон пожертвовал 218 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа. Барнетт связывает это с попыткой использовать административный ресурс республиканцев в условиях судебных преследований по обвинению в налоговых махинациях и отмывании денег (р. 51). «Десятилетия рыночного фундаментализма породили капитализм азартных игр, наркотиков, порнографии, торговли оружием и недвижимостью. 9% американских миллиардеров, совокупное состояние которых составляет 210 миллиардов долларов, либо напрямую, либо через своих близких финансировали кампанию Трампа в 2020 году» (р. 94).

С этой точки зрения, нации как «воображаемые сообщества» сохраняют свой освободительный потенциал не только в развивающихся странах, борющихся за независимость на развалинах империй (включая СССР), но и в ведущих мировых государствах. Правые политики – от Трампа до Путина и Эрдогана – используют националистический язык, равно как и критику неолиберализма, для сохранения экономических интересов старых элит. В условиях обострения современных конфликтов, считает Барнетт, леволиберальной коалиции придется сотрудничать с умеренными националистами, рассматривая язык последних как проявление «разделяемого авторитета» (*shared authority*). Напомним, что последнее понятие активно использует в своих работах Майкл Фриш, работавший с профсоюзными активистами 1960–1970-х и собиравший их воспоминания в рамках устной истории⁸.

Такое сотрудничество позволяет профсоюзным активистам более внятно сформулировать и донести свои политические идеи до более широкой аудитории; а работающих с ними историков оно превращает из оторванных от мира интеллектуалов в представителей интересов широких социальных групп. С точки зрения Барнетта (который, впрочем, не ссылается на Фриша), «разделяемый авторитет» и соответствующий рост социального статуса (*shared empowerment*) отражают стремление угнетенных найти действенный язык не просто для описания реальности, но для ее преобразования – это эффективный способ улучшить свое положение, присоединившись к ведущей социальной группе. Во время президентства Трампа такой группой чаще могли выступать правые сторонники ревизии неолиберализма. Но сегодня, в эпоху усиления леволиберальной коалиции, предложить умеренным националистам присоединиться к большинству и войти в «народную историю» могут и сторонники восстановления социального государства, признающие необходимость повышения социальной мобильности.

Однако, на наш взгляд, довольно трудно прогнозировать, насколько левым либералам получится удержать умеренный национализм от столкновений с другими «воображаемыми сообществами» в неизбежной конкуренции за социальные лифты. Как тактическая попытка отвоевать часть голосов у правых эта идея Барнетта, безусловно, продуктивна. Но лишь при условии, что временный характер этого союза будет подталкивать его участников к активизации действенных социальных лифтов.

Возможно, в США такое сотрудничество позволит активизировать социальные лифты. Но для российского читателя (как

⁸ FRISCH M. *A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History*. New York: State University of New York Press, 1990.

и для белорусского, китайского или иранского) перспективы «перевоспитания» националистов, как и призыв к контролю выборов ради победы леволиберальной коалиции, могут показаться совершенно нереалистичными. Националистический дискурс, включая «национализацию памяти», действительно, усиливается сегодня в самых разных странах мира⁹. Но любая политическая мобилизация там, где нет реально действующей многопартийности, будет работать на укрепление господствующей гегемонии правых. Более того, и деполитизация оппозиционно настроенной части общества будет использоваться автократами как сдерживающий фактор для сохранения гегемонии и придания режиму видимости «нормализации».

В этом контексте большой интерес в современной России, часто сравнивающей себя с поздним СССР и ностальгирующей по этому периоду¹⁰, могут вызывать альтернативные формы политической активности, которые рассматривает в своей работе «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак: деконструкция «авторитетного дискурса»; максимальное стремление к «внезаходимости» по отношению к сложившейся системе; конструирование «сообществ своих» и так далее¹¹. Впрочем, такого рода тактики уклонения от мобилизационного дискурса правых в условиях цинического характера современной идеологии отчасти используются гегемонией для сохранения *status quo*. Характер их воздействия на систему предсказать довольно трудно. В частности, деконструкция авторитетного дискурса (вполне серьезного в СССР) сегодня во многом проваливается, потому что сам этот дискурс постоянно себя дезавуирует и не претендует на правдивость.

Для усиления и радикализации этих тактик могут оказаться важными: 1) интерес к их специфическому эмоциональному фону, постоянно осциллирующему между тревогой и депрессией (не имеющими ничего общего с официальным ресентиментом); 2) обсуждение будущего и вообще проблемы альтернативности в истории. Либеральные исследования культуры слишком долго эксплуатировали память о Второй мировой войне и геноцидах эпохи модерна. Сегодня лозунг «никогда больше» по-прежнему вызывает этический отклик, но он говорит о будущем *через прошлое*, то есть, по сути, работает так же, как ностальгия Трампа и правых. Конкуренцию с правыми автократами имеет смысл вести именно за будущее – только

- 9 Память о Второй мировой войне за пределами Европы / Под ред. А. И. Миллера, А. В. Соловьева. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022.
- 10 VOELE O., NOORDENBOS B., ROVBE K. (Eds.). *Post-Soviet Nostalgia: Confronting the Empires Legacies*. New York; London: Routledge, 2020; Липовецкий М., Михайлова Т. *Больше, чем ностальгия (поздний социализм в сериалах 2010-х годов)* // Новое литературное обозрение. 2021. № 2. С. 127–147.
- 11 Юрчак А. *Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение*. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

это позволит попробовать переориентировать националистов с их великим прошлым на идеи солидарности и необходимость построения более справедливого социального строя.

Возвращаясь к американской ситуации, переубедить миноритарных сторонников Трампа, особенно среди молодежи, вполне реально уже сегодня. В этом смысле книга представляет собой призыв к сотрудничеству – от поколения 1968-го к миллениалам и зумерам. И «после неолиберализма» – удачная формулировка, поскольку позволяет обозначить разрыв с прошлым и двигаться дальше.

«Америка не может вернуться к эпохе неолиберализма. Спор идет о том, что придет ему на смену. И это дает шанс гуманизму в его противостоянии верховенству выгоды» (р. 7).

Энтони Барнетт совершенно прав насчет конкуренции правого авторитаризма и леволиберальной стратегии мобилизации общественного мнения, которые сегодня активно набирают силу в самых разных странах мира. Первый рассчитывает на экономику и в этом сохраняет преемственность с неолиберальным капитализмом; вторая ищет новые политические форматы и идеи, устремленные в будущее. Впрочем, скорее всего эффективность этих стратегий (как и в эпоху «холодной войны») будет ясна не в краткосрочной, но в долгосрочной перспективе. Но Барнетт прав и в том, что большинству из нас уже в ближайшее время придется сделать выбор между ними – просто ностальгировать по эпохе неолиберальной деполитизации вряд ли получится.

ФЕДОР НИКОЛАИ
ПОСЛЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА...

Куда приводят проективные мечты?¹

*Положение мертвых. Ревизионистская
история «русского космизма»*

Владислав Софронов
М.: V-A-C Press, 2022. – 382 с.



Анна Горская – филолог,
исследовательница
космизма.

Новая книга философа-марксиста Владислава Софронова «Положение мертвых» начинается и заканчивается соположением космистского проекта всеобщего воскрешения (ассоциирующегося прежде всего с идеями Николая Федорова) и той версии исторического материализма, которую Вальтер Беньямин, представил в тезисах «О понятии истории».

Беньямин строго разделяет адептов историзма и исторического материалистов. Первые заперты в «пустом времени» – внутри темпоральной формы, предустановленной прописями господствующего класса и не позволяющей ничего, кроме бесконечного прогрессивного сползания в катастрофу. Вторые открывают принципиально иное, мессианское измерение истории – измерение, обнаруживающее взаимозависимость людей прошлого и настоящего. Соответственно, в историческом материализме освобождение труда раскрывается не как закономерный итог развития производства и человеческого рода, а как революционный рывок за пределы автоматизма «истории», как акт избавления от (историографического) времени. По Беньямину, этот рывок равно актуален для революционеров всех эпох – живых и мертвых социальных мечтателей, когда-либо стремившихся за пределы государства, насилия и отчуждения. Он оказывается выходом из «гомогенного исторического континуума» в «актуальное настоящее» (*Jetztzeit*)².

Это противопоставление двух исторических оптик нужно Софронову для того, чтобы четко разграничить космизм, ассоциируемый с покорением космического пространства и замкнутый в логике рынка и государства, и космизм всеобщего воскрешения, «воскресизм» (с. 11), задуманный как выход человечества за пределы «естественного» временного порядка – выход, который в противовес пассивному ожиданию всеобщего

1 Я хотела бы выразить благодарность Денису Шалагинову, без чьих критических замечаний и товарищеской поддержки этот текст не был бы написан.

2 Беньямин В. *О понятии истории* // Новое литературное обозрение. 2000. № 46. С. 81–90.

воскрешения должен осуществиться трудом самого этого человечества (с. 62).

В свою очередь «воскресизм» необходим Софронову для того, чтобы бенъяминовской идее «ретроактивного изменения прошлого» (с. 269), с одной стороны, и разработанному Эвальдом Ильенковым проекту освобождения труда, с другой, придать еще более радикальную перспективу. Речь идет о мечте о таком нерепрессивном обществе, которое неизбежно поставит перед собой задачу «освободить прошлое [...] от того, что миллиарды личностей, прожив скудную в духовном и материальном смысле жизнь, умерли прежде желания и необходимости умереть» (с. 42).

Таким образом, автор намеревается освободить космизм от той темпоральной разметки, которая характерна для проекта космической колонизации, и найти в нем возможности для реализации общей для всех революционеров прошлого и настоящего идеи выхода за пределы «истории победителей». Именно это и называется в книге ревизией «русского космизма». Ею движет «безудержная, отчаянная, даже разнузданная мечта» (с. 43), и сам по себе этот пафос не может не вызывать чувства солидарности, ведь, по справедливому замечанию автора, сегодня, как никогда, актуальны слова Бенъямина:

«Традиция угнетенных учит нас, что переживаемое нами “чрезвычайное положение” не исключение, а правило. Нам необходимо выработать такое Понятие истории, которое этому отвечает. Тогда нам станет достаточно ясно, что наша задача – создание действительно чрезвычайного положения»³.

Однако у читателя «Положения мертвых» невольно возникает вопрос: способен ли софроновский проект проложить путь к действительно чрезвычайному положению, которое позволило бы выйти за пределы государства и утверждаемой им рациональности? Попытка прояснить причины этого сомнения и предпринята мною ниже.

СТАРЫЙ НОВЫЙ КОСМИЗМ

Нерв разбираемой работы – обнаружение сходства между космистским общечеловеческим разумом, планомерно укрощающим «слепую», смертоносную силу природы и обращающим ее в «живоносную»⁴, и мышлением как «атрибутом субстан-

³ Там же. С. 83.

⁴ Федоров Н. *Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства* // Он же. *Собрание сочинений: В 4 т.* М.: Прогресс, 1995. Т. I. С. 38.

АННА ГОРСКАЯ
КУДА ПРИВОДЯТ
ПРОЕКТИВНЫЕ МЕЧТЫ?



ции»⁵ в философии Ильенкова – мышлением, рождаемым этой субстанцией, чтобы создать в ней «небывалое, кроме ветхого» (с. 338).

Вывод автора о принципиальной, «доходящей до степени смешения» (с. 228) близости космистских идей Ильенкова основан на внимательном чтении его сборника эссе «Диалектическая логика» и статьи «Что же такое личность?». Формулируя в этих текстах свою концепцию личности и мышления, Ильенков опирается на Спинозу, Маркса и Энгельса, для которых «реально существуют не мышление и пространство сами по себе, а только тела природы, увязанные цепями взаимодействия в безмерное и безграничное целое, обладающее и тем и другим»⁶. При этом, согласно марксистской логике, человеческие голова и руки, однажды появившись, тут же начинают оказывать обратное воздействие на породившие их «превращения движения, которые от природы присущи движущейся материи», и в свою очередь превращают их в артефакт освобожденного труда⁷. Отталкиваясь от этой традиции в философском мышлении, Ильенков приходит к пониманию личности как «собственного совершенства» материальной динамики⁸. То есть, в отличие от траекторий неразумной динамики (траекторий таких тел, которые либо «ломают формы других тел, либо сами ломаются, столкнувшись с препятствием»), мыслящее существо обладает свойством универсальности и «способно совершать любое действие» – человек безопасно и гармонично «строит свое движение по форме любого другого тела»⁹. В итоге, когда мышление выступает в форме труда, сбросившего оковы отчуждения, природа становится в человеке субъектом собственных изменений, или *causa sui*¹⁰.

От такой философии всего один шаг до космистского противоборства со смертью. Этот шаг и делает Софронов, заявляя, что ильенковская «Диалектическая логика» основана на «идеях, кладущих “общее дело” в основу человеческого, и тем не менее даже за полвека никто не дал себе труд сложить два и два и понять, что Ильенков – важнейшая часть “мейнстрима” “русского космизма”» (с. 181).

Единственное, что, по мысли Софронова, препятствует бесшовной склейке двух этих проектов – это те «тупики» (с. 139) в понимании мышления, которые присущи космистам (в первую очередь Федорову) и которые теперь особенно ярко вы-

5 Ильенков Э. *Мышление как атрибут субстанции* // Он же. *Диалектическая логика. Очерки истории и теории*. М.: Политиздат, 1974. С. 21.

6 Там же. С. 24.

7 Энгельс Ф. *Диалектика природы*. М.: Государственное издательство политической литературы, 1953. С. 17.

8 Ильенков Э. *Мышление как атрибут субстанции*. С. 40.

9 Там же. С. 34.

10 Там же. С. 54.

свечиваются на фоне теории Ильенкова. Не ограничиваясь монистическим указанием на личность как элемент движущейся материи, последний разрабатывает динамическую концепцию субъективности, предстающей в качестве никогда не равного себе реляционного узла, не предшествующего «своим» действиям и взаимоотношениям. Как объясняет Ильенков:

«Личность не только существует, но и впервые рождается именно как “узелок”, завязывающийся в сети взаимных отношений, которые возникают между индивидами в процессе коллективной деятельности (труда) по поводу вещей, созданных и создаваемых трудом. [...] Личность и есть совокупность отношений человека к самому себе как к некоему “другому” – отношений “Я” к самому себе как к некоторому “Не-Я”. Поэтому “телом” ее является не отдельное тело особи вида “*homo sapiens*”, а по меньшей мере два таких тела – “Я” и “Ты”, – объединенных как бы в одно тело социально-человеческими узами, отношениями, взаимоотношениями»¹¹.

Восхищаясь ильенковской системой «трех тел» (человека, другого человека и опосредующего их взаимное становление орудия общения), Софронов называет это «общим делом, понятным гораздо более последовательно, глубоко и радикально» (с. 167).

Это прямой выпад в адрес Федорова, который, по убеждению Софронова, остается «моральным ньютоном», в чьей оптике человеческий мир – это набор обособленных «тел», которые способны на общее дело только под действием внешней, божественной, силы (с. 167). Следуя той же логике, в конце второй главы Софронов отождествляет родоначальника космизма с постоянными оппонентами Энгельса и Ильенкова – «вульгарными материалистами»¹² или «физиологическими идеалистами»¹³, погрязшими в субъект-объектном мышлении и неспособными за фантомами отдельных вещей усмотреть становящуюся природу, которая «начиная от мельчайших частиц [...] и кончая человеком находится [...] в неустанном движении и изменении»¹⁴.

Софронов полагается при этом на отрывок из IV части «Вопроса о братстве», где Федоров полемизирует с наукой своей эпохи как с выражением всей общественно-политической традиции XIX века, обусловленной вытеснением вопроса о смерти, ведь та якобы «выходит из области, доступной нашему ведению и деятельности»¹⁵. Требуя отказаться от этого безуслов-

11 Ильенков Э. *Что же такое личность?* // Он же. *Философия и культура*. М.: Политиздат, 1991. С. 393.

12 Энгельс Ф. *Указ. соч.* С. 24.

13 Ильенков Э. *Что же такое личность?* С. 391.

14 Энгельс Ф. *Указ. соч.* С. 11.

15 Федоров Н. *Вопрос о братстве...* С. 258.

ного принятия смерти, посвятив себя поиску «всех средств [ее преодоления], какие только существуют в природе», Федоров в начале этого отрывка разоблачает лицемерие позитивистов, которые, «не признавая в жизни ничего, кроме явлений, [...] преклоняются перед фактом действительности смерти»¹⁶. Затем русский мыслитель приравнивает их подход к подходу последователей Карла Фогта и Людвига Бюхнера. В этот момент он прибегает к своему излюбленному ироническому приему внезапного перехода на точку зрения своего оппонента, злейшего врага, при том, что основной посыл высказывания с ней явно контрастирует¹⁷. Он пишет:

«Гниение считается [...] таким признаком, который не допускает уже дальнейших опытов. Приходится, однако, напомнить, кому следует, что гниение не сверхъестественное явление и самое рассеяние частиц не может выступать за пределы конечного пространства; что организм – машина и что сознание относится к нему, как желчь к печени; соберите машину – и сознание возвратится к ней! Ваши же собственные слова обязывают же вас, наконец, к делу»¹⁸.

Федоровская непримиримость по отношению к смерти – и квалификация ее безусловного принятия в качестве главного изъяна современного ему общества – крайне вдохновляют Софронова. Они подпитывают его собственную критику «мощнейшего аппарата рационализации и отрицания, которым сознание защищается от идеи долга воскрешения человечеством своих мертвецов» (с. 73). Однако, приняв за чистую монету приведенное выше заявление об организме как механической сборке, Софронов, пусть и признавая Федорова «гениальным философом морали», заявляет, что тот полностью разделял «представления о том, что мозг вырабатывает мысль так же, как печень – желчь» (с. 76). Тогда как в процитированном отрывке Федоров, создавая ироническое, конфликтное напряжение, защищает противоположный «вульгарной» логике взгляд на реальность как на комплексную динамику рассеянных по вселенной частиц отцовских тел.

В базовой федоровской оппозиции пространства и мышления, отвергающей монистическую идею об их единстве как «дикую»¹⁹, мы находим вовсе не презираемый Ильенковым и Софроновым дуализм материального и духовного, а квазирели-

16 Там же.

17 См. аналогичный ход в: ФЕДОРОВ Н. *Музей, его смысл и назначение* // Он же. *Собрание сочинений...* Т. II. С. 423. Примеч. 7.

18 Он же. *Вопрос о братстве...* С. 258.

19 «Сама земля пришла в нас к сознанию своей участи, и это сознание – конечно, деятельное – есть средство спасения; явился и механик, когда механизм стал портиться. Дико сказать, что природа создала не только механизм, но и механика. Нужно сознаться, что Бог воспитывает человека собственным его опытом; Он Царь, который делает все не только лишь для человека, но через человека» (Там же. С. 255).

гиозный ужас перед реальностью становления и искупительное требование ее преодоления. С одной стороны, перед нами здесь природа, «какой она сделалась после падения»²⁰ – пребывающее в бесконечном формообразовании вещество как прах предков²¹. С другой, – принципиально противопоставленный ему божественный след в человеке, разум, помнящий об утрате отцов и призванный к регуляции и воскрешению как рукотворному спасению падшего мира.

Превращения отцовского праха, выходящие далеко за пределы земли и даже солнечной системы²², и есть у Фёдорова то вселенское поле смерти, которое нужно разглядеть за ширмой привычных микро- и макрокосмоса, и устранить. Это позволяет уточнить предпринятое Софроновым и описанное выше разделение космизма, его проективных горизонтов на космическую экспансию и «воскресизм». Ведь если прочесть в указанном смысле романтическую фразу Федорова о «нашем просторе», что «служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига»²³ – а с этой фразы и начинается «космическая программа» космизма, – то получится, что он подразумевает вовсе не банальную колонизацию других планет, а воскресительный выход за порог «нормальных» человека, земли, времени и пространства.

На это указывают также образы из статьи «Музей, его смысл и назначение»:

«Обсерватория есть [...] необходимая принадлежность всенаучного музея. [...] Обсерватория наблюдает мир, который, можно сказать, слит с памятью об умерших, о прошлом. [...] Для астрономической обсерватории нет прошедшего, как нет его и для движения солнечной системы, которое есть не прошедшее, а продолжающееся явление»²⁴.

Этот мир, слитый с памятью об умерших, это прошедшее, оказывающееся продолжающимся явлением, – федоровские формулы космоса как неизбежного круговорота праха, где соединены в одно география и история, настоящее и прошедшее. В свою очередь память об умерших здесь – вовсе не виртуальный каталог уже не существующих объектов, а прямой акт регуляции и воскрешения, то есть превращения вселенского

20 См.: «В мире все изменяется, все исчезает, и это изменение определяется не волею создающего и чувствующего существа, а слепую силою (такую она сделалась после падения)» (Там же. С. 294).

21 Там же. С. 290. Это не значит, что для Федорова не существует остальной, органической и неорганической, природы, пребывающей в вечном возникновении и исчезновении. Просто она не находится в ракурсе его воскресительного внимания. Все прочие стихии, миры и биологические царства, будучи урегулированными, становятся тут «органами» воскрешенного «общества полноорганических существ» (Там же. С. 302–303).

22 Там же. С. 291.

23 Там же. С. 254.

24 Он же. *Музей, его смысл и назначение*. С. 374, 375.

праха в собор воскресенных лиц. Базовой богочеловеческой технологией для этого и служит музей как создание «памяти об отцах и обо всем, что связано с ними и с прошедшим»²⁵.

В работе «Овладение временем как основная задача организации труда» (1924) Валериан Муравьев, адепт Федорова из Советской России, говорит о времени как о том, что сводится к «меняющимся отношениям вещей»²⁶. Речь идет не о «множестве абсолютно отделенных вещей», а о реальности бесконечных превращений движения, где «каждая вещь все время творит все вещи и вместе с тем творима ими»²⁷. Как и в философии Ильенкова, личность здесь, будучи продуктом материальной динамики, осознает свою отделенность от нее и в перспективе способна создать «из собственного существа, как из разумно усвоенной причины»²⁸, новое, бессмертное, бытие.

Как отмечает Софронов, «у Муравьева [...] федоровские интуиции выражены на более чем современном языке и с более чем убедительной интеллектуальной и прогностической мощностью» (с. 159). Тем не менее и у него находится «вульгарный» след, не позволяющий Софронову прямо отождествить этот проект с ильенковским монистическим материализмом. Речь идет о муравьевской формуле: «единственная сущность вещей и их изменений есть число»²⁹. Она напоминает автору «Положения мертвых» современное представление о сознании как материальном теле, которое «однажды мы опишем во всех подробностях и, значит, выразим в цифровой форме – как последовательность нулей и единиц» (с. 144); представление, на новом витке заменяющее сложность нередукционистского, или «конкретного», материализма³⁰ его мнимым аналогом, в котором на месте процессов – данности.

Здесь надо отметить, что Анри Бергсон, труды которого Муравьев прекрасно знал, в работе «Непосредственные данные сознания» писал о числе как о «совокупности единиц, или, выражаясь точнее, как синтезе единого и множественного»³¹. Рискнем предположить, что и муравьевское отождествление сущности и числа – вовсе не «симплифицирующая, редукционистская теория сознания-числа» (с. 139), а квинтэссенция ключевой для второй главы «Овладения временем» темы «решения старого вопроса о синтезе единства и множественности»³²

25 Там же.

26 Муравьев В. *Овладение временем как основная задача организации труда* // Он же. *Сочинения: В 2 кн.* М.: ИМЛИ РАН, 2011. Кн. 2. С. 32.

27 Там же. С. 38.

28 Там же. С. 51.

29 Там же. С. 35.

30 Ильенков Э. *Что же такое личность?* С. 390.

31 Бергсон А. *Непосредственные данные сознания. Время и свобода воли* // Он же. *Собрание сочинений.* СПб.: Издание М.И. Семенова, 1914. Т. 2. С. 56.

32 Муравьев В. *Указ. соч.* С. 35.

через идею вещи как эпизода изменения. Возможно, вопреки мнению Софронова между муравьевским и ильенковским проектами нет существенной разницы.

АННА ГОРСКАЯ
КУДА ПРИВОДЯТ
ПРОЕКТИВНЫЕ МЕЧТЫ?

НОВЫЙ СТАРЫЙ КОСМИЗМ

Итак, понимание личности у Федорова, с одной стороны, и у Муравьева и Ильенкова, с другой, действительно отличается – пусть и не так, как это представляется автору «Положения мертвых». Религиозная оптика не позволяет первому признать разум «эффектом процессов самоорганизации материи»³³. Впрочем, это различие отступает для Софронова перед установленной им общностью задач всех трех мыслителей, главная из которых – положить конец этой спонтанной самоорганизации. Отсюда и софроновская, итожащая его ревизию, утопия разума как носителя «новой естественности», разума, который «привносит в постоянное извержение доразумной природы *остановку* (приостановку) и повторение (всего ценного)» (с. 241).

Следует отметить, что Софронов и правда предпринимает остроумное сопоставление: федоровский богочеловек – целостный и определенный – во многом схож с ильенковской личностью как «узлом» в сети отношений, учитывая, что такая личность обусловлена той же «аллергией на время», которая, по выражению Майкла Мардера, вбивает клин между двумя аспектами становления – ростом и распадом³⁴. В данном контексте любопытно, что в ранней статье «Космология духа» Ильенков предлагает несколько иное понимание мышления. Представленная там трактовка мысли как «абсолютно необходимого условия бесконечного существования» субстанции идет вразрез с попытками «оразумления» движущейся материи, в пределе возвещая о необходимости перезапуска космоса «ценой собственного существования»³⁵. Софронов не обходит этого текста стороной, однако ключевой для «Космологии духа» мотив космического самопожертвования разума вызывает у него явный дискомфорт: все выглядит так, будто он стремится избавиться от этого мотива, переработать «Космологию духа» в проект овладения временем, то есть перепрочесть это раннее эссе через призму более поздних текстов Ильенкова.

Но поставим, наконец, главный вопрос: какое отношение к замыслу прорыва за пределы истории победителей и, соот-

33 Гройс Б. *Русский космизм: биополитика бессмертия* // *Русский космизм. Антология* / Ред. Б. Гройс. М.: Ad Marginem, 2015. С. 10.

34 MARDER M. *The Fire of Rebirth in the Writings of Aleksandr Svyatogor* // *Cosmic Bulletin*. 2022. Vol. 3 (<https://cosmos.art/cosmic-bulletin/2022/the-fire-of-rebirth-in-the-writings-of-aleksandr-svyatogor>).

35 Ильенков Э. *Космология духа* // Он же. *Философия и культура*. С. 431.

ветственно, к идее создания действительно чрезвычайно-го положения имеет этот культ космистской субъективности, с которым мы встречаемся на страницах «Положения мертвых»? Ведь даже если допустить, что такая субъективность способна подорвать уравнение личности и идентичности, она по-прежнему не может развести бессмертное и вечное, что в свою очередь приводит к переутверждению границ, нормативности, долга и прочих собственно государственных ценностей?

Софронов отмахивается от подобных вопросов как от рассуждений, проходящих по ведомству «темных онтологий»³⁶. Он полагает, что в нынешнем философском интересе ко всему темному заявляет о себе стратегия власти, которая культивирует безусловное принятие смерти, возводимой в статус «закона природы». Как объясняет Софронов:

«Власть использует биологический факт смерти для укрепления *status quo*, культивируя влечение к смерти как самый сильный аргумент в пользу покорности. [...] Смерть – это действительно объективный факт, и смирение перед ней лежит в самом основании цивилизации. [...] В том и заключается внушающая ужас сила власти, что она основывается на самых объективных законах природы, на миллиардах лет ветхой естественности. [...] Сегодняшний пристальный интерес к бурно развивающимся “темным онтологиям” – очередной виток этой же спирали» (с. 285).

Это рассуждение о взаимообусловленности смерти, принимаемой без борьбы, и наличной системы государственного управления является одним из лейтмотивов книги – и в нем нас смущает как минимум один момент: почему смерть непременно должна восприниматься как космический «лагерь уничтожения», который необходимо как можно скорее ликвидировать? По словам Софронова, «сегодня на планете Земля и в радиусе примерно 100 световых лет от нее звучит оглушительный вопль: кричат от ужаса постепенно умирающие в том лагере смерти, которым является само бытие, орут те, которые хотят заглушить эти крики, вопит каждый из нас» (с. 256). Не совпадает ли это драматическое представление с властным жестом универсализации той самой широко понятой космистской субъективности? Это станет очевидным, как только мы посмотрим в «другую сторону», другую как для Федорова и Муравьева, так и для Ильенкова и Софронова, – сторону, где никто не «вопит», потому что смерти (как и бытия) в том смысле, в котором о них толкует «русский космизм», там попросту нет³⁷.

36 Это выражение, однако, используется им без всякой конкретики в плане имен и концепций.

37 См., в частности: Жюльен Ф. *О «времени». Элементы философии «жить»*. М.: Прогресс-Традиция, 2005. Гл. 7; Повинелли Э. *Предки навсегда! Бессмертные миры Антона Видокле // Граждане космоса: русский космизм в фильмах Антона Видокле* / Ред. Н. Смирнов. М.: Ad Marginem, 2022. С. 162–173.

Как следствие в софоновской ревизии проступает неприглядный аспект космистского мышления – его имплицитный тоталитаризм. Попробуем пристальнее взглянуть в этот аспект. Начнем с того, что лейтмотивом федоровского письма оказывается настойчивое соотнесение буржуазного прогресса – и скрывающихся за ним небратства, конкуренции, вытеснения – и бесконтрольного движения «слепой» силы:

«Разобшение и распадение есть факт не только человеческой, но и физической природы; и распадение в последней совершенно понятно, неизбежно, необходимо, если разобшение существует в первой»³⁸.

Таким образом, единая (бого)человеческая пропись, соединяющая всех в братское социальное тело, возможна только после нормализации, приведения природы в строгий порядок – и, наоборот, эта сила не может быть отрегулирована, пока в обществе отсутствует тотальная воскресительная мораль. Согласно Мишелю Фуко, предложившему в свое время понятие биополитики – особого диспозитива власти над жизнью, пришедшего на смену старому диспозитиву суверенной власти, – смерть является пределом биополитического господства: умерев, человек навсегда ускользает от техник контроля, распространяющихся только на живых. Но что, если вместо бинарного мира живых и мертвых мы обнаружим множественные траектории «слепой» материальной динамики? Для Федорова и Муравьева это ведет к появлению «биополитики бессмертия», описанной Борисом Гройсом через замену принципа «Даруй жизнь и разрешай умереть» формулой «Заставляй жить и не позволяй умереть»³⁹. Управление жизнью предельно расширяет свою сферу, превращая как живых, так и мертвых в «единомыслящую» и «единодушную»⁴⁰ армию воскресителей. Двойственность, возникающая, когда эта жесткая регламентация выдается Федоровым за добровольно принимаемую богочеловеческую аскезу, снята Муравьевым, который откровенно рассуждает о допустимости насилия в отношении тех «особей», чья воля идет вразрез с интересами целого⁴¹.

«Единство нужно дать, а не искать там, где его нет»⁴², – прочитанная буквально эта практическая рекомендация означает потенциальное устранение любых отклонений от общего дела. В этом свете становится понятным и настойчивое определение Федоровым своего социального идеала через однотипные

38 Федоров Н. *Музей, его смысл и назначение*. С. 377.

39 Гройс Б. *Русский космизм: биополитика бессмертия*. С. 7–8.

40 Федоров Н. *Музей, его смысл и назначение*. С. 384.

41 Муравьев В. *Овладение временем...* С. 58.

42 Федоров Н. *Музей, его смысл и назначение*. С. 380.



«всеобщее воскрешение», «всеобщий вопрос», «служение всеобщему благу и всем», «собрание всех сил всех людей для осуществления плана регуляции». Во имя пустого и гомогенного Всего устраняется всякая агональность среды, где, по словам Андрея Платонова, «отдельные люди живут»⁴³.

Это отрицание различий, скрывающееся за универсалистскими заявлениями, проникает и в «ревизионистскую историю», подрывая ее революционный пафос. Задумываясь о том, как Ильенков приходит к идеям, аналогичным идеям Федорова и Муравьева, независимо от них, Софронов отвечает декларацией транстисторической почвы космистского единодушия. Совпадение мыслительных траекторий подается тут как «"лишнее" подтверждение истины универсальности, "универсумности", универсальной сущности разумных существ» (с. 190–191). Другими словами, истина универсальности вечна – как бесознательное.

Почему смерть непременно должна восприниматься как космический «лагерь уничтожения», который необходимо как можно скорее ликвидировать?

Приняв это во внимание, упомянем мотив искренней преданности памяти умерших, живой, душераздирающей тоски по ним, который красной нитью проходит через книгу. Софронов – один из немногих космистов, прямо унаследовавших его у Федорова, для которого жить по смерти отцов так, как будто ничего особенного не произошло, – это аномалия и безнравственность⁴⁴. Вторя ему, Софронов утверждает, что трагедией будущего общества, свободного от насилия, станет «прошлое – миллиарды личностей, умерших прежде желания и необходимости умереть» (с. 288). Этот пафос и сострадание не могут не вызывать сильного эмоционального отклика, но, как уже говорилось в связи с «лагерем смерти», нельзя не учитывать, что это трагическое желание повернуть время вспять есть продукт европейской культурной матрицы и, соответственно, отнюдь не обязательно является повсеместным; а значит, первым шагом на пути де-универсализации космизма могла бы стать дедраматизация существования⁴⁵.

Напоследок несколько слов об устаревании и освобождении. Космистский музей не только ключевая богочеловеческая технология, но и место, где реальность всего вещества как пра-

43 Платонов А. *Областные организационно-философские очерки* // Он же. *Сочинения*. М.: ИМЛИ РАН, 2020. Т. IV. Кн. 2. С. 21.

44 Федоров Н. *Вопрос о братстве...* С. 258.

45 Жюльен Ф. *Указ. соч.* С. 260.

ха предков наглядно явлена здесь и сейчас – в отработанных прогрессом и хранимых наперекор ему вещах. При этом, оказываясь лишь простой коллекцией, не переходя к воскресительному делу, музей у Федорова превращается в свалку: «рост каждого [музея] неправильный, непостоянный, не непрерывный, а внутреннее распределение предметов в них представляет скорее случайный сброд, чем правильное собрание»⁴⁶.

Эта диспозиция, в которой вся действительность, помимо разума общего дела, оказывается «вещами негодными, хламом, ветошью»⁴⁷, высвечивает двусмысленность базовой космической заботы о «возвращении вытесненного»⁴⁸. Чего, однако, не замечают ни Федоров, ни Софронов. Более того, подхватывая инициативу первого, второй отправляет на «свалку» его самого. «Ревизия» идет по пути избавления федоровского проекта от интеллектуального «хлама», неуместного для «общего дела» образца XXI века – прежде всего от технологических предсказаний «вроде “кругоземной проволоки” для управления погодой на планете» и ряда прочих федоровских «предположений практического плана», которые «мгновенно устарели и уже давно являются уморительно смешными» (с. 17). В ту же мусорную кучу летят и все паранаучные поиски эпохи позднего СССР – темы «субстанции субстанций полевого типа», «полей сознания», «биополя организма», «особых частиц, которые не подлежат молекулярной систематике», людей-феноменов и левитации (с. 195). Эти исследования обвиняются в том, что в отсутствие истинной социалистической демократии они в какой-то момент подменили подлинный марксистский монистический материализм ветхим и вульгарным физиологическим идеализмом. Но, кажется, дело скорее в том, что этот ворох «сбродных» воображений просто выбивается из прописей (богочеловеческого) разума в софроновской версии. В завершении «Вопроса о братстве» Федоров пишет: «Высшее благо, как и свобода, составляет проект»⁴⁹. Именно этой «проективной» мечтой об эмансипации от «слепого» насилия, обоюдно чинимого смертью и властью, движется предпринятая Софроновым ревизия. Однако это движение, в конечном счете, не столько проясняет, сколько затемняет вопрос: о каком освобождении мертвых (и живых) может идти речь, если всеобщее воскрешение оказывается другим именем тотального контроля?

46 Федоров Н. *Музей, его смысл и назначение*. С. 379.

47 Там же. С. 382.

48 «Смысл братства заключается в объединении всех в общем деле обращения слепой силы природы в орудие разума всего человеческого рода для возвращения вытесненного» (Он же. *Вопрос о братстве...* С. 45).

49 Там же. С. 296.

Рецензии

ХРОНИКИ ИМПЛОЗИВНОГО ПОВОРОТА: КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНДИВИДУАЛИЗМ РАЗРУШАЮТ ОБЩЕСТВО

Тирания Я: конец общего мира

ЭРИК САДЕН

М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. – 336 с.



«Место, какое каждая эпоха занимает в историческом процессе, можно определить гораздо точнее, если проанализировать не ее суждения о самой себе, но неприметные явления на ее поверхности», – писал в 1927 году Зигфрид Кракауэр в эссе «Орнамент массы»¹. Подобная разновидность культурной критики, ищущая в повседневности приметы эпохальных трансформаций, приобрела большую популярность в XX веке. Пожалуй, самый знаменитый образец такого жанра – «Мифологии» (1957)

Ролана Барта, в котором различные явления и вещи послевоенной жизни (от моющих средств до киноиндустрии) рассматривались через призму семиотической теории. Предположу, что философ Эрик Саден считает себя принадлежащим к той же традиции. Ближе к середине трехсотстраничного эссе «Тирания Я» он замечает: «Несомненно, для тех, кто умеет улавливать веяния времени, признаки явления нового мира проступают сегодня прежде всего в ряде малозначимых, казалось бы, действий» (с. 187). Переходя от электронных самокатов и дейтинговых приложений к обложкам рэп-альбомов и соцсетям, автор пытается уловить «дух» беспокойной современности.

По мнению Садена, наша эпоха в первую очередь характеризуется гипертрофированным индивидуализмом и распадом социальных связей. Эти взаимосвязанные проблемы обусловлены двумя факторами. С одной стороны, неолиберальные реформы конца XX века, демонтаж государства всеобщего благосостояния и разочарование в электоральных демократиях привели к кризису традиционных форм политического участия и подъему как правого, так и левого популизма во всем мире. С другой стороны, в последние несколько десятков лет стремительно развивались цифровые технологии, все глубже проникавшие в повседневность. Социальные сети, приложения для смартфонов, сервисы доставки и такси – все это призвано сделать нашу жизнь более удобной. Саден отмечает, что главная особенность этих новшеств в том, что они обещают каждому пользователю индивидуализированный подход. Но у этого удобства есть оборотная сторона: мы начи-

¹ КРАКАУЭР З. *Орнамент массы* // Он же. *Орнамент массы. Веймарские эссе*. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. С. 41.

наем верить, будто способны существовать абсолютно автономно, сведя к минимуму взаимодействие с другими людьми. Если заказать продукты или назначить свидание можно за пару кликов, то нет необходимости договариваться, идти на компромиссы и учитывать чужие интересы, ведь выбор услуг потенциально безграничен. В свою очередь социальные сети, которые Саден называет «технологиями воспламенения умов», тоже укрепляют нашу веру в собственную исключительность и независимость, давая возможность высказать свою точку зрения по любому поводу и незамедлительно получить порцию социального одобрения. Здесь, указывает автор, и начинаются политические проблемы. Сталкиваясь с растущим неравенством и теряя контроль над отдельными аспектами своей жизни, мы пытаемся решить эту проблему на индивидуальном, а не коллективном уровне. Как нельзя кстати оказываются цифровые технологии, которые, как считает Саден, идеально подходят для того, чтобы канализировать гнев частных лиц – например, вместо того, чтобы объединяться с коллегами и требовать улучшения условий труда, как сделали бы профсоюзные активисты в XX веке, мы пишем возмущенные твиты, тем самым подменяя реальное политическое действие символическим.

В первой главе эссе Саден совершает небольшой исторический экскурс. По его мнению, технологический процесс радикально изменил нашу жизнь, но сама траектория изменений была задана задолго до появления персональных компьютеров и интернета. Все началось с Джона Локка, который во «Втором трактате о правлении» (1689) сформулировал «теорию индивида в обществе», лежащую в основе либерального индивидуализма. С самого начала индивидуализм «одновременно защищал и поддерживал равенство де-юре и неравенство де-факто. Он подразумевал сохранение наследия, полученного по пра-

ву рождения, и в то же время поощрение частной инициативы – при отказе поддерживать баланс возможностей каждого под предлогом, что общество, в конце концов, сумеет извлечь выгоду из богатства отдельных его членов в соответствии с догмой, которая долго не утратит состоятельность» (с. 49). Саден отмечает, что «процесс индивидуализации» изначально был связан с идеями гуманизма и свободы. Однако начиная с XIX века, то есть периода победного шествия капитализма по Европе, он «перестал отличаться от узаконенной погони за прибылью. Ведь началась все более яростная конкуренция между людьми, а разгул частных интересов, вопиющая несправедливость и унижительные условия труда сделали повсеместной нормой» (с. 50). Вся дальнейшая история западного мира (а о незападных обществах Саден практически не говорит) проходила под знаком либерального индивидуализма. В XX веке отдельные режимы вроде нацистской Германии или Советского Союза пытались бросить ему вызов, но по разным причинам потерпели неудачи. В послевоенный период сформировалось общество потребления, обещавшее быстрое удовлетворение всех потребностей. Когда в 1970-е разразился экономический кризис и правительства начали сокращать расходы на социальную сферу, жители западных стран стали искать спасения от пугающей действительности в мире домашнего комфорта:

«Именно тогда коммуникационные технологии, помимо источника развлечений, стали служить своего рода очистительным клапаном, декомпрессионной камерой по отношению к бремени повседневности, обозначая поворот, который два десятилетия спустя обретет совсем иной масштаб» (с. 78).

Процессы, которые мы наблюдаем сегодня, представляют собой развитие этой тенденции.

Любой исторический нарратив тяготеет к телеологичности, но в эссе Садена это проявляется особенно ярко. Сводя все к истории о торжестве либерального индивидуализма, он либо игнорирует попытки предложить альтернативные политические проекты, либо утверждает, что они изначально были обречены на провал – как, например, в случае с протестными движениями 1960-х:

«Если одни предались тогда активной борьбе, пытаясь добиться, чтобы об их несогласии, наконец, услышали, и выступая за использование других моделей, то другие, и их было большинство, удовлетворились жизнью, в которой главное – обеспечивать собственные потребности и стремиться к довольству собой [...] Пока не поздно, всем хотелось получить сполна от этого мира, который вопреки повседневным трудностям все же дарил столько радости» (с. 64).

Контркультура, расцвет которой в 1970-е во многом стало реакцией на неудачу протестных движений предыдущего десятилетия, также кажется Садену всего лишь очередным порождением все того же либерального индивидуализма. По его мнению, лозунг DIY («сделай сам»), получивший распространение в панк-среде, определяет «новый этос того времени, когда произошел “переход от автономии как чаяния к автономии как условию существования в индустриальном обществе”» (с. 69).

Сложно согласиться с тем, что в случае с панк-культурой призыв «делать самому» свидетельствует о стремлении к индивидуальной автономии – напротив, он появился в ответ на запрос на новые формы низовой самоорганизации и предполагал не разобщенность, как утверждает Саден, а объединение с единомышленниками. Но не будем останавливаться на отдельных спорных моментах, а лучше поговорим о том,

какой эффект на читателя производит сконструированный автором нарратив. Если согласиться с Саденом, что на протяжении последних нескольких сотен лет развитие западных обществ определялось исключительно принципом либерального индивидуализма, а никаких реальных альтернатив ему не было предложено, то возникает вопрос: на какой опыт могут опереться сегодня те, кто, подобно Садену, пытается найти выход из кризиса, порожденного атомизацией? Марк Фишер, хорошо понимавший, какое влияние представление о прошлом оказывает на политическое воображение, однажды заметил:

«Прошлое необходимо постоянно нарративизировать заново, и политический смысл реакционных нарративов состоит в том, чтобы подавлять нереализованный потенциал прошедших эпох, который ждет возможности пробудиться»².

Проблема в том, что Саден как раз предлагает такую картину прошлого, из которой следуют крайне пессимистичные выводы относительно нашего настоящего и будущего.

Это касается не только XX века, но и событий последних десяти лет. В четвертой главе Саден упоминает о протестах на площади Тахрир в Каире в 2011 году, движении «Occupy Wall Street» в США и «желтых жилетах» во Франции. Он признает: все эти явления стали реакцией на экономическое неравенство и политическое угнетение, но считает, что их участники не выработывали никакой конструктивной программы, а вместо этого просто давали выход накопившемуся недовольству. Аналогичные претензии Саден предъявляет движению «Black Lives Matter» и инициативе *MeToo*. В последнем случае его возмущает следующее:

2 Фишер М. *Кислотный коммунизм (недописанное предисловие)* // Неприкосновенный запас. 2020. № 6(134). С. 13–35 (www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/134_nz_6_2020/article/23200/).

«Люди, в основном женщины, не колеблясь, публично изобличают случаи злоупотребления, домогательства, насилия. Все бы ничего, но такой способ действий пренебрегает любыми процедурами, установленными для соблюдения прав каждой из сторон – как и фундаментальным принципом презумпции невиновности, – и в случае, если якобы имело место неподобающее обращение, это становится заведомым основанием, чтобы опередить правосудие и игнорировать конфиденциальность следствия, которое, казалось бы, должно быть защищено от нежелательного давления» (с. 219–218).

Виной тому, конечно, цифровые технологии, которые позволяют «всем [...] без особых усилий публично высказывать свое мнение» (с. 102). Садена совершенно не интересуется, что соцсети стали использоваться для распространения информации о сексуализированных преступлениях ровно потому, что система правосудия, к которой апеллирует автор, продемонстрировала неспособность защитить жертв, особенно если они пострадали от действий богатых и влиятельных людей.

Интернет и социальные сети упростили распространение информации о различных видах неравенства и притеснений. Стали все более отчетливо слышны голоса представителей угнетенных групп, требующих справедливого отношения к себе. Для Садена такие требования крайне проблематичны: вместо того, чтобы думать о благе общества в целом, каждая отдельная группа заботится только о своих частных интересах:

«Такая конфигурация создает рычаг для того, что следовало бы назвать *импловивным поворотом*, то есть наблюдаемым мас-

штабным размежеванием индивидов и коллективного регулирования, – с обильным появлением трещин субъективизма по всему общему фундаменту. [...] Механически истирается фундаментальное начало: *принцип авторитета*. То есть признание за некоторыми институтами прерогативы обеспечивать монолитность политического сообщества, а за многими и многими людьми – специфических полномочий, что позволяет каждому в различных обстоятельствах двигаться дальше при поддержке того, чья квалификация выше» (с. 226).

Саден называет такую ситуацию «авторитарным партикуляризмом»: если в XX веке авторитарные импульсы исходили от государственных институтов, стремившихся подчинить себе жизни людей, то сегодня все перевернулось с ног на голову и уже отдельные индивиды и социальные группы бросают вызов государству и обществу. Он приводит в пример политических активистов, доказывающих, что во французских школах непропорционально много внимания уделяется изучению Холокоста по сравнению с другими преступлениями прошлого, прежде всего колониализмом и рабством³.

Значительная часть эссе Садена посвящена критике того, что обычно называют «политикой идентичности», и в этом отношении он близок многим современным левым. Как отмечают авторы журнала «Historical Materialism», проблема с политикой идентичности в том, что она не только натурализует категории, навязанные доминирующими неолиберальными структурами, но и «фактически разрушает любые основания для массовой антикапиталистической солидарности и сопротивления»⁴. Однако указание на проблематичность

- 3** Примечательно, что, рассуждая об «авторитарном партикуляризме» и о том, как он связан с развитием цифровых технологий, Саден ничего не говорит о современных авторитарных государствах, использующих продвинутые методы слежения для контроля над населением. Самый яркий пример тому – Китай. См.: Кейн Дж. *Государство строгого режима. Внутри китайской цифровой антиутопии*. М.: Индивидуум, 2023.
- 4** KUMAR A., ELLIOT-COOPER A., IYER S., GEBRIAL D. *An Introduction to the Special Issue on Identity Politics // Historical Materialism*. 2018. Vol. 26. № 2. P. 5.

такого подхода не отменяет того факта, что многие группы действительно подвергаются дискриминации по гендерному, этническому, религиозному и различным другим признакам. Любые попытки предложить альтернативу политике идентичности не могут не учитывать этого обстоятельства, но Саден обходит его стороной. Он напрямую не утверждает, что современное западное общество свободно от дискриминации и неравенства, но намекает, что активисты явно преувеличивают масштабы проблем (с. 210, 213).

Не стоит думать, что Саден только и делает, что критикует других – в заключительной части эссе он предлагает выход из той затруднительной ситуации, в которой оказался современный мир. Чтобы побороть атомизацию и недоверие к государственным и общественным институтам, нужно всего лишь:

«[Действовать] исходя из совершенно иной логики – *свидетельствования*. Нужно описывать ситуации, взятые из опыта “на местах”, там, где бич нашего времени дает о себе знать наиболее жестоко: в больницах, на предприятиях, в школах, в бедных домохозяйствах, заброшенных пригородах. Свидетельствовать – значит открывать окружающим глаза на то, что не известно большинству, чего они не видят, ведь все это в силу нарушения элементарных прав, с которыми сталкиваются отдельные граждане или целое сообщество, требует предания огласке. В этом отношении нам следовало бы неизмеримо внимательнее прислушиваться к сообщениям из глубин повседневной жизни, где зачастую можно почерпнуть более содержательный опыт, чем у многочисленных записных экспертов» (с. 321–322).

Такое решение кажется мне неудовлетворительным сразу по нескольким причинам. Начнем с того, что Саден использует крайне расплывчатые формулировки («глубины повседневной жизни», «более содержательный опыт»). Кроме того, не совсем

понятно, чем такая «политика свидетельствования» принципиально отличается, например, от критикуемой им инициативы *MeToo*. Возможно, автор считает, что опыт жертв домогательств менее «содержателен», чем опыт обитателей «бедных домохозяйств»? Но при помощи какого критерия можно вообще оценить «содержательность» чьего-либо опыта? Наконец, нападая на либеральный индивидуализм, Саден остается в рамках либеральной модели публичной сферы и, по сути, призывает всех сесть за стол и спокойно обсудить наболевшее. Но проблему поляризации общества, которую он очерчивает в своем эссе, не решить увещеваниями. Для этого нужно устранить ее политические и социально-экономические причины – институционализированный расизм, неравенство доходов и многие другие факторы, о которых автор говорит лишь вскользь, уделяя основное внимание технологическому развитию.

Со многими замечаниями Садена о пагубном влиянии цифровых технологий на нашу жизнь сложно не согласиться. Но можно ли представить ситуацию, при которой их развитие не будет усиливать и так имеющееся неравенство, а напротив, поспособствует построению более справедливого общества? Из эссе Садена следует, что рассчитывать на это не стоит, так как цифровые технологии заключают в себе некий неистребимый индивидуалистический импульс. Например, ему кажется совершенно ошибочным представление о том, что проект Всемирной сети (также известной как интернет) изначально нес в себе утопический потенциал. Да, «горстка экзальтированных гиков» надеялась, «что через прямое общение на онлайн-форумах удастся ввести новые демократические традиции, начать процесс всеобщего примирения, “электронно-софтовую революцию” в обществе», но «подобную ерунду» нельзя воспринимать всерьез (с. 104). Как пишет Саден, невозможно изменить общество,

сядя в кресле и нажимая на клавиши. Но тут автор начинает противоречить сам себе. Если посты в интернете действительно не могут подорвать статус-кво, то его опасения по поводу наступления цифрового «авторитарного партикуляризма» оказываются во многом беспочвенными. Стоит отметить и другое слабое место в аргументации Садена. Он ничего не говорит о многочисленных примерах, когда цифровые технологии использовались активистами для низовой самоорганизации – вспомним хотя бы протесты 2019–2020 годов в Гонконге⁵. Не удивительно, что автор обходит подобные случаи стороной, ведь они демонстрируют, что проблема не столько в технологиях как таковых, сколько в том, кто именно контролирует их.

Саден обвиняет политических активистов в том, что они предпочитают яркие жесты реальным действиям, но ту же претензию можно предъявить и ему самому. Подсвечивая многие проблемы современных западных обществ, он не предлагает никакого внятного решения. Более того, эссе рисует столь мрачную картину прошлого и настоящего, что надежда на какие-либо улучшения кажется наивной. Если Саден задумывал его как политическое высказывание, то единственный эффект, которого оно может добиться, – это погрузить читателей в еще большую апатию и окончательно подорвать их веру в возможность эффективного политического действия. В одном с автором можно согласиться: наше будущее во многом зависит от того, сможем ли мы преодолеть разобщенность и выработать новые формы солидарности. Но в этом деле «Тирания Я» нам точно не поможет.

Константин Митрошенков

5 ХАЧАТУРОВ А. Поколение цифрового протеста. Как Telegram поменял правила гражданского сопротивления в Гонконге // Новая газета. 2019. 27 сентября (<https://novayagazeta.ru/articles/2019/09/26/82119-pokolenie-tsifrovogo-protesta>).

Made-to-Measure Future(s) for Democracy? Views from the Basque Atalaia

JULEN ZABALO, IGOR FILIBI, LEIRE ESCAJEDO SAN-EPIFANIO (Eds.)

Cham: Springer, 2023. – 369 p.



Сборник статей «Будущее демократии под заказ? Баскская точка зрения», авторами которого стали ученые из нескольких университетов и научных центров, занимающихся баскскими исследованиями, вышел в серии «Вклад в политическую науку». Возглавила проект исследовательская группа Университета Страны Басков (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea – UPV/EHU), которая специализируется на проблемах демократии более двадцати лет. На первых же страницах редакторы в чуточку снобистской, как представляется, манере заверяют читателя в том, что баскскому обществу посчастливилось занять крайне выгодную «точку обзора», с которой объективно просматриваются все недостатки западных моделей демократии, а также видны новые и перспективные направления будущего демократического

развития. Отправным пунктом всего исследования можно считать констатацию, согласно которой симптомы ослабления демократии сегодня заметны по всему миру, затрагивая даже страны с давними демократическими традициями. К этому довольно тривиальному наблюдению присовокуплено смелое заявление о том, что «политика всегда должна быть демократической» (р. 18), поскольку на протяжении всей своей истории она нацелена на коллективные действия – будь то урегулирование конфликтов, распределение ресурсов или решение иных общественных проблем.

Как утверждается во введении, нынешняя структура мировой политики не соответствует объективным запросам человечества: ведь глобальные проблемы можно решать только в глобальном измерении – здесь авторы намекают на необходимость учреждения глобального правительства, – а не посредством автономных и самобытных демократических форм, сложившихся в разных странах. В силу сказанного решения глобальных проблем, предлагаемые *nation-states*, не эффективны и анахроничны. При этом, однако, государство вовсе не нужно объявлять «средоточием всех зол», достойным скорейшего упразднения, – напротив, политики и ученые должны признавать его значительный вклад в развитие демократии: института, который и сегодня остается наиболее успешной формой политической организации. Базовая цель всего представленного в книге проекта формулируется именно на таких основаниях: она заключается в поиске возможных вариантов космополитичной модели демократического руководства, избавленной от ограничителей *nation-state*. Этим делом необходимо заниматься прежде всего потому, что нынешняя модель глобального управления из-за своей эксклюзивности и закрытости не позволяет большинству граждан планеты активно участвовать в принятии решений. Впрочем, как подчер-

кивают авторы, сказанное не отменяет относительных успехов тех или иных спорадических экспериментов, направленных на приближение к идеалу космополитичной и инклюзивной демократии; в числе таковых в книге упоминаются проекты формирования глобального гражданского общества, достижения мирового федералистского движения и практика функционирования Европейского союза.

Публикация разбита на четыре концептуальных блока. В первом из них («Общенациональные и глобальные проблемы, вытекающие из неолиберальной попытки “приручить” демократию») анализируется феномен так называемой «одомашненной» (или «прирученной») разновидности демократии. Именно так авторы маркируют неолиберальный вариант, апологеты которого монополюно, по сути, завладели правом судить, что есть истинная демократия, а что таковой не является. Более того, их версия демократии отрицает саму возможность существования альтернативных воззрений. Как утверждается в книге, нынешнюю демократию «приручили», заставляя ее служить исключительно неолиберализму; как следствие – в ней было разрушено самое главное: принцип совместного участия всех граждан в принятии политических решений.

Оценивая подобные тезисы, полезно воспринимать их через призму специфически баскского подхода. Одним из постулатов последнего выступает идеологическое неприятие неолиберализма как ключевой характеристики политического режима, установившегося в Испании после смерти Франсиско Франко и принятия Конституции 1978 года. Вместе с тем, несмотря на предвзятость такого старта, авторам удалось весьма последовательно аргументировать свою точку зрения. В частности, коллектив из Университета Страны Басков критикует неолиберальный демократический проект за его стремление всесторонне

коммерциализировать социальное действие (р. 40). По мнению ученых, в нем экономические частные интересы выходят на первый план и приводят к монетизации всех сфер общественной и частной жизни. Приобщение же к политическому управлению тоже «продается», оказываясь в подчинении у экономических законов конкуренции. Причем подобное случается на уровне как целых стран, так и отдельных городов – об этом пишут Иаго Лекуе и Иманоль Теллера (Университет Страны Басков), рассматривая в своем тексте влияние глобального неоллиберализма на города и призывая к коллективному противодействию вредоносному натиску.

Кстати, в этой же части рассматривается еще одна проблема современного демократического этоса: Джон Азкуне, Жюль Гойкоэчеа и Энеко Ромеро (Университет Страны Басков) в своей главе обращают внимание на так называемую «приватизацию демократии» – передачу некоторых функций *nation-states* частным игрокам (корпорациям, лобби, группам интересов). Из-за этого, по их мнению, демократия перестает быть общим делом политического сообщества. Бесспорно, классическим и основополагающим институциональным выражением демократии было и остается государство, суверенитет которого обеспечивает смычку властной системы и представляемого ею населения (р. 83). Но авторы видят острую проблему в том, что постепенно реализация подобного взаимодействия перекладывается на частных лиц, лишая широкие слои социума доступа к демократическим инструментам. Кстати, тезис о том, что без суверенитета демократизация невозможна, созвучен с идеями, которые провозглашаются баскскими националистами – в частности, радикальной левой коалицией «Единство Страны Басков» («EH Bildu»), считающей суверенитет незаменимым инструментом решения ключевых общественных проблем.

Второй раздел («Современные практики гражданственности в масштабах новой западной демократии») посвящен эволюции демократии и ее новым формам, сложившимся в глобальных трансформациях последних лет. Во всех включенных в него текстах отстаивается мысль о кризисе либеральной модели, углубляемом коммуникационной революцией, а также последствиями недавней пандемии. Так, Игорь Кальзада (Кардиффский Университет, Великобритания) представляет собственную концепцию оптимального гражданского участия, реализуемого в гиперсвязанных и виртуализированных постпандемийных сообществах. По его мнению, государственный суверенитет уже не является «таблеткой от всех болезней»: только посредством создания глобального гражданского общества, установления подлинно народной власти, разделения суверенитета между всеми актерами можно преодолеть текущие мировые кризисы и восстановить демократию в ее первоначальном виде. Кризис демократического участия прослеживается не только на уровне государства. Схожие наблюдения делаются Хорди Борха (Открытый Университет Каталонии) и на уровне города. Этот автор считает, что город, именуемый в тексте «пространственным измерением демократии», должен представлять собой важную площадку для реализации демократических принципов в социально-политической сфере (р. 134). Насколько можно понять из статьи, здесь подразумевается возврат к практикам древнегреческих полисов, старавшихся обеспечивать равное участие всех свободных граждан в общественной жизни. Но сегодняшние города, по мнению автора, этой функции не выполняют. Земельные спекуляции, строительные злоупотребления, глобальные финансовые махинации – все это обернулось пространственным неравенством, при котором состоятельные слои населения пользуются благоустроен-

ной и комфортной городской инфраструктурой, а малообеспеченным стратам открыт лишь ограниченный спектр муниципальных услуг. Причем в контексте демократии речь идет не только о жилье, но и доступе к объектам гражданского назначения и участию в коммунальных делах: если у одних все перечисленное есть, то другие в той или иной мере этого лишены.

Третий раздел («Углубление демократии: анализ практических стратегий участия баскского общества») посвящен механизмам участия, сложившимся в Стране Басков. Открывает его глава, в центре которой «право решать» (*derecho a decidir*) – политический лозунг, близкий баскским радикалам. В ней Андер Визан-Аморос, Хулен Забало и Амалур Альварес (Университет Страны Басков) отмечают, что «право решать» выступает следствием одного из императивных принципов международного права, а именно – права народов на самоопределение; причем эта производная появилась в ходе обновления концепта самоопределения, вызванного нарастающим недоверием к институтам неolibеральной демократии. Пытаясь, вероятно, снять возможные обвинения в избыточном радикализме, специалисты отмечают, что квинтэссенцией «права решать» предстает отнюдь не сецессия, а право людей на демократию.

Другими баскскими практиками, рассматриваемыми в этом же разделе, оказываются, в частности, формы молодежной вовлеченности, региональная система социальной поддержки, интеграция мигрантов. Последний из упомянутых сюжетов имеет в баскской автономии особое звучание; ведь, согласно идеям отца баскского национализма Сабино Араны, поддержание «чистоты баскской расы» было и остается неизменным императивом, а мигранты в его свете предстают такими же злейшими врагами, как и испанцы. Однако, как пишут Аркаиц Фульяондо и Горка Морено (Университет Страны Басков), несмотря

на наличие подобной догматики, баскское общество уже давно переживает процессы этнокультурной диверсификации (р. 259), и по этой причине сосредотачиваться надо на выяснении того, какие именно формы демократического участия могли бы помочь мигрантам максимально эффективно адаптироваться в баскском обществе.

В четвертом разделе («Критическое видение эпистемологических методологий, применяемых для исследования современной западной демократии») рассматриваются актуальные методологические подходы, используемые при анализе демократических процессов. Так, Изаро Горостиди и Сезар Мартинес (Университет Страны Басков) останавливаются на форматах взаимодействия местных властей с общественными движениями. Среди прочего их интересует, как университеты – и в особенности факультеты социальных наук – могли бы содействовать продвижению общественных инициатив и укреплению их легитимности. Исследования такого типа, как полагают упомянутые авторы, безусловно, способствуют совершенствованию демократических институтов; с их помощью складывается сеть взаимоотношений, помогающая сплоченности общества и сосуществованию различных идентичностей. Примечательна авторская трактовка термина «участие»: под ним имеется в виду нечто большее, чем элементарное присутствие или вмешательство в процесс, – это мобилизация людей на конкретные действия, а также «сознательное принятие на себя роли активных творцов общего будущего» (р. 348).

В подобном созидательном ключе участие рассматривается и в другом проекте – в совместной работе, выполненной Университетом Страны Басков и муниципальным советом города Витория-Гастейс. Здесь представлен новый методологический подход: исследование проводилось посредством комбинации только что упомянутого

проактивного «участия» и новаторских форм контроля. Модель предполагает тесную коллаборацию ученых и профессионалов-практиков, которые одновременно исследуют происходящие процессы, лично участвуют в них и подвергают их критическому осмыслению. Внедрение описываемой методологии спровоцировало серьезные перемены, поскольку она позволила найти альтернативные критически-рефлексивные способы познания – в противовес устоявшейся позитивистской парадигме социальных наук, делающей акцент сугубо на сборе эмпирического материала. Отсюда происходит и новый способ производства знания, генерируемого посредством сотрудничества равноуровневых участников процесса и не предусматривающего жесткого разделения на «исследователей-теоретиков» и «профессионалов-практиков».

Кризисные моменты, на которых останавливаются авторы рецензируемого сборника, наблюдаются не только в Испании, но и во многих других географических локациях, где практикуется демократия. Не мешая, однако, помнить, что за представленными читателю критическими или даже негативными оценками современных форм неолиберальной демократии стоит специфичность тех сложных взаимоотношений, которые традиционно складывались между баскским обществом и испанским государством. Можно ли считать авторские воззрения объективными? Этот вопрос остается открытым. Но вместе с тем, чем же иным, как не альтернативными методами, следует осмыслять, а возможно, даже и менять, углубляющиеся у нас на глазах общемировые кризисные процессы? Ведь похоже, что надежд на привычные способы остается, увы, все меньше и меньше.

Юлия Фролова, доцент кафедры политологии РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Когда тело говорит «нет»: цена скрытого стресса

ГАБОР МАТЭ

СПб.: Портал, 2021. – 496 с. – 5000 экз.



Эту книгу написал канадский врач, специализирующийся на лечении психологических травм. Будучи медицинским обозревателем солидной и тиражной газеты «The Globe and Mail», он, как и многие современные специалисты-психологи, пытается комбинировать в своем творчестве науку и просвещение, превращая изучение серьезной социальной проблемы – а в книге таковой предстает «его величество стресс», один из знаковых и, как принято считать, все шире распространяющихся недугов современности, – в разновидность развлечения. При этом Матэ вовсе не «колдун из интернета»: он долго работал в качестве семейного доктора, а также был врачом отделения паллиативной помощи в одной из больниц канадского Ванкувера, где лечил наркозависимых пациентов. К настоящему времени совокупные тиражи его книг, переведенных на 25 языков, составляют больше миллиона экземпляров. Главной проблемой, которая его занимает, остается старый, как сама философия, дуализм иде-

ального и материального. В самом начале он пишет:

«Люди всегда интуитивно понимали, что сознание и тело неразделимы. Современность принесла печальное разобщение, раскол между тем, что мы знаем всем своим существом, и тем, что принимает за истину наше сознание» (с. 10).

Очерчивая замысел книги, автор говорит, что ему хотелось бы «поставить зеркало» перед нынешним обществом, которое тысячами неосознаваемых способов усугубляет собственные психологические недуги.

Еще в 1892 году канадец Уильям Ослер выдвинул предположение, что ревматоидный артрит может быть обусловлен стрессом, хотя современная ревматология продолжает пренебрегать этой идеей. Отталкиваясь от этого примера, автор трактует его в качестве знакового: по его мнению, после накопленного медициной многовекового опыта связь эмоций с болезнями не должна вызывать ни малейшего сомнения, ибо наша иммунная система вовсе не изолирована от нашего обыденного существования. Если эта гипотеза верна, то тогда перед учеными неизбежно встает вопрос о механизмах, превращающих стресс в болезнь; собственно говоря, на протяжении столетий к нему обращались как те, кто лечит тело, так и те, кто пользует душу. Забегая вперед, автор почти в самом начале своих рассуждений предлагает собственный ответ на него:

«Подавление – отделение эмоций от сознания и их переход в сферу подсознательно – дезорганизует и расстраивает наши физиологические защитные механизмы, из-за чего у некоторых людей эти механизмы нарушаются, становятся разрушителями здоровья, а не его защитниками» (с. 22).

На первый взгляд здесь нам предлагают вариации на тему классического психоанализа, хотя позже читателю предстоит выяс-

нить, что это не так: автор смотрит на проблему несколько шире.

Погружение в тему вполне логично выводит Матэ на два сюжета, которые в контексте его рассуждений трудно обойти вниманием: с одной стороны, это условия, провоцирующие стресс, а с другой стороны, последствия, которые он генерирует. В настоящее время, напоминая нам на страницах книги, тремя универсальными факторами стресса медики считают *неопределенность перспектив, недостаток информации и потерю контроля*. (Задумаемся на минуту: а какой из этих стимуляторов стресса в последние несколько лет обошел стороной хотя бы одного читателя этих строк? Похоже, по духу своему Матэ – действительно российский доктор, а россияне – его потенциальные пациенты.) Основываясь на собственной клинической практике, автор подтверждает, что в жизни людей с хроническими заболеваниями присутствует, как правило, весь указанный набор. При этом более пагубным для здоровья оказывается не столько острый стресс, капитально и резко выбивающий человека из колеи, сколько его хроническая разновидность, дремлющая и тихая, но ни на минуту не прекращающая грызть свою жертву изнутри. Последнее из упомянутых состояний поддерживает механизмы диссоциации на протяжении длительного времени: человек в этот период либо не видит стрессовых факторов, либо не способен их контролировать. В подобных ситуациях исключительную важность приобретает качество, называемое автором «эмоциональной компетентностью»; под ним имеется в виду «умение справляться с собственными чувствами и желаниями адекватным и удовлетворяющим образом» (с. 72).

В каждой из историй болезни, описанных в книге – а их здесь великое множество, – те или иные аспекты эмоциональной компетентности оказывались в угнетенном состоянии, о чем сам больной мог даже не

подозревать. Хотя автор не говорит об этом, на полях и от себя можно добавить, что упомянутое качество приобретает огромное значение, когда речь заходит, например, о людях, принимающих политические решения: лидер, не привыкший держать себя в руках и не чувствующий над собой ограничителей, способен наломать дров. Если же говорить об универсальных последствиях стресса, общих как для великих деятелей, так и простых смертных, то современные исследования, в том числе и проводимые на подопытных животных, свидетельствуют о том, что его биологические механизмы приоритетно влияют на три типа тканей или органов: в гормональной системе видимые изменения затрагивали надпочечники, в иммунной системе пораженными оказывались селезенка и лимфатические узлы, в пищеварительной системе задетой была оболочка кишечника. Обозначив эту трехчленную диспозицию, автор детально подкрепляет ее ссылками на собственный обширный опыт.

Местами книга канадского доктора напоминает излишне подробный медицинский справочник, особенностью которого выступает то, что буквально все более или менее известные заболевания выводятся им из различного рода стрессов. В это число попадают столь непохожие друг на друга недуги, как амиотрофический склероз, рак груди, рак легкого, воспалительные заболевания кишечника, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит (список далеко не полный). Более того, на страницах книги в подтверждение изначального тезиса приводятся пространные истории больных, с которыми автор соприкасался лично. В целом же, анализируя природу базового фактора, подстегивающего все перечисленные – а также неупомянутые – болезни, автор говорит, что для взрослого человека успешное регулирование биологического стресса зависит от того, удастся ли ему поддерживать тонкий

баланс между своей встроенностью в общество, обеспечивающей безопасность, и подлинной автономией, укрепляющей личность. «Все, что нарушает этот баланс, независимо от того, осознает это человек или нет, является источником стресса», – подытоживает Матэ (с. 338). Дойдя до этого места, иной читатель, вероятно, скажет себе, что далеко не все утверждения канадского доктора звучат по-новаторски; да и можно ли – вдобавок призадумается он – вообще открыть Америку, заявляя, например, что само ощущение, будто нас кто-то любит, позитивно сказывается на здоровье? Однако, если бы выкладки канадского специалиста ограничивались только подобными банальностями, его книгу не стоило бы читать.

К счастью, в коллекции клинических случаев, которым в разбираемом труде отводятся десятки страниц, можно отыскать и кое-что еще, довольно интересное. Копаясь в ворохе собственных кейсов, Матэ выходит на вполне закономерный вопрос: если стресс действительно есть основа всех неприятностей нашей жизни, то почему же связанные с ним заболевания обнаруживаются и у тех людей, которые никогда не подвергались насилию и не получали психологических травм? Согласно авторской гипотезе, «такие люди заболевают не оттого, что им сделали что-то плохое, а потому, что им отказали в чем-то хорошем» (с. 347). Но подобное предположение естественным образом влечет за собой другую проблему: как, собственно, простое отсутствие чего-то или кого-то может вызывать соматические нарушения? Иначе говоря, во всех подобных случаях, по мнению канадского специалиста, должно наличествовать какое-то *биологическое* обоснование, которое, теоретически, можно было бы извлечь на свет.

И вот тут автор делится своей центральной гипотезой, которая в свое время привлекла внимание к его сочинениям: согласно этой догадке, стресс способен передаваться по наследству: «Главная проблема

заключается в непреднамеренной передаче стресса и тревожности от одного поколения другому» (с. 368). Зацепившись за эту предпосылку, Матэ предлагает объяснение того, почему вокруг так много реальных историй, в которых представители одной и той же семьи на протяжении многих десятилетий страдают от самых разных и, по-видимому, не связанных между собой недугов. Иначе говоря, канадский врач постепенно подводит читателя к собственному варианту разрешения той проблемы, которая на первых страницах была названа им «дихотомией душевного и телесного». Если модели поведения и сопровождающие их заболевания передаются от одного поколения к другому, то тогда – и иначе никак – преобладающее влияние на семейные и индивидуальные жизни оказывают социально-экономические факторы. Это в свою очередь рушит все здание современной психологии с присущим ей возложением ответственности за несчастья детей на их родителей – и, естественно, влечет за собой прощание с психоаналитическим канонем.

Свою теорию Матэ называет «биопсихосоциальным медицинским подходом». Представляя его в двух словах, можно сказать, что индивидуальная биология отражает историю человеческого организма во всей полноте его взаимодействия с окружающей средой на протяжении жизни; это непрерывающийся обмен энергией, в котором психологические и социальные факторы столь же важны, как и физиологические. А чтобы оценивать их правильно, книга рекомендует почаще обращаться к так называемому «негативному мышлению». Самопознанию многих людей, по утверждению автора, препятствует миф о том, что у них было «счастливое детство»: сказанное едва ли странно, поскольку придерживаться такого мифа нас заставляют социальные конвенции. Во многих случаях это оказывается самообманом, из-за которого человек может застрять в поведенческих моделях,

причиняющих ему вред. Негативное мышление позволяет нам распознать свои слабые стороны.

Таким образом, если подытожить, то перед нами вырисовывается следующая картина. Стресс – фатальная неизбежность, генерируемая самой тканью современной жизни. Нам, нынешним людям, от него не только некуда деться; он еще и транслируется уходящими поколениями поколениям последующим. Это в свою очередь включает его в структуру механизмов наследования и вовлекает в связанную с ними игру мутаций. В цивилизационном плане стресс предстает адаптационным приемом, который парадоксальным образом делает жизнь легче. Следовательно, по мысли автора, он просто не может и не должен выступать объектом, с которым надлежит бороться; предрасположенность к нему будет воспроизводиться снова, снова и снова, сколько ему ни противодействуешь. Иначе говоря, уже недалеко то время, когда стресс просто перестанут считать аномалией. Осталось только дожить до этого – превозмогая все более множасьщиеся стрессы.

Юлия Крутицкая

A Natural History of the Future: What the Laws of Biology Tell Us about the Destiny of the Human Species

ROB DUNN

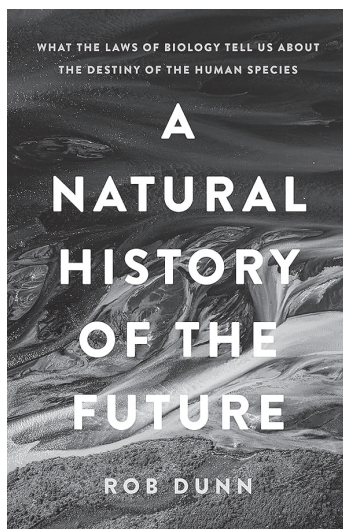
New York: Basic Books, 2021. – 288 p.

Что, собственно, произойдет с нашей планетой, если человечеству все же удастся завершить ту «работу адову», которую оно взвалило на себя в прошлом столетии, – и, подогрев планету на несколько градусов, полностью извести на ней род *Homo sapiens*? На того смельчака, который рискнул бы придать теме экологического кризиса подобный разворот, скажем, в досто-

памятные времена первых докладов Римскому клубу, тогда посмотрели бы, как на сумасшедшего. Планета Земля – и без людей? Кошунственно, *contradictio in adjecto* в чистом виде. Сегодня, увы, такой подход мало кого удивит: то, что еще два-три десятилетия назад виделось за гранью реально-го, ныне кажется вполне осуществимым. По мере того, как мягкие и терпимые сценарии климатических трансформаций выносятся за скобки, а их место последовательно занимают все более страшные опции, образ нашей планеты без людей все более и более «нормализуется» и в научном дискурсе, и в общественном сознании в целом⁶.

Рискну предположить, что это и хорошо и плохо одновременно. С последней частью этого внешне странного заявления недопониманий как бы нет, ибо человечество так или иначе успело обзавестись внушительным послужным списком, расставаться с достижениями и обретениями которого было бы невыносимо больно. Но что же тут, спрашивается, хорошего? Как ни удивительно, позитив тоже обнаруживается довольно быстро. Как известно, иногда полезно помыслить неммыслимое с тем, чтобы вывести себя из прокрастинации – и что-то, наконец, *сделать*. Это литературный прием, вырывающийся за пределы литературы, что-то вроде принудительной перековки мысли в практику. Кстати, философы-инвайронменталисты уже давно и настойчиво говорят о необходимости навсегда отказаться от «тезиса о человеческой исключительности»: так, новые воззрения, по словам француза Жан-Мари Шеффера, «соотносят человечество с определенной “историей”, где оно не является исходной точкой, где его нет

оснований считать завершающей точкой и где оно, судя по всему, не в большей степени является целью, чем бесчисленные другие формы жизни – прошлые, настоящие, а возможно, и будущие»⁷. Американец Роб Данн, судя по его текстам, без колебаний подписался бы под этим заявлением.



В полном согласии с требованиями жанра автор, комплектуя свою очередную книгу – кое-какие из его сочинений, кстати, уже переведены на русский⁸, – приберегает собственный *coup de grace* напоследок. Лишь в заключительной главе он принимается рассуждать о том, что же получится, когда Земля избавится от людей. Шокируя, вероятно, кого-то из своих читателей и читательниц, он заявляет: да ничего, в общем-то, страшного не произойдет, на нашей планете останется еще уйма живности. Для печали нет оснований, просто жизнь эта будет, как бы сказать помягче, чуточку другой. Ее властителями станут организмы со-

6 См., в частности, нашушевую книгу: Уоллес-Уэллс Д. *Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления*. М.: Individuum, 2020; а также рецензию на нее: Неприкосновенный запас. 2022. № 2(142). С. 294–299.

7 ШЕФФЕР Ж.-М. *Конец человеческой исключительности*. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 116.

8 См.: Данн Р. *Дикий мир нашего тела. Хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими, какие мы есть*. М.: АСТ, 2014; Он же. *Не один дома: естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков*. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Русский перевод обозреваемой здесь работы готовится к публикации в издательстве «Альпина» в 2024 году.

вершенно иного типа, чем сейчас, и в этом автор видит что-то вроде восстановления некогда нарушенной справедливости: ведь на долю бактерий и микробов действительно приходится львиная доля всей массы жизни, существующей на Земле, а мы не только не хотим воздавать ей должное, но и всячески угнетаем. Поэтому, пишет Данн, «наш конец гораздо ближе, чем конец природы», – и смешивать эти исходы между собой ни в коем случае не стоит (р. 233–234).

Человечество веками подгоняло планету под свои потребности и интересы, нисколько не церемонясь с теми видами, которые поселились на ней еще до гоминидов, и не уважая внутренних принципов ее бытия. Начинается книга с красочного описания наводнения на Миссисипи, произошедшего в 1927 году и ставшего для автора частью семейной истории, поскольку оно стерло с географических карт городок Гринвилл, где жил дедушка Данна. Та давняя катастрофа была вызвана стремлением людей сделать великую реку более удобной для использования, более *user-friendly*. Реке это не понравилось, и она отомстила, причем многократно.

«Набеги реки напоминают нам, что природа справится с любыми попытками человека игнорировать ее, сражаться с ней или властвовать над ней. Река Миссисипи в этом подобна великой реке жизни, к которой мы принадлежим. А наши попытки управлять этим водным массивом олицетворяют наше стремление господствовать не только над природой в целом, но и над самой жизнью как таковой» (р. 4).

За образом разгневанного и буйствующего водного потока, представленным во введении, видится весь мир живого, ныне возмущенный еще больше, поскольку за прошедшие с тех пор сто лет масштабы рукотворного переустройства среды человеческого обитания стали несравнимо более грандиозными.

Следуя за другими биологами, занимающимися климатом, Данн безапелляционно настаивает на прямой корреляции между глобальным потеплением, фиксируемым на Земле, и уровнем насилия, отмечаемым в человеческих сообществах. Приводимые им аргументы черпаются как из психологии бытового общения, так и из геополитических кондиций современного мира. Так, в одной из глав он рассказывает об изучении американскими психологами поведения водителей в сезон высоких температур. Уровень агрессивности последних в отношении пешеходов и друг друга повышался в унисон с ползущей вверх шкалой термометра. И если в указанном случае дело ограничивалось только громкой руганью и более продолжительным, чем обычно, ревом клаксонов, то в общемировом масштабе последствия бьющих все новые рекорды температур выглядят гораздо более серьезными. В частности, специалисты по политическим наукам уже не раз обращали внимание на то, что в регионах Африки, в настоящее время наиболее страдающих от засухи, чаще происходят социальные революции и военные перевороты. Развивая тему, автор добавляет, что горячие точки глобального насилия непропорционально часто возникают при наличии климатических характеристик двух типов:

«Это происходит, во-первых, в предельно жарких областях, где понемногу становится еще жарче, а во-вторых, в областях, где жарко и относительно сухо – то есть там, где выпадающих осадков хватает для земледелия лишь в благоприятные годы. Среди регионов первой группы – некоторые области Пакистана; среди регионов второй группы – северная Мьянма, приграничье Индии и Пакистана, отдельные области Мозамбика, Сомали, Эфиопии, Судана, Нигера, Нигерии, Мали и Буркина-Фасо» (р. 111).

Не удивительно, что названия всех перечисленных государств беспрестанно звучат в заголовках мировых новостей.

Сказанное верно и в отношении экономистов: согласно их наблюдениям, чем выше температура окружающего воздуха, тем хуже люди работают – а если у них в придачу отсутствуют кондиционированные цеха и офисы, то эту закономерность следует возводить в степень. В настоящее время температурным оптимумом для эффективной экономической деятельности считается среднегодовой показатель в 13 °С. Статистические обобщения показывают:

«Там, где среднегодовая температура находилась на оптимальном уровне или одолевала его, ее повышение стабильно влекло за собой снижение ВВП. [...] Его объем снижается из-за того, что урожаи скудны, на улице слишком жарко, чтобы работать, а мозги затуманиваются, – и это прямо или косвенно приводит к насилию» (р. 118).

Соответственно, задетые описанной тенденцией страны производят все меньше товаров и продовольствия, а их многочисленные, как правило, обитатели все активнее начинают мигрировать в зоны более благоприятного климата – зачастую к немалому неудобству тех, кто обосновался в них раньше. Иначе говоря, набирающее сегодня обороты глобальное потепление повлечет за собой миграционные катаклизмы невиданных прежде масштабов.

Интересно, что из-за набирающей силу жары мигрируют не только люди; то же самое происходит и с иными живыми существами. В итоге человеческим сообществам, тысячелетиями проживающим в умеренном климате, невольно придется – или уже приходится – соприкасаться с такими формами жизни, которые раньше никогда им не встречались. Опираясь на сценарии изменения климата, обозначаемые сегодня экспертами, автор в одной из глав конструирует образы некоторых американских городов по состоянию на 2080 год. Результаты этих мыслительных экспериментов поразительны: например, расчеты показы-

вают, что штат Флорида к этой дате неминуемо обзаведется мексиканским климатом и вопрос лишь в том, будет ли он походить на субтропическую или же на тропическую Мексику. Иначе говоря, южная часть США превратится в субтропики в том случае, если человечеству удастся следовать мягкому сценарию (в классификации ООН он обозначается как RCP4.5), согласно которому к 2050 году люди *лишь прекратят наращивать* выбросы парниковых газов и подогреют Землю всего на два градуса; а вот самыми настоящими тропиками эта территория станет в случае жесткого сценария (RCP8.5), базирующегося на *установке business-as-usual* и повышении общемировой температуры не на два, а на четыре градуса. При любом из этих вариантов в окрестностях Майами появятся ягуары и обезьяны, а самом городе заведутся многочисленные мексиканские паразиты. Правда, как уточняет автор, «на мексиканские тропики будут похожи только те части Майами, которые к тому моменту еще не окажутся под водой» (р. 98).

«Почти все или, пожалуй, вообще все экстремальные условия на Земле, сотворенные нами, соответствуют тому или иному набору условий из прошлого и, соответственно, какому-то набору видов, способных в этих условиях выживать. Поэтому любой футуристический кошмар для каких-то видов станет всего лишь описанием идеальных для них условий – особенно если у этого кошмара были аналоги в далеком прошлом» (р. 241).

Иначе говоря, будущее, похоже, принадлежит отнюдь не нам; ведь, чем больше мы подогреваем Землю, тем дальше она уходит от типовых параметров экологической ниши человека. Последняя на первый взгляд кажется очень широкой, ведь люди где только ни живут, но ее главная проблема заключается в отсутствии пластичности: за миллионы лет она практически не расширилась – несмотря на все наши техно-

логические инновации и прорывы. Следовательно, коренная реформация климатических условий скажется на людских обычнованиях самым печальным образом, если, конечно, мы вдруг не одумаемся и не начнем вести себя по-другому. Нужно научиться жить с эволюцией, соблюдая ее законы и не выводя себя за их рамки, – эту мысль американский ученый внушает читателю в каждой главе своей книги. Авторский рецепт трудно признать оригинальным, но тут действует логика повторения, словно в ламаистской молитвенной мельнице хурдэ, где бумажки с запечатленными на них мантрами, вращаясь, воспроизводят духовное усилие снова, снова и снова. Как ни странно, в целом это вселяет кое-какую надежду, пусть и не стопроцентную:

«Возможно, у нас есть еще какое-то время. *Homo sapiens* появились около двухсот тысяч лет назад. Как вид мы еще молоды. С одной стороны, исходя из этого можно предположить, что если нам предстоит жизнь средней длины, то у нас еще многое впереди. С другой стороны, угрозе вымирания больше всего подвержены именно юные виды. Подобно большеглазым несмышленным щенкам, молодые виды чаще совершают роковые ошибки» (р. 249).

Что же, как говорится, поживем – увидим.

Писать научно-популярные книги – нелегкий труд, который по силам далеко не каждому ученому, пусть даже солидному и прославленному. Роб Данн, однако, с такой задачей справился: его великолепно выполненная работа в очередной раз напоминает, что Земля появилась на свет монолитной и что она останется неделимой на части до самого своего конца. Следовательно, геополитический солипсизм, в который время от времени впадают отдельные члены мирового сообщества, воображая, будто термическая порча планеты, нанося ущерб конкурентам, окажется для них самих благом, безнадежно глуп – если не сказать больше. Да, бесспорно, климат меняется столь быст-

ро и столь зловеще, что не прельститься потенциальными корыстными следствиями этих трансформаций просто невозможно. Но, по большому счету, само наличие подобных выгод никак не отменяет грубого факта: даже если в полуфинале одни погибнут раньше других, объявить такой исход великим триумфом своих высоких идей и непоколебимых ценностей будет непросто, поскольку финал все равно, увы, объединит всех. Поэтому отрадно, что такие книжки в наши непростые дни выходят по-русски и более того – что их продолжают переводить с «недружественных» языков. Ибо в попечении о деградирующей планете неприятелей просто не может быть: в таком деле, нравится это кому или нет, все страны мира лишь союзники.

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ

Заклятый враг: наша война со смертельными инфекциями

МАЙКЛ ОСТЕРХОЛМ, МАРК ОЛШЕЙКЕР
М.: Альпина нон-фикшн, 2022. – 438 с. – 3000 экз.



Эта книга, за несколько лет после публикации ничуть не утратившая своей актуальности, была задумана в эпидемию лихорадки Эбола, охватившей Западную Африку в 2014–2016 годах, а завершена на фоне вспышки лихорадки Зика, перекинувшейся в 2018 году с островов Тихого океана на Северную и Южную Америку. Подготовивший ее дуэт неплохо известен в сообществе специалистов-эпидемиологов, хотя по профилю своей деятельности авторы не похожи друг на друга. Если Майкл Остерхолм – академическая персона, профессор Миннесотского университета, непосредственно работавший в очагах нескольких нашумевших инфекций, то Марк Олшейкер – человек скорее искусства, режиссер-документалист и лауреат премии «Эмми», написавший пять романов и десять научно-популярных книг. Объединил их интерес к современным эпидемиям: оба, каждый под своим углом зрения, писали об эпидемии SARS (2002), волне гриппа H1N1 (2009), вспышке MERS (2012). Когда авторы обновляли предисловие к изданию 2020 года, мир столкнулся с пандемией COVID-19, подтолкнувшей их к размышлениям над тем, есть ли у всех этих свежих напастей что-то общее и что их совокупность сулит нам в дальнейшем. Причем, пытаясь ответить на эти вопросы, они вынужденно отталкиваются от довольно тревожных предпосылок, на сегодня вполне очевидных: во-первых, каждая новая эпидемия на порядки серьезнее предыдущих; во-вторых, антибиотики неуклонно теряют свою действенность; в-третьих, акты биотерроризма совершаются все чаще. Но самое страшное, по их мнению, состоит в том, что человечество хронически не готово адекватно реагировать на очередную микробную угрозу, поскольку социальным общностям не хватает инвестиций, уверенного руководства, общественной воли и других ресурсов – включая медикаменты.

Модельным кейсом, открывающим повествование, выбрана эпидемия СПИДа, по ко-

торой имеется всеобъемлющая статистика, позволяющая делать обобщения. В 2014 году в мире насчитывались около 37 миллионов ВИЧ-инфицированных, проживавших в основном в странах черной Африки; при этом ежегодно регистрируются примерно 2 миллиона новых случаев заболевания и 1,2 миллиона смертей. Поскольку число новых больных стабильно превышает число умерших, общее количество людей, живущих с ВИЧ, возрастает, причем 60% из инфицированных не получают необходимой профилактической терапии. Тем не менее, утверждается в книге, приведенные цифры не позволяют говорить о глобальной «эпидемии СПИДа». Бесспорно, ВИЧ-инфекция все еще представляет собой катастрофу для системы здравоохранения, особенно в бедных странах, но это «всего лишь», если можно так выразиться, гиперэндемия. Однако, по мнению авторов, СПИД служит мрачным предупреждением о том, как нам придется взаимодействовать с болезнями будущего.

Отсюда специалисты выводят главную, по их мнению, задачу текущего момента: медикам жизненно необходимо убедить мировых лидеров, руководителей корпораций, благотворительные организации и представителей СМИ в том, что вероятность пандемий и региональных эпидемий в последующие годы будет только нарастать, а «игнорирование этих угроз до последнего не стратегия» (с. 50). В свете сказанного авторы формулируют и две цели, которые стоят перед эпидемиологами. Первая, как и следовало ожидать, сводится к предотвращению эпидемий. Если же это оказывается невозможным, то происходит переориентация на вторую: на сведение к минимуму массовой заболеваемости и длительной нетрудоспособности, вызываемых очередной инфекцией. Современная эпидемиология, которую в книге называют «командным видом спорта» (с. 74), опирается на сплоченные группы специалистов,

обеспечивающих не только достижение конечного результата, но также наблюдение, по-прежнему остающееся основополагающим инструментом эпидемиологии. Кстати, преодоление «принципа одиночки», на котором работа микробиологов строилась раньше, уже повлекло за собой фундаментальный сдвиг: в настоящее время ученые в силах останавливать инфекционные заболевания и ограничивать их последствия, даже не располагая исчерпывающими знаниями о них. Причем эффективными порой оказываются самые простые ресурсы, включая обыкновенные включенные наблюдения. Так, в первые дни вспышки лихорадки Зика в 2015–2016 годах авторов не раз раздражали заявления ученых и журналистов – большинство из таковых никогда не участвовали в практическом исследовании эпидемий и не побывали в их эпицентрах, – о том, будто у ученых нет доказательств того, что вирус Зика вызывает микроцефалию и некоторые другие побочные последствия, а значит, все противоэпидемические рекомендации органов здравоохранения опираются на шаткую базу. Однако, как пишет Остерхолм, его собственный опыт позволял считать эмпирически полученные доказательства «достаточными и убедительными», а любую задержку реагирования «безответственной и неоправданной» (с. 79). Авторы настаивают, что, имея дело с внезапной вспышкой серьезного заболевания загадочного происхождения или неясного масштаба, исследователи просто вынуждены «придумывать все на ходу», принимая решения *ad hoc*. И это не должно смущать ни медиков, ни больших, ибо такова сама природа эпидемиологического исследования.

Между тем, характеризуя подготовку человечества к инфекционным заболеваниям в XXI веке, авторы говорят о длинной веренице возможностей, которые одна за другой либо игнорировались, либо упускались. Такое положение вещей никак не соот-

ветствует опасности, с которой приходится иметь дело. В авторской логике только четыре события способны оказать негативное влияние на всю планету: в этом ряду тотальная термоядерная война, столкновение с астероидом, глобальное изменение климата и общемировая инфекция. «Из всех четырех событий, – утверждает в книге, – в XXI веке инфекционные заболевания обладают наибольшим потенциалом, чтобы привести к внезапному кризису во всем мире одновременно – к пандемии, или всемирной эпидемии» (с. 85). Поражая множество регионов сразу, пандемия блокирует оказание экстренной помощи пострадавшим; именно поэтому она гораздо больше похожа на войну, чем любая другая природная катастрофа. Причем вспышка может стать ужасающей даже в том случае, если она не выплескивается за пределы конкретного региона; такие инциденты авторы именуют «вспышками исключительной региональной значимости» – и как раз к ним относят распространение в 2003 году вируса SARS, появившегося в Гонконге и потом перенесенного авиапассажирами в Торонто (с. 87).

Поскольку борцы с инфекциями не могут заниматься всем подряд, авторы намекают для них четыре приоритета, которые влекут за собой несколько отдельных, но взаимосвязанных направлений деятельности, в совокупности именуемых ими «антикризисной программой». Первый приоритет отдается непосредственной борьбе с патогенами, обладающими пандемическим потенциалом. Второй приоритет требует предотвращения чреватых серьезными последствиями региональных вспышек, подобных лихорадке Эбола и коронавирусным инфекциям. Третьим приоритетом оказывается недопущение использования микроорганизмов для нанесения умышленного вреда или случайной утечки усовершенствованного учеными микроба. Наконец, четвертым приоритетом выступает

профилактика эндемических заболеваний, которые продолжают влиять на человеческое здоровье во всем мире, особенно в развивающихся государствах. В число последних входят малярия, туберкулез, диарейные заболевания и СПИД, которые, несмотря на достигнутый прогресс, вполне можно отнести к разряду медленно распространяющихся пандемий.

Как отмечается в книге, принципиально важным остается умение специалистов определять, какие из микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания, способны быстро мутировать или менять свои генетические коды. Иногда такие изменения делают микроб менее опасным, но иногда, напротив, более страшным, и в этом смысле каждый переход между людскими поколениями оказывается не чем иным, как «генетическим жребием» (с. 99). Образно выражаясь, генетическая простота микробов и вытекающая из нее быстрая эволюция бросают вызов нашему изобретательному интеллекту и социально-политической воле. «Пересилить патогенные микроорганизмы мы не сможем: на их стороне огромное превосходство по численности и маневренности, – пишут авторы. – Наше выживание зависит от того, сумеем ли мы их перехитрить» (с. 101). Дело усугубляется тем, что человеческие успехи в совершенствовании современного мира, ускорении его экономического развития и улучшении качества жизни в нем сделали нас более уязвимыми перед инфекционными заболеваниями по сравнению с людьми, столкнувшимися в 1918 году с «испанкой». Вывод из этого, предлагаемый в книге, вполне ожидаем: «Борьба с инфекционными заболеваниями в самом прямом смысле относится к вопросам национальной безопасности», причем сказанное касается всех стран мира без исключений (с. 112).

В настоящее время общепризнанным считается тот факт, что наиболее видную роль в распространении конкретных забо-

леваний играет наша способность просто вдыхать вредоносный микроб. Именно на этом основывается нынешнее доминирование гриппа, сезонного и пандемического. Оба типа убивают, один больше, другой меньше. (В книге указывается, что в новейшей истории были годы, когда сезонный грипп уносил жизни почти 50 тысяч американцев.) Что касается пандемического гриппа, то он сначала возникает из-за мутаций в животных сообществах, а потом «научается» передаваться от человека к человеку. Остатки штаммов, некогда вызвавших пандемию, позже провоцируют сезонный грипп. Рассуждая об инфекциях, передаваемых воздушно-капельным путем, авторы заявляют, что здесь наиболее мощным и эффективным оружием здравоохранения наряду с профилактическими мерами остаются вакцины. Однако, несмотря на их впечатляющие успехи – к таковым, в частности, можно отнести почти полное отсутствие оспы в передовых странах на протяжении полувека, если не больше, – будущее вакцинирования отнюдь не безоблачно. Разработке все более действенных вакцин препятствуют самоуспокоенность, антипрививочники, экономические катаклизмы.

С гриппом, впрочем, конкурируют и другие заболевания. Среди «старых» инфекционных недугов, которые особенно интересуют авторов, выделяются три: это малярия, СПИД и туберкулез. Борьба с ними ярко демонстрирует как возможности, так и ограничения, сопутствующие нашей борьбе с инфекциями. Малярия, например, распространена примерно в ста странах, при этом около 90% ее летальных случаев приходится на тропическую Африку. Несмотря на впечатляющий охват, согласно представленной в книге статистике, с 2004-го по 2016 год число заболеваний снизилось примерно на 25%, а смертность – на 42%; во многом это объясняется эффективной работой Фонда Билла и Мелинды Гейтс,

а также других благотворительных организаций, увеличивших расходы на борьбу с малярией почти в десять раз, что позволило сегодня параллельно разрабатывать более тридцати противомаларийных вакцин (с. 149). Что касается СПИДа и туберкулеза, то с ними ситуация не столь радужна, хотя определенные успехи достигнуты по обеим позициям: войну против СПИДа, как считают авторы, можно выиграть и без вакцин, а туберкулез остается излечимым при надлежащем уходе – с учетом грустной оговорки, согласно которой в случае появления в будущем более устойчивых к антибиотикам штаммов успех лечения не сможет гарантировать даже высокотехнологичная медицина (с. 161).

Отдельная глава книги посвящена лихорадке Эбола, которая, в отличие от выше перечисленных болезней, не всегда учитывается в матрицах потенциальных угроз. Информация о ней распространяется плохо, причем не только в наиболее страдающей от этой инфекции Западной Африке, но и в развитых странах, граждане которых, подобно африканцам, зачастую боятся контактировать с людьми, недавно вернувшимися с Африканского континента. Мифология вируса Эбола напрочь затушевывает тот факт, что основной канал его передачи очень узок: он ограничен жидкими выделениями из организма инфицированного – то есть по-настоящему опасны лишь манипуляции с телами умерших и уход за больными.

«Мы можем устранить угрозу широкомаштабной эпидемии Эболы даже в том случае, если вирус мутирует и начнет передаваться воздушно-капельным путем. Вопрос в том, есть ли у нас коллективное видение, руководство и финансовая поддержка для выполнения этой задачи» (с. 223).

Оговорка, однако, более чем серьезная.

Причудливость возникновения современных эпидемий ярко иллюстрируется приме-

рами коронавирусных инфекций SARS и MERS, которым, как и следовало ожидать, в книге отводится особое место. Первая из них в 2003 году была классифицирована в качестве ранее неизвестного коронавируса; как предполагалось, циветты и барсуки, обитающие в китайской провинции Гуандун и продающиеся на местных рынках, могли заразиться этим вирусом от летучих мышей. Позже эта гипотеза получила экспериментальное подтверждение; более того, китайские и тайваньские летучие мыши, как выяснилось, и сегодня остаются носителями коронавируса, генетически почти идентичного возбудителю SARS-CoV, – а это значит, что они в любой момент могут передать его какому-то виду животных, близко контактирующему с человеком. Поэтому «нельзя допускать и мысли, что вирусу SARS-CoV уже написан некролог» (с. 234).

Летучие мыши отметились и в возникновении MERS, обнаруженного в 2012 году в Иордании. Как и в ситуации с SARS-CoV, рукокрылые передали вирус одомашненному животному, в роли которых на сей раз выступили одногорбые верблюды. Ученые предполагают, что дромадеры заразились, поедая упавший на землю инжир, надкусанный инфицированными летучими мышами. Как и в китайском варианте, зараженные особи распространяли инфекцию среди других животных, а также среди людей. Имеется, однако, одна принципиальная особенность, которая делает вирус MERS гораздо опаснее вируса SARS: первый прочно закрепился в популяции верблюдов по всему Ближнему Востоку, и поэтому для его распространения летучие мыши больше не нужны. Это в свою очередь означает, что, во-первых, следующая вспышка MERS едва ли ограничится каким-то одним регионом, как раньше, и, во-вторых, сдержать ее будет очень трудно. Особенно угрожающим выглядит проникновение болезни в тропическую Африку, где общественного здравооох-

ранения практически нет. «У нас еще есть возможность предпринять решительные действия, но это окно не будет открыто вечно», – резюмируют авторы (с. 244).

Наконец, в работе нашлось место и для болезней, распространяемых комарами. Именно эти насекомые обеспечивают нынешний общемировой подъем желтой лихорадки, а также лихорадок денге, чикунгуны и Зика. Комары требуют особого подхода; с ними невозможно справиться, не разработав комплексных программ, нацеленных на ликвидацию мест их размножения и адаптированных под условия конкретных стран. Нынешние же успехи в этом деле следует признать в лучшем случае относительными: в настоящее время не хватает усовершенствованных средств борьбы со взрослыми комариными особями, новых эффективных пестицидов, технологий генетической модификации комаров, а также вакцин против распространяемых ими лихорадок (с. 276). В связи с этим книга предлагает готовиться к утомительной «окопной войне» с комариными угрозами – вдобавок, конечно же, к прочим напастям, мучающим человечество.

Все упомянутые выше проблемы усугубляются, как ни парадоксально, упрочением технологического могущества человека. На протяжении последних восьмидесяти лет люди глубоко и всесторонне меняют микробиом, возраст которого составляет три миллиарда лет. Тем самым стимулируется «супермикробная эволюция», по мере развития которой «мы утрачиваем часть нашего антибиотического потенциала» (с. 295). Какими окажутся результаты снижающейся резистентности к антибиотикам, можно представить уже сейчас. Прежде всего возрастет число людей, погибающих от микробов, которых в течение последних семидесяти лет удавалось медикаментозно сдерживать. Далее, без эффективных и нетоксичных антибиотиков, способных держать инфекцию под контролем, любое

хирургическое вмешательство станет опасным: очень сложно будет проводить операции на открытом сердце, пересадку органов и замену суставов, а кесарево сечение превратится в гораздо более рискованную процедуру. В больницы придется обращаться только при самой крайней необходимости, поскольку в них будут кишеть микробы. Наконец, вновь откроются туберкулезные санатории. Кроме того, авторы считают, что резистентность к антибиотикам непосильным бременем ляжет на малоимущее население земного шара, поскольку новые, более передовые антибиотики станут гораздо дороже нынешних.

Избежать мрачного будущего удастся лишь в случае комплексного реагирования на грядущую угрозу. Для этого требуется: 1) усилить профилактику инфекций, требующих лечения антибиотиками; 2) поддерживать эффективность имеющихся антибиотиков; 3) разрабатывать новые антибиотики; 4) искать оригинальные решения, снимающие часть нагрузки с антибиотиков. В целом же, по мнению авторов, «нужна международная просветительская программа по сохранению антибиотиков, не уступающая той, что десятилетиями проводится в США в рамках кампании по борьбе с курением» (с. 326).

Финал книги, как и следовало ожидать, риторичен. Авторы пишут:

«Проявив коллективную волю и выделив необходимые ресурсы, мы дадим гораздо большему количеству людей во всем мире, особенно нашим детям и внукам, шанс жить нормальной, счастливой и продуктивной жизнью. И сможем отказаться от бесчисленных плохих смертей в пользу хороших» (с. 415).

Понятно, что сказанное звучит довольно декларативно, но можно ли было ожидать чего-то другого? Давайте будем снисходительными: авторы и без того изрядно постарались, представив читателям гнетущую

панораму отложенных неприятностей, конца которым пока не видно. Удивляться остается лишь тому, что даже в тени нависшего над человечеством опаснейшего и многоликого врага люди по-прежнему

умудряются воевать, преследовать думающих по-другому и выбирать трикстеров лидерами своих государств.

Юлия Крутицкая

Summary

The 152nd *NZ* issue marks the end of 2023, a year that will go down in history as one of the most turbulent and tragic years in recent decades. Bloody wars are raging in Africa, Europe, and the Middle East, irresponsible populists are strengthening their positions in a number of the most influential countries in the world, and the environmental crisis is getting worse despite constant calls to take joint measures to combat climate change – which, for the most part, fail to result in concrete actions.

All of this is happening against the backdrop of accelerating technological progress, where we see the wildest dreams of a 19th century citizen becoming a reality. Nationalism and even racism, left- and right-wing radicalism, the latest edition of authoritarianism, the populist wave built upon traditionalist rhetoric, aggressive religious fundamentalism, culture wars – all these phenomena, too, in one way or another, trace their origins back to the 19th century, to early and the beginning of high modernity.

The key event here seems to be the European revolutions of 1848–1849, which, having absorbed the ideological, political and cultural experience of the French Revolution and the revolutionary movements of the 1820s and 1830s, laid the foundations for further developments and, most importantly, prospective visions of the future. Or, to be more precise, of *futures*, plural. In a sense, these futures have arrived now, in the first quarter of the 21st century, albeit in such a shape and form that those people

who dreamed about them (and fought to bring them closer) would probably not recognize them as “their” futures. “*The Futures That Have Arrived*” is the theme of the 152nd *NZ* issue.

It opens with a thematic selection entitled “REVOLUTIONS, HISTORICITY, AND THE FUTURES OF MODERNITY THAT HAVE ARRIVED”. The first piece, which sets the themes for both the first selection and the entire issue, is a transcript of an extensive discussion wherein the participants – *NZ* editor Kirill Kobrin, the philosopher Igor Kobylin, the historian Mikhail Velizhev, the philosopher Andrei Oleynikov, and the political theorist Ilya Budraitskis – discuss various aspects of the problem of “the futures that have arrived”, from historical to purely philosophical. The topic of European revolutions that helped to form the visions of modernity’s futures is continued by Oleg Larionov in his detailed review of the seminal work by the Australian and British historian Christopher Clark entitled “*Revolutionary Spring: Fighting for a New World, 1848–1849*”, which was published in the summer of 2023 (“*The Space of the Revolutionary Experience, and the Modern Horizon of Expectations: 1848–1849*”). The selection wraps up with a brief overview of the regimes of historicity that exist in contemporary humanities theory: Maria Kasai raises the question of whether there is room for a “future” in each of these regimes.

The problem of the future (and of an immediate one at that) is discussed in more practical, historically specific terms by Alexei Levinson in his regular column *SOCIOLOGICAL LYRICS*. This instalment



is devoted to the upcoming presidential election in Russia (2024) and to the hopes that voters are pinning on the clear favorite of the campaign, the current head of state Vladimir Putin, this year, in 2023 – as compared to the election of 2014.

The concept of the future in modernity is especially closely related to what is usually called a “utopia”. A considerable part of the 152nd issue is devoted to this. Theoretical as well as historical and cultural aspects of this problem are discussed in the second thematic block, “THE (IM)POSSIBILITY OF UTOPIAS IN MODERNITIES”, which consists of three articles. Lolita Agamalova offers the readers a philosophical treatise entitled “*From Kant to the Frankfurt School and Vice Versa: How Is a (Pure) Utopia Possible after the Gulag?*” In his own piece (“*Cosmotechnics and the Space Opera ‘Mass Effect’: Future, Death and the Escape from Capitalism*”), Samson Liberman examines visions of the future (i.e. their possibility or impossibility) in today’s philosophy and computer games. Igor Smirnov in his article entitled “*Nikolai Zabolotsky and Dziga Vertov: A Poet’s Depiction of the Archetype of Everyday Life and the Ecological Revolution*” brings a historical dimension back into the discussion of utopia and its cultural manifestations.

Several other texts of this issue are devoted either to specific evidence of futures that have arrived (i.e. realised utopias), or to the analysis of cultural products of a society where the future is being built and created – at least according to the official rhetoric. NZ ARCHIVE offers an excerpt from the book of travel essays by the Polish-Jewish writer and publicist Hersh Dovid Nomberg entitled “*My Journey to Russia*”. Nomberg arrived in the land of the victorious future of the socialist revolution in 1926. Unlike other, more eminent literary travelers

to the USSR, he had the opportunity to experience the early Soviet life firsthand, to see the everyday reality of it. 45 years later, the Hungarian poet György Petri visited the USSR, which by then was already a completely different country. The readers of NZ are given the opportunity to compare these two realised “Soviet futures” – one from the 1920s and one from the late Soviet period. Petri spoke about his trip many years later, in 1989, in a long interview with a Hungarian magazine. We are publishing an excerpt from said interview under the title “*An Illuminative and Terrible Trip*”.

Two examples of realised (or at least realisable) utopias became the focal points of the CASE STUDY and CULTURE OF POLITICS SECTIONS. Elizaveta Pronyagina gives a brief outline of ideological and cultural notions about the Arctic (the Far North) in the public consciousness and in the political rhetoric of Moscovia, the Russian Empire, the USSR, and the modern-day Russian Federation (“*The Arctic Dreams of Russia: The Arctic and the North in Academic and Socio-Political Discourse*”). Vadim Mikhailin and Galina Belyaeva offer the readers their analysis and interpretation of the process of rethinking childhood in post-war European cinema, where children become central characters in utopian speculations about a “bright future” that is “already coming” or is “just about to arrive” (“*Stop the Thief: The Journey of One Film Plot from West to East and the Neo-Romantic Rethinking of Childhood in Post-War Europe*”).

The 152nd NZ issue also contains a new instalment of Tatiana Vorozheikina’s regular column THE REVERSE OF THE METHOD, devoted to the results of the recent presidential election in Argentina (“*Long Live Freedom, Goddammit!*”), as well as the NEW BOOKS section.

www.eurozine.com

The most important articles on European culture and politics

Eurozine is a netmagazine publishing essays, articles, and interviews on the most pressing issues of our time.

Europe's cultural magazines at your fingertips

Eurozine is the network of Europe's leading cultural journals. It links up and promotes over 100 partner journals, and associated magazines and institutions from all over Europe.

A new transnational public space

By presenting the best articles from the partner magazines in many different languages, Eurozine opens up a new public space for transnational communication and debate.

The best articles from all over Europe at www.eurozine.com

eurozine

Оформить подписку на журнал можно в следующих агентствах:

«Подписные издания»: подписной индекс ПЗ832 (только по России) <https://podpiska.pochta.ru>

«МК-Периодика»: подписной индекс 45683 (по России и за рубежом) www.periodicals.ru

«Экстра-М»: подписной индекс 42756 (по России и СНГ) www.em-print.ru

«Ивис»: подписной индекс 45683 (по России и за рубежом) www.ivis.ru

«Информ-система»: подписной индекс 45683 (по России и за рубежом) www.informsystema.ru

«Информнаука»: подписной индекс 45683 (по России и за рубежом) www.informnauka.ru

«Прессинформ»: подписной индекс 45683 (по России и СНГ) <http://pinform.spb.ru>

«Урал-Пресс»: подписной индекс: 45683 (по России и за рубежом) www.ural-press.ru

Приобрести журнал вы можете в следующих магазинах:

В Москве:
«Московский Дом Книги»
ул. Новый Арбат, 8
+7 495 789-35-91

«Фаланстер»
М. Гнездниковский пер., 12/27
+7 495 749-57-21

«Фаланстер» (на Винзаводе)
4-й Сыромятнический пер., 1-6 (территория ЦСИ Винзавод)
+7 495 926-30-42

«Циолковский»
Пятницкий пер., 8
+7 495 951-19-02

В Санкт-Петербурге:
На складе издательства
Лиговский пр., 27/7
+7 812 579-50-04
+7 952 278-70-54

В Воронеже:
«Петровский»
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а
(ТЦ «Петровский пассаж»)
+7 473 233-19-28

В Екатеринбурге:
«Пиотровский»
ул. Б. Ельцина, 3
(«Ельцин-центр»)
+7 343 312-43-43

В Нижнем Новгороде:
«Дирижабль»
ул. Б. Покровская, 46
+7 831 434-03-05

В Перми:
«Пиотровский»
ул. Ленина, 54
+7 342 243-03-51